



Сол Беллоу

ПЛАНЕТА М-РА СЭММЛЕРА

Сол Беллоу • ПЛАНЕТА М-РА СЭММЛЕРА



65

Сол Беллоу

ПЛАНЕТА М-РА СЭММЛЕРА

Сол Беллоу

ПЛАНЕТА М-РА СЭММЛЕРА



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ

1978

ס. בלו

כוכב לכת של מר סמלר

MR. SAMMLER'S PLANET

a novel by Saul Bellow

Перевела с английского *Н.Воронель*

Редактор

Р.Зернова

Художник

Л.Ларский

©

ALL RIGHTS RESERVED

כל הזכויות שמורות

לספרית-עליה

ת.ד. 7422, ירושלים

היוצאת לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

דפוס "גרפ-פרס" בע"מ, ירושלים

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сол Беллоу родился в 1915 г. (Лашин, Квебек) в семье петербургского коммерсанта, в 1913 г. эмигрировавшего в Канаду. С 1924 г. семья Беллоу жила в Чикаго. Сол Беллоу учился в Чикагском, затем в Северо-Западном университете, где получил степень бакалавра антропологических и социологических наук. Беллоу работал редактором в Энциклопедии, занимался журналистской деятельностью, а также преподавал в ряде университетов США.

Первый рассказ С.Беллоу "Два утренних монолога" (1941) остался незамеченным. Известность принес ему роман "Празношатающийся" (1944), в котором наметилась основная тема его творчества — противоречие между интеллектуалом — носителем идеалов гуманизма и современным дегуманизированным обществом.

В 1947 г. выходит в свет второй роман С.Беллоу "Жертва", в 1953 — полный юмора и динамизма роман "Приключения Оги Марча", удостоенный Национальной премии как лучшая книга года. Эта премия присуждается Беллоу еще дважды: за романы "Герцог" (1964) и "Планета м-ра Сэмлера" (1970). Кроме того, ему неоднократно присуждали международные премии, а в 1976 г. он становится лауреатом Нобелевской премии по литературе "за гуманистическую проникновенность и тонкий анализ современной культуры, органически сочетающиеся в его творчестве".

С.Беллоу создал своеобразный стиль, который критики характеризуют как "гротескный реализм, обогащенный иронией".

Будучи одним из наиболее выдающихся современных прозаиков, С. Беллоу является вместе с тем первым крупным американско-еврейским писателем, проложившим путь Б. Маламуду, Ф. Роту и др. Своими переводами с языка идиш Беллоу открыл для англоязычного читателя творчество И. Башевиса-Зингера и некоторых других крупных еврейских писателей.

Выдающийся мастер современной прозы, Сол Беллоу "долго пытался игнорировать свою еврейскую сущность" (Дан Фогель), но постепенно еврейство и Израиль занимают все большее место в его творчестве. В 1967 году он дает репортажи о Шестидневной войне, в 1976 году совершает путешествие в Израиль, которое описывает в книге "В Иерусалим и обратно".

В романе "Планета м-ра Сэмлера" Сол Беллоу блестяще анализирует способность благородной человеческой личности постигать собственную природу, противостоящие ей силы, а также способность сохранить, несмотря на все противодействие страшной, механизированной действительности, глубокое человеческое достоинство. И при этом в главном герое романа, носителе его основного гуманистического содержания, явно ощущается наличие специфической еврейской ментальности, с теми ее акцентами, которые свойственны поколению, пережившему Катастрофу.

Вскоре после рассвета или того, что могло бы считаться в нормальном небе рассветом, м-р Артур Сэмплер открыл мохнатый глаз, окинул взглядом все книги и бумаги своей вестсайдской спальни и всерьез заподозрил, что книги были не те и бумаги не те. Вообще-то это уже не играло никакой роли для праздного человека, давно перевалившего за семьдесят. Только чудачки настаивают на своей правоте. Правота в значительной степени была вопросом объяснения. Интеллектуальный человек превратился в объяснителя. Все объясняли всем: родители детям, жены мужьям, лекторы публике, эксперты дилетантам, коллеги коллегам, доктора пациентам, каждый самому себе. Корни этого, пружины того, истоки событий, историю, структуру, все отчего и почему. В основном все это в одно ухо входило, из другого выходило. Душе хотелось своего. У нее было свое врожденное знание. Она печально барахталась в сложных сетях объяснений — бедная птица, не знающая, куда ей лететь.

Глаз закрылся поспешно. Голландский труд, — подумал м-р Сэмплер: качают и качают воду, чтобы сохранить несколько акров сухой земли. Наступающее море — отличная метафора для вторжения умножающихся сенсационных фактов, земля же — это земля идей.

Уж раз у него не было работы, ради которой стоило просыпаться, он подумал, что может дать сну еще одну

возможность разрешить условно кое-какие трудности его реальной жизни, и плотней завернулся в отключенное электрическое одеяло, ощущая все его внутренние мышцы и сухожилия. Кончики пальцев с удовольствием коснулись атласного края. Хоть тело все еще было полно дремотой, сон больше не приходил. Пора приходить в сознание.

Он сел и включил электрический кипятильник. Вода была приготовлена еще перед сном. Он любил следить, как преобразается пепельно-серая спираль. Она пробуждалась к жизни с яростью, разбрасывая вокруг крошечные искры, потом, красная и неподвижная, погружалась в недра пирексовой лабораторной колбы и раскалялась добела. Он видел только одним глазом, правым. Левый мог различать лишь свет и тьму. Зато зрячий глаз был ярко-черный, остро наблюдательный под нависающей, как у некоторых собак, бахромчатой бровью. У него было маленькое для его роста лицо. Это сочетание делало его заметным.

Он думал как раз об этой заметности: она беспокоила его. Вот уже несколько дней м-р Сэмплер, возвращаясь ранним вечером в обычном автобусе из библиотеки на Сорок второй улице, наблюдал работу карманного вора. Тот садился в автобус на площади Колумбус. Свою работу, свое преступление, он совершал при подъезде к Семьдесят второй улице. Если б не рост м-ра Сэмплера и не его привычка ездить стоя, держась за ремень, он никогда бы не заметил ничего своим единственным глазом. И вот теперь он терзался, не придвинулся ли слишком близко, не был ли и он тоже замечен. Хоть он и носил темные очки, чтобы защитить глаза от яркого света, его все же нельзя было принять за слепого. Он носил не трость, а лишь складной зонтик на английский манер. А главное, в его облике не было ничего от слепого. Карманный вор сам был в темных очках. Это был могучий негр в пальто из верблюжьей шерсти, одетый с удивительной элегантностью, то ли от м-ра Фиша с Вест-Энда, то ли от Торнбулла и Эссера с Джермин-стрит (м-р Сэм-

млер знал свой Лондон). Очки негра — образцовые круги цвета блеклой фиалки в прелестной золотой оправе — направлены были на Сэммлера, но лицо при этом выражало лишь наглость крупного животного. Сэммлер был не робкого десятка, но в жизни у него было достаточно неприятностей. С большей частью он вынужден был примириться, но никак не мог принять это как должное. Он подозревал, что вор заметил, как высокий седой старик (быть может, притворяющийся слепым) наблюдал за малейшими деталями его работы. Уставясь вниз, словно наблюдая операцию на сердце. И хоть он сдержался, решив не отворачиваться, когда вор взглядывал на него, его старое, замкнутое, интеллигентное лицо побагровело, короткие волосы вздыбились, губы и десны пересохли. Он чувствовал напряжение, тошнотворный спазм где-то у основания черепа, где тесно сплелись нервы, мускулы, кровеносные сосуды. словно дыхание военной Польши пробежало по изуродованным узлам — по нервным спагетти, так он представлял себе это.

Автобусы были еще сносны, подземка была просто убийственной. Неужели придется отказаться от поездов в автобусе? Не надо было лезть не в свое дело, это не занятие для человека за семьдесят, да еще в Нью-Йорке. Но м-р Сэммлер никогда не чувствовал своего истинного возраста, никогда не мог понять, что здесь он ни от чего не защищен, ибо нет у него ни общественного положения, ни привилегий отрешенности от мирских невзгод, которую в Нью-Йорке мог дать лишь ежегодный доход в пятьдесят тысяч долларов, — членство в клубе, такси, швейцар, надежно охраняемый подъезд. Для него оставались автобусы или грохочущая подземка и обед в кафе-автомате. Для серьезных жалоб не было причин, но годы в Англии, два десятилетия в Лондоне в качестве корреспондента варшавских газет и журналов, создали у него привычки, не вполне подходящие для эмигранта в Манхэттене. Его лексикон пестрил выражениями, которые были бы уместны в профессорской в Оксфорде, его лицо было ли-

цом посетителя Британского музея. Еще школьником в Кракове перед Первой мировой войной Сэмmlер влюбился в Англию. Потом из него вышибли большую часть этой ерунды. Он заново пересмотрел все аспекты англomании, скептически переоценив Сальвадора де Мадариага, Марио Праца, Андре Моруа и полковника Брамбля. Он постиг суть явления. Но сейчас, в автобусе, лицом к лицу с этой элегантной скотиной, опорожняющей чужую сумку на его глазах, — эта сумка так и осталась незакрытой, — он вновь впал в английский тон. Сухое, чопорное, сдержанное лицо свидетельствовало, что никто не пересекает ничьих границ: каждый занят своим делом. Но в недрах высоких подмышек у м-ра Сэмmlера было мучительно горячо и мокро; когда он висел на ремне, впрессованный в чужие тела, принимающие его вес и нагружающие его своим, в то время как пузатые шины с рычанием описывали гигантский полукруг по Семьдесят второй улице.

Он действительно не понимал своего возраста и точки жизни, к которой приближался. Об этом можно судить по его походке. На улице он был стремительно легок, быстр и неосторожен, старческие прядки задорно топорщились на его затылке. Пересекая улицу, он поднимал свой складной зонтик, чтобы указать автобусам, автомобилям и быстрым грузовикам, куда он намеревается свернуть. Они вполне могли переехать его, но он не способен был избавиться от этой повадки шагающего слепца.

С карманным вoром он проявил ту же неосторожность. Он знал, что вор работает в автобусе, идущем по Риверсайд Драйв. Он видел, как тот опорожнял кошельки и сообщил об этом в полицию. В полиции не очень заинтересовались этим сообщением. М-р Сэмmlер почувствовал себя дураком из-за того, что сразу же побежал к телефонной будке на Риверсайд Драйв. Телефон, конечно, был разбит вдребезги. Почти все телефоны-автоматы были разбиты, изувечены. Кроме того, их использовали как писсуары. Нью-Йорк становился хуже, чем Неаполь или Салоники. В этом смысле

он превращался в азиатский, африканский город. Даже богатые кварталы не были безопасны. Словно ты открывал инкрустированную дверь прямо в деградацию, из роскоши Византийской сверхцивилизации попадая напрямиком в естественное состояние, в цветной варварский мир, врывающийся снизу. Впрочем, варварство обитало по обе стороны инкрустированной двери. В вопросах секса, например. Все дело, как м-р Сэмплер начал теперь понимать, сводилось к захвату привилегий, к свободе варварства под защитой всех порядков цивилизации, — права на собственность, рафинированной технологической организации и всего прочего. Да, по-видимому, это так.

М-р Сэмплер молот кофе в квадратной коробке, зажатой между тощих колен, проворачивая рычажок против часовой стрелки. В будничных действиях он проявлял специфически педантичную сознательность. В Польше, Франции, Англии молодые джентльмены его времени не имели никакого представления о кухне. Теперь он делал вещи, которые когда-то делали за него горничные и кухарки. Он делал их с покорностью священника. Признание социального падения. Историческое крушение. Перерождение общества. В этом не было личного унижения. Эти идеи он изжил еще в Польше во время войны — полностью изжил весь этот бред, особенно идиотскую боль из-за потерянных классовых привилегий. Настолько, насколько позволял ему единственный зрячий глаз, он делал все сам: штопал себе носки, пришивал пуговицы, чистил раковину, проветривал зимние вещи весной и брызгал на них жидкостью от моли. Конечно, все это могли делать женщины, — его дочь Шула, или племянница (по жене) Марго Эркин, в чьей квартире он жил. Они делали для него кое-что, когда вспоминали об этом. Иногда они делали даже многое, но ненадежно, бессистемно. Ежедневный быт он взял на себя. Это даже составляло часть его молодости — молодости, сохраняемой с некоторой судорожностью. Сэмплер хорошо знал эту судорожность. Что могло быть забавней ее.

У старух, носивших пестрые колготки, у старых женолюбов Сэммлер подмечал эти судороги, этот трепет радости, что и они подчиняются полновластному молодежному стилю. Власть есть власть — правители, короли, боги. И, конечно, никто не умеет уйти вовремя. Никто не способен, сохраняя достоинство, принять смерть.

Он поднял над колбой маленький ящик мельницы с коричневым порошком. Красная спираль раскалялась все яростней, — белей, добела. Витки ярились. Разбрызгивались бусинки воды. Один за другим пузырьки-первопроходцы грациозно всплывали на поверхность. Потом они забурлили все разом. Он всыпал порошок. Потом бросил кусок сахара в чашку. В ночном столике он хранил пакет луковых крекеров от Забара. Пакет был пластиковый — прозрачный маточный пузырь, стянутый белым пластиковым зажимом. Ночной столик, окантованный медью, — когда-то это был увлажнитель, — сохранял пищу свежей. Он принадлежал раньше мужу Марго, Ашеру Эркину. Сэммлер тосковал по Эркину, он жалел и оплакивал Эркина, славного парня, погибшего три года назад в авиакатастрофе. Когда вдова предложила Сэммлеру занять спальню в большой опустевшей квартире на Западной Девяностой улице, он попросил оставить ему эркиновский увлажнитель. Сентиментальная Марго сказала: "Конечно, дядя. Какая прекрасная мысль. Ведь вы любили Ашера". Марго, родом из Германии, была романтична. Сэммлер был совсем другой человек. Он даже не был ей дядей. Она была племянницей его жены, умершей в Польше в 1940. Его покойной жены. Покойная тетка вдовы! Куда ни посмотришь, всюду покойники. К этому не просто было привыкнуть.

Чтобы выпить грейпфрутовый сок, он пробил две треугольных дырочки в жестяной банке, хранящейся на подоконнике. Занавески раздвинулись, когда он потянулся за банкой, и он выглянул на улицу. Особняки из песчаника, баллюстрады, оконные фонари, кованое железо. Как марки в альбоме — серо-корич-

невая розетка зданий, перечеркнутая тусклой чернотой решеток и гранями водосточных труб. Как тяжела была здесь человеческая жизнь, в шорах буржуазной солидности. Печальная попытка достичь постоянства. А теперь мы летим к луне. Имеем ли мы право на личные надежды, если мы как пузыри в этой колбе? Впрочем, люди и так склонны преувеличивать трагический оттенок своего бытия. Они слишком подчеркивают потерявшие смысл гарантии: все, во что раньше верили, чему доверяли, заключено сегодня в черные рамки иронии. Так преобразилась сегодня отвергнутая чернота буржуазной стабильности. Она ничему не соответствовала. Люди теперь оправдывают лень, глупость, пустоту, равнодушие, похоть, выворачивая наизнанку прежнюю респектабельность.

Все это м-р Сэмплер видел из восточного окна, — мягко вздымающееся асфальтовое брюхо с пупом дышащего паром водосточного люка. Покрытые щебнем боковые дорожки с гроздьями мусорных урн. Песчаник особняков. Желтый кирпич высотных зданий, вроде того, где жил он. Изящно вздрагивающие металлические прутья похожих на кнуты антенн, извлекающие видения из пространства, несущие братство и общение заточенным в квартирах людям. На западе Гудзон отделял Сэмплера от мощной промышленности Спрая в Нью-Джерси. Полыхающая электричеством весть об этом устремлялась в ночное небо: "СПРАЙ". Впрочем, он был наполовину слеп.

Однако в автобусе он видел достаточно хорошо. Достаточно, чтобы рассмотреть, как совершалось преступление. Он сообщил об этом в полицию. Они были не слишком потрясены. Конечно, он мог бы избегать именно этого автобуса, но вместо этого он стал вновь и вновь повторять переживание. Он направлялся к площади Колумбус и слонялся там, пока вновь не появлялся его негр. Четыре захватывающих раза он переживал все это вновь, следил, как совершается кража, вновь и вновь глядел, как мускулистая рука проскальзывая из-за спины, приподнимала зажим сумки и слег-

ка похлопывала по ней, чтобы она раскрылась, Сэм-млер наблюдал, как полированный ноготь негра без спешки, без преступного трепета отбрасывал в сторону пластиковый пакет с Социальным Обеспечением или кредитными карточками, карандаш для век, губную помаду, розовые бумажные платочки, и щипком открывал замок кошелька со сдачей, где весело зеленели доллары. Пальцы вынимали их так же неторопливо. Затем, спокойно, словно врач, трогающий живот пациента, негр расправлял изгибы кожи и поворачивал золоченую улитку замка. Сэммлер, чувствуя, как ничтожно мал его череп, съжившийся от напряжения, как стиснуты его зубы, продолжал разглядывать лакированную сумку, которая, ограбленная и опустошенная, как ни в чем не бывало покачивалась на женском бедре, и волна раздражения поднималась в нем. Как это она ничего не заметила? Ну и дура! Жить на свете с такими куриными мозгами! Инстинкты на нуле, никакого представления о Нью-Йорке! А негр уже отвернулся от нее, его широкие плечи распирали верблюжью шерсть пальто. Темные стекла, — оригинальная модель от Кристиана Диора, могучее горло схвачено у ворота вишнево-струистым шелком галстука. Усы коротко подстрижены под африканскими ноздрями. Хоть Сэм-млер лишь слегка поворачивал голову в его сторону, он мог бы поклясться, что от лацканов верблюжьего пальто доносится аромат французских духов. Заметил ли негр его? Может быть, даже проследил за ним до самого дома? Сэммлер не имел ни малейшего представления.

Он бы не дал ни гроша за блеск, за стиль, за высокое искусство воровства. Преступники не были для него социальными героями. Как-то он обсуждал этот вопрос со своей молодой родственницей Анджелой Гранер, дочерью д-ра Арнольда Гранера из Нью-Рошели, который в 1947 вытащил его в Штаты, выкопав из лагеря перемещенных лиц в Зальцбурге. Ибо д-р Арнольд (Элиа) Гранер сохранил семейные чувства, что типично для Старого Света. Изучая списки беженцев,

опубликованные в еврейских газетах, он обнаружил там имена Артура и Шулы Сэмmlер. Анджела несколько раз в неделю бывала в их районе — ее психоаналитик жил за углом, — и часто забегала проведать его. Она была из тех красивых, богатых, страстных девиц, которые во все времена представляли важную социальную и человеческую категорию. Образование никудышное — литература, преимущественно французская в колледже Сары Лоренс. Сэмmlеру пришлось вспомнить Бальзака, которого он читал в 1913 в Кракове. Беглый каторжник Вотрен. С галер. *Trompe-la-mort*. Нет, он не смог оценить романтику воровской жизни. Анджела жертвовала деньги разным фондам в защиту черных убийц и насильников. Впрочем, это было ее личное дело.

Однако м-ру Сэмmlеру пришлось признать, что теперь, когда он увидел карманного вора за работой, ему страстно захотелось увидеть его снова, — сам не понимал, почему. Это было впечатляющее происшествие, и вопреки своим собственным твердым принципам, — он теперь втайне жаждал повторения. Сама собой пришла ему в голову одна подробность из давно прочитанного — тот момент в "Преступлении и наказании", когда Раскольников опустил топор на непокрытую голову старухи, — ее светлые с проседью, жирносмазанные волосы, крысиный хвост ее косички, подобранный на затылке, осколок роговой гребенки. Иными словами, тот факт, что ужас, преступление, убийство действительно высвечивают любое событие, любую мельчайшую деталь обыденности. В зле было озарение, как в искусстве. Конечно, это как в сказке Чарльза Лэмба: сжечь дом, чтобы поджарить поросенка. Нужно ли сжигать все дотла? Ведь можно обойтись умеренным пожаром в подходящем месте. Но можно ли просить людей воздерживаться от поджогов, пока пожар не будет организован в наилучшем месте и в надлежащем виде? Ведь и сам Сэмmlер, хоть он, выйдя из автобуса, и направился к телефону, чтобы позвонить в полицию, тем не менее извлек из преступления выгоду: у него рас-

ширилось поле зрения. Вокруг стало светлее – пятый час пополудни, время яркого предвечернего света. Мир, Риверсайд Драйв, был свирепо освещен. Свирепо, потому что в этом свете все предметы были видны необычайно ясно, и эта ясность как бы издевалась над Си-юминутным Наблюдателем Артуром Сэммлером. Прошу всех метафизиков обратить внимание. Именно так это бывает. Вы никогда больше не увидите ничего так ясно. Но какой вам от этого прок? В телефонной будке был металлический пол и плавно скользящая в петлях складная зеленая дверь, но от пола разило за-сохшей мочой, пластиковый телефонный аппарат был разбит вдребезги, и только пенек трубки болтался на конце шнура.

Нигде в окрестностях трех кварталов он не смог найти работающего телефона, в который стоило бы опустить десять центов, и с тем он отправился домой. Администрация дома установила в его подъезде телевизор, чтобы швейцар мог видеть, если туда проникнет преступник. Но швейцара почему-то никогда не было на месте, жужжащий прямоугольник электронного излучения был пуст. Респектабельная ковровая дорожка, коричневая, как подливка к жаркому, ластилась к ногам. Внутренняя дверь лифта холодно мерцала – податливая бронзовая ширма, вспыхивающая алмазами. Сэммлер вошел в квартиру и опустился в прихожей на кушетку, которую Марго застлала цветными платками от Вулворта, – связала их по углам и приколола к старым подушкам. Он набрал номер полиции и сказал:

- Я хочу сообщить о преступлении.
- О каком именно преступлении?
- О карманном воре.
- Минуточку, я соединю.

Раздался долгий гудок. Деревянный голос, то ли равнодушно, то ли устало ответил "Да".

М-р Сэммлер на своем польско-оксфордском английском постарался говорить сжато, четко и как можно ближе к фактам. Чтобы сберечь время. Чтобы избежать сложных расспросов, ненужных подробностей.

— Я хочу сообщить о карманном воре в Риверсайдском автобусе.

— О-кей.

— Простите?

— О-кей, я сказал, о-кей, докладывай.

— Негр, примерно шесть футов ростом, вес — около двухсот фунтов, примерно тридцати пяти лет, очень красивый, очень хорошо одетый.

— О-кей.

— Я думал, я должен позвонить.

— О-кей.

— Вы собираетесь что-нибудь предпринять?

— Ну, а для чего мы тут? А как тебя зовут?

— Артур Сэмплер.

— О-кей, Арт. А где ты живешь?

— Дорогой сэръ, я скажу вам, но сначала я хотел бы знать, что вы намерены предпринять?

— А что бы ты нам посоветовал?

— Арестовать вора.

— Для этого надо его поймать.

— Вам следует посадить в автобус своего человека.

— У нас нет человека для автобуса. Тут полно автобусов, Арт, и недостаточно людей. Полно собраний, банкетов, всякой всячины, Арт, с которой полно хлопот. Разных съездов и митингов. И полно покупательниц у Лорда и Тейлора, у Бонвиста и Сакса, которые бросают сумки в кресла, когда идут в примерочную.

— Я понимаю. У вас не хватает сотрудников, и много более важных дел. Но я могу опознать его.

— Как-нибудь в другой раз.

— Вы не хотите, чтобы я его опознал?

— Конечно, хотим, но у нас большой список.

— Но меня-то хоть включили в ваш список?

— Ну да, Аби.

— Артур.

— Арти.

Подавшись вперед в свете яркой лампы, Артур Сэмплер позволил себе криво улыбнуться. Он был ушиблен, ушиблен, как мотоциклист, в лицо которого по-

пал камешек с дороги. Америка! (Он говорил сам с собой.) Разрекламированная во вселенной как самая желанная, самая образцовая из всех наций!

— Итак, если я вас правильно понял, офицер — господин детектив? Этот человек будет грабить людей и дальше, но вы не намерены ничего предпринимать. Правильно?

Это было правильно, это подтверждалось тишиной в трубке, необычной тишиной. М-р Сэммлер сказал "До свидания, сэр."

После этого Сэммлер вместо того, чтобы избегать автобуса, стал ездить им чаще, чем обычно. Вор ездил всегда одним и тем же маршрутом, он специально наряжался для поездки, для работы. Он появлялся в автобусе этаким великолепным франтом. Сэммлер был однажды потрясен, хоть и не удивлен, увидев в его ухе золотую серьгу. Это было уже слишком, это невозможно было хранить в секрете, и он впервые рассказал своей племяннице Марго, в квартире которой он жил, и своей дочери Шуле о надменном и поразительном красавце-карманнике, об этом африканском принце, об этом большом черном звере, который охотится между кольцом Колумбус и Верди Сквер.

Марго объявила, что это восхитительно. Все восхитительное она готова была обсуждать с утра до ночи, со всех точек зрения с невыносимым немецким педантизмом. Кто такой этот негр? Его происхождение, его классовые и социальные симпатии и антипатии, его психология, его истинные эмоции, его эстетику. Революционер? Может быть, он представитель "Черных Пантер"? Если бы Сэммлер не углублялся в собственные мысли, он едва ли мог бы вынести эти беседы с Марго. Она была славная баба, но становилась невыносимо скучной, когда пускалась в теоретические рассуждения: стоило ей завести серьезную беседу, и собеседник просто пропадал. Именно поэтому он сам молот свой кофе, кипятил воду в колбе, хранил в увлажнителе луковые крекеры и даже мочился в умывальник (поднимаясь на цыпочки и размышляя о томительной пе-

чали, в которой, согласно Аристотелю, пребывает всякое животное после родовых мук). Потому что философствования Марго губили бы ему утро за утром. Он был научен горьким опытом: однажды она целую неделю занималась анализом фразы Ханны Ардент о банальности зла и всю неделю продержала его на кушетке в своей гостиной (софа была сделана из поролон, положенного на деревянные планки, на ножках из двухдюймовых водопроводных труб, со спинкой из трапециевидных подушек, обтянутых темно-серой дерюгой). Он так и не заставил себя сказать, что он думал по поводу фразы. Во-первых, она редко останавливалась, чтобы слушать. Во-вторых, он не был уверен, что будет понят. Кроме того, большая часть ее семьи была уничтожена нацистами, как и у него, хотя сама она уехала в 1937. Не то что он. Война настигла его, когда он вместе с Шулой и своей покойной женой отправился в Польшу. Они поехали, чтобы ликвидировать предприятие его тестя. Этим вполне могли заняться адвокаты, но для Антонины было важно наблюдать за всем лично. Она погибла в 1940, а крохотная фабрика оптических инструментов, принадлежавшая ее отцу, была демонтирована и отправлена в Австрию. Им не уплатили послевоенных репараций. Марго же получала возмещение от западногерманского правительства за собственность ее семьи во Франкфурте. Эркин оставил ей не слишком много, она нуждалась в этих немецких деньгах. Невозможно спорить с человеком, который столько перенес. Конечно, она признавала, что и он перенес немало. Но он все же выкарабкался, хотя потерял жену и глаз. Однако, они могли бы обсуждать вопрос о банальности зла с теоретической точки зрения. Как отвлеченную проблему. Дядя Артур сидит в неуклюжем кресле, высоко задрав колени; темные очки скрывают его глаза и поседевшие брови, набухшая извилистая вена прорезает складки лба, рот сжат. Он не намерен отвечать.

А Марго говорит не смолкая: "Суть ее идеи в том, что там не было великого духа зла. Эти люди были

слишком незначительны, дядя. Это были обычные представители низших классов, администраторы, мелкие чиновники, люмпен-пролетарии. Массовое общество не производит великих преступников. Это все из-за того, что труд распределяется на всех членов общества, и это полностью разрушает идею ответственности. Разделение труда повинно в этом. Это как если бы вместо леса с огромными деревьями пришлось бы думать о карликовых деревьях с мелкими корнями. Современная цивилизация не создает больше крупных индивидуальностей”.

Только покойный Эркин, обычно нежный и снисходительный, умел заткнуть рот Марго. Это был высокий, наполовину лысый мужчина с усами, отличный человеческий экземпляр с отличными изысканными мозгами. Он занимался политическими теориями. Он преподавал в Хантер Колледж — учил женщин. Очаровательных, безмозглых идиоток — как он их обычно называл. Время от времени попадался сильный женский интеллект, но слишком сердитый, слишком неудовлетворенный, слишком обремененный, бедняга, сексуальными проблемами. Авиакатастрофа оборвала его жизнь, когда он летел в Цинциннати, чтобы прочесть лекцию в каком-то еврейском колледже. Сэмплер замечал, как его вдова старается теперь перевоплотиться в него. Она стала специалистом по политическим теориям. Она говорила от его имени, как, по ее мнению, говорил бы он, и не было никого, чтобы защитить его идеи. Обычная судьба Сократов и Иисусов. Честно говоря, Эркин находил удовольствие в бесконечных рассуждениях Марго, — это следовало признать. Чушь, которую она несла, явно была ему приятна, он улыбался в усы, вытянув длинные руки вдоль трапецидальных подушек, скрестив длинные ноги в носках, он сбрасывал туфли немедленно, как только садился. Но если ее болтовня слишком затягивалась, он обычно говорил: “Хватит, хватит этого Веймарского смальца. Кончай, Марго!” Теперь его мужественный окрик никогда уже не прозвучит в этой нелепой гостиной.

Марго была маленькая, кругленькая, пышная. У нее были пухлые, заманчиво округлые, особенно над коленками, ноги, обтянутые сетчатыми черными чулками. Сидя, она выставляла ступню, как балерина, — вытягивая подъем. Она упирала в ляжку маленький сильный кулачок. Эркин сказал как-то дяде Сэммлеру, что она может служить первоклассным орудием в руках того, кто сумеет направить ее к нужной цели. У нее хорошая душа, — говорил Эркин, — но ее энергетические запасы могут быть использованы чудовищно неразумно. Сэммлер и сам понимал это. Она не способна была помыть помидор, не замочив рукавов. Ее квартиру ограбили, потому что она открыла окно, чтобы полюбоваться закатом, и забыла его закрыть. Грабители проникли через окно столовой с крыши, расположенной как раз под ним. Сентиментальная ценность ее брошей, колец, цепочек и гребней для волос не была признана страховой компанией. Теперь окна были заколочены гвоздями и прикрыты шторами. Теперь в доме ели при свечах. Света было достаточно, чтобы рассмотреть развешанные по стенам копии из Музея Современного Искусства, и саму Марго по ту сторону стола, — она разливала суп, расплескивая его на скатерть: ее прелестную улыбку, томную и нежную, открывающую не слишком хорошие мелкие зубы, ее темно-голубые глаза, не замутненные никаким злом. Утомительное создание, доброжелательное, неунывающее, целеустремленное и неумелое. Чашки и вся остальная посуда всегда были покрыты жирной пленкой. Она часто забывала спустить воду в уборной. Но со всем этим легко было примириться. Злейшим бичом была ее серьезность — эта способность рассматривать все сущее с чисто немецкой твердолобостью. Как будто ей недостаточно было быть еврейкой, — бедная девочка была еще и немкой впридачу.

”Ну вот. А каково ваше мнение, дядя Артур?” Наконец-то удосужилась спросить. ”Я знаю, вы много думали об этом. Вы ведь столько пережили. И вы с Ашером столько говорили об этом безумце — о Рум-

ковском. О царе иудейском из Лодзи... Что вы можете сказать?"

У дяди Сэмлера щеки были вполне упругие, цвет лица его был вполне хорош для человека за семьдесят, кожа не была слишком морщиниста. Однако, левая сторона лица, со стороны слепого глаза, была изборождена тонкими линиями, этаким морозным узором, напоминающим трещины на стекле.

Отвечать не имело смысла. Ответ породил бы новые споры, новые объяснения. Тем не менее, другое человеческое существо обращалось к нему с вопросом. Он был старомоден. Простая учтивость требовала, чтобы он как-то откликнулся.

"Попытка представить величайшее преступление века скучным не так уж банальна. Политически и психологически идея немцев была гениальна. Банальность была простым камуфляжем. Если хочешь избежать проклятия за убийство, заставь его выглядеть обыденным, скучным, или заурядным. С чудовищной политической проницательностью они нашли способ маскировки. Интеллектуалы этого не понимают. Они черпают свои суждения о подобных вещах из литературы. Они ожидали преступника-героя типа Ричарда III. Что ж ты думаешь, нацисты не ведали, что такое убийство? Все (за исключением немногих синих чулков) отлично знают, что это такое. Это знание старо, как мир. Лучшие и чистейшие представители человечества с древнейших времен знали, что жизнь священна. Отвергнуть это старое представление — отнюдь не банально. Нужен был заговор против самой идеи, что жизнь священна. Банальностью замаскировалось властное стремление уничтожить совесть. Разве это заурядный замысел? Только если заурядна сама человеческая жизнь. Враг этой твоей профессорши — современная цивилизация. Она просто использует Германию для атаки на двадцатый век — чтобы низвергнуть его в терминологии, придуманной немцами. Чтобы извлечь пользу из исторической трагедии для преуспевания дурацких идей веймарских интеллектуалов".

Споры! Объяснения! — думал Сэмплер. — Все всё всем объясняют, пока не созреет новая общепринятая точка зрения. Эта точка зрения, повторяя судьбу всего, что люди говорили в прошлом веке, тоже будет фикцией. Может быть, в новом варианте окажется больше элементов, подсказанных реальностью. Тогда считалось, что главное — восстановить полноту жизни, ее нормальное полнокровие. И, разумеется, к черту все основополагающие принципы прошлого, только бы вернуться к природе, а к природе необходимо вернуться, чтобы сохранить в равновесии достижения современного Метода. Немцы были великолепными последователями Метода в области индустрии и войны. Для отдыха от рационализма и расчетливости, от механизации, планового хозяйствования и техницизма у них была романтика, мифомания, своеобразный эстетический фанатизм. Но и это были машины — эстетическая машина, философская машина, мифотворческая машина, культуртрегерская машина. Машина в смысле полной систематизации процессов. Система же требует не величия, а заурядности. Система всегда основана на труде. Труд на службе у искусства приводит к банальности. Отсюда чувствительность культурного немца ко всему банальному. Банальность разоблачает господство и могущество Метода, а также их подчиненность Методу. Сэмплер давно уже все это разгадал. Ополчаясь против опасностей и несчастий, таящихся в объяснениях, он сам был неплохим объяснителем. И даже в старое доброе время, в дни его англomanии, в добрые, славные двадцатые и тридцатые, когда он жил на Грейт Рассел Стрит, когда он водил дружбу с Мэйнардом Кейнсом, Литтоном Стретчи и Гербертом Уэллсом, когда он разделял "английские" вкусы, перед тем как началось огромное физическое давление войны, с ее объемами, пустотами и зияниями (это было время прямого воздействия на индивидуум, биологически сравнимого с рождением), даже тогда он не слишком доверял своим суждениям о Германии. Веймарская Республика ни в коей мере не казалась ему привлека-

тельной. Впрочем, было одно исключение — он восхищался ее Планками и Эйнштейнами. Вряд ли кем-либо другим.

И уж во всяком случае он не собирался становиться одним из добрых европейских дядюшек, с которыми Марго этого мира могли вести длительные дискуссии на высшем уровне. Она была бы в восторге, если бы он в течение двух часов бегал за ней по всей квартире, пока она, распаковывая покупки от бакалейщика, искала бы колбасу к лэнчу, колбасу, давно уже лежащую на полке; или пока бы она застилала постель, взбивая подушки коротенькими крепкими руками (она набожно сохраняла обстановку в спальне — все было как до гибели Ашера: его вертящееся кресло, его скамеечка для ног, его Гоббс, Вико, Хьюм и Маркс с замечаниями на полях), — и все это время продолжался бы спор. Он обнаружил, что если б ему даже и удалось вернуть словечко, она бы тут же вычеркнула и отвергла его немедленно. Марго мчалась напролом, исполненная невероятной воли к добру. И она действительно хотела добра (в этом-то и было дело), она всегда была бесконечно, болезненно, безнадежно на стороне добра и справедливости в любом человеческом споре: за творчество, за молодых, за черных, за бедных, за униженных и оскорбленных, за грешников и голодающих.

Одно замечательное высказывание Ашера Эркина надолго дало Сэмmlеру пищу для размышлений. Он сказал, что научился делать добро, как будто предаваясь пороку. Должно быть, он имел в виду свою жену как сексуального партнера. Она, вероятно, побуждала его к эротической изобретательности, и превращала моногамию в захватывающее противоборство. Марго, постоянно вспоминая Ашера, называла его по-немецки — Муж, мужчина: "Когда мой Муж был жив... мой Муж обычно говорил". Сэмmlер жалел овдовевшую племянницу. Но критиковать ее можно было бесконечно. Она была утомительна в своей возвышенности, она вечно безжалостно покушалась на чужое время, на чужие мысли, на чужой покой. Она говорила

ерунду, она собирала и коллекционировала ерунду, она даже выращивала ерунду. Взять, к примеру, все эти растения, которые она пыталась разводить. Она сажала в горшки косточки авокадо, семена лимона, душистый горошек и даже картофель. Было ли на свете что-либо более убогое и унылое, чем эти ростки в горшках? Кустики и лозы стлались по земле, пытаясь выкарабкаться вверх по веревкам, веерообразно прибитым к потолку в надежде на успех. Стебли авокадо выглядели как обгоревшие черенки бенгальских огней, упавших с высоты после вспышки, на них топорщились листики, остроконечные, ржавые, вшивые листики, поеденные червем. Несомненно, оно о чем-то говорило, это ботаническое уродство, результат стольких взрылений и поливок. Сколько труда и усердия, сердца и души было сюда вложено! В первую очередь, оно говорило о каких-то разрозненных событиях, полных значения и смысла, но не было способа добраться до этого смысла. Марго мечтала о беседке в гостиной, завесе из глянцевитых листьев и цветов, о саде, благоухающем свежестью и красотой, — она хотела возвращать что-то, пестовать что-то, быть женщиной, воспитательницей. Хозяйкой садов и источников. Человечество помешано на символах и пытается сказать нечто, чего не знает само. А вырастали и развивались на веерообразных веревках какие-то ошипанные перья: ни павлиньего багрянца, ни нежной синевы, ни истинной зелени, только тусклые пятна в поле зрения. Может, их спасало от окончательной гибели ощущение доступного человеческого тепла? Но и в этом не было уверенности. Непрерывное напряженное анализирование доводило Сэмлера до головной боли. Хуже всего было то, что эти изможденные растеньица не способны были, не могли оправиться. Слишком мало света. И слишком много беспорядка.

По части беспорядка еще хуже была его дочь Шула. Он жил много лет вместе с Шулой чуть восточнее Бродвея. У нее было слишком много странностей, чтобы старик отец мог их вынести. Она страстно коллекцио-

нировала всякий хлам. Попросту говоря, она была мусорщица. Несколько раз он видел, как она рылась в бродвейских мусорных баках (он все еще называл их мусорными урнами). Она была вполне не стара, не дурна собой и даже не слишком плохо одета, если рассматривать отдельно каждую вещь. Она бы казалась просто вульгарной, если бы не было заметно, что у нее не все дома. Она носила мини-юбку из билиардного сукна, обнажающую ноги, чувственные по очертаниям, но лишенные внутренней чувственности; на талии широкий кожаный пояс, грудь и плечи обтянуты вышитой гватемальской рубашкой, из грубого полотна, на голове парик, который мог бы натянуть разве что мужчина, изображающий женщину по договоренности с торговцем. Ее собственные волосы вились мелким барашком. Это приводило ее в отчаяние. Она в слезах утверждала, что волосы у нее жидкие и мужские. Жидкими они действительно были, но уж никак не мужскими. Она унаследовала их от сэммлеровской матери; та была истерична, конечно, но никак не мужеподобна. Но кто знает, сколько сексуальных трудностей и осложнений связывала Шула со своими волосами?

Начиная от мыска волос на лбу и вниз, дальше по воображаемой линии — вдоль носа, от природы тонкого, но испорченного вечным беспокойным подергиванием, вдоль вздорных замечаний, слетающих с губ (припухших, покрашенных темно-красной помадой), и еще дальше вниз, между грудями к центру тела, — сколько тут было проблем для нее! Сэммлер слышал не раз историю о том, как она пошла к хорошему парикмахеру, чтобы причесать свой парик, а парикмахер заявил: "Ради Бога, уберите эту штуку прочь, я такую дешевку не причесываю!" Сэммлер так и не понял, произошло ли это однажды с одним парикмахером-педерастом, или это повторялось несколько раз. Он видел в характере своей дочери слишком много разрозненных элементов. Деталей, которые должны были бы соответствовать друг другу, но не соответствовали. Парики, к примеру, предполагали иудаистскую орто-

доксальность; и правда, у Шулы было много еврейских знакомств. Она, казалось, водила знакомство с кучей раввинов из знаменитых синагог, как к западу, так и к востоку от Центрального парка. Она посещала всякие церемонии и бесплатные лекции. Сэмплер не мог понять, откуда у нее берется терпение на все это. Он лично не мог высидеть на лекции больше десяти минут. Зато она, с этими ее огромными умными глазами помешанной, с лицом, на котором были запечатлены все ее возвышенные вопросы, с лицом, заострившимся от напряженного внимания, сидела в своей авангардной юбочке, зажав между коленями хозяйственную сумку, набитую трофеями с помоек, утильсырьем и макулатурой. После лекции она первая задавала вопросы. Потом она быстро знакомилась с раввином, с женой раввина и со всей его семьей, и вступала с ними в длительные дискуссии о вере, традициях, сионизме, Масаде и арабах. Но кроме того, у нее были христианские периоды. В польском монастыре, где она пряталась четыре года, ее окрестили Славой, и теперь бывали времена, когда она отзывалась только на это имя. На Пасху она почти всегда была католичкой. В первый день поста она представала перед взором старого джентльмена с грязным пятном на лбу, оставшимся от земных поклонов. С мелкими завитками свалывшихся еврейских волос, выбивающихся за ушами из-под парика, с влажными темно-красными губами, недоверчивая, обвиняющая, утверждающая некое свое предназначение, свое право быть кем ей вздумается — кем бы то ни было, если на то пошло. Рот, никогда не смолкающий, дополняющий словами то, о чем говорили безумно мерцающие темные глаза. И все же она была не совсем сумасшедшей. Хоть и могла явиться к нему с рассказом о том, как на нее наехал конный полицейский в Центральном парке. Там пытались поймать оленя, сбежавшего из Зоопарка, а она была поглощена чтением статьи в "Лук", и вот ее сбили с ног. При всем том она была вполне жизнерадостна. Даже слишком жизнерадостна для Сэмплера. По ночам она

печатала на машинке. Печатая, она пела. Работодателем был кузен Гранер, врач, который специально выискивал для нее эту работу, чтобы она была при деле. В прошлом Гранер спас ее (ибо это можно было приравнять к спасению) от ее столь же сумасшедшего мужа, Эйзена, послав Сэммлера за нею в Израиль. И тот привез Шулу-Славу в Нью-Йорк. Это была первая поездка Сэммлера в Израиль, по семейным делам.

Эйзена ранило под Сталинградом — был он блистательно, невероятно хорош собой. Позже, уже в Румынии, компания увечных ветеранов сбросила его с поезда на полном ходу за то, что он был еврей. Эйзен отморозил ноги, ему пришлось ампутировать несколько пальцев. "Просто они были выпивши, — объяснял Эйзен в Хайфе. — В общем неплохие ребята — товарищи. Но вы знаете, что такое русские после нескольких стаканов водки". Он улыбнулся Сэммлери. Черные кольца волос, прямой римский нос, сверкающие острые здоровые зубы, влажные от слюны. Беда была в том, что он часто лупил Шулу-Славу, даже во время медового месяца. Старик Сэммлер из окон тесной, пахнущей камнем и известкой, хайфской квартирки разглядывал пальмовые ветви, неподвижные в горячем прозрачном воздухе. Шула готовила обеды по мексиканской поваренной книге, замешивала горьковатый шоколадный соус, втирала кокосовые орехи в куриные грудки и жаловалась, что в Хайфе невозможно купить мексиканские специи. "Когда меня сбросили с поезда, — рассказывал Эйзен жизнерадостно, — я решил пойти повидать Папу Римского. Я вырубил сук и пошел в Италию. Этот сук был моим посохом, понимаете?"

— Понимаю.

— Я пришел в Замок Гандольфо. Папа был очень мил с нами.

Через три дня Сэммлер понял, что необходимо увезти дочь.

Он не мог долго оставаться в Израиле. Он предпочитал не сорить деньгами Элии Гранера. Но все же он по-

сетил Назарет и взял такси до Галилеи, исключительно из исторического интереса, раз уж все равно был поблизости. На засыпанной песком дороге он встретил гаучо. В широкополой шляпе, завязанной под могучим подбородком, в аргентинских широченных штанах, заправленных в сапоги, с усами Дугласа Фербенкса, тот месил корм для маленьких существ, копошившихся вокруг него в отгороженном проволокой загоне. Из шланга текла вода, чистая и прозрачная на солнце, она смачивала желтое месиво, пятная его оранжевым. Откормленные маленькие твари были весьма проворны, они были тяжеленькие, в блестящих шубках, пушистых и влажных. Это были нутрии. Их мех шел на шапки в холодном климате. И на дамские шубки. М-р Сэммлер, докрасна загорелый на галилейском солнце, подверг гаучо допросу. Он задавал вопросы рокочущим басом знатного путешественника — зажав сигарету волосатыми пальцами, пуская дым из волосатых ноздрей. Ни один из них не говорил на иврите. Как, впрочем, и на языке Иисуса. М-р Сэммлер припомнил итальянский, который хозяин нутрий воспринимал из своей аргентинской темноты, его тяжелое красивое лицо задумчиво склонялось к жадным тварям, суесящимся у его ног. Он был бессарабско-сирийский латиноамериканец, говорящий по-испански, израильский пастух из пампасов. Сэммлер пожелал узнать, сам ли он забивает своих маленьких питомцев? Его итальянский никогда не был особенно хорош.

— *Uccidere? Ammazzare?*

Гаучо понял наконец. Он забивает их сам, когда приходит время забоя. Он убивает их ударом палки по голове.

Не неприятно ли ему поступать так со своими маленькими питомцами? Ведь он знает их с детства, разве нет у него индивидуальных привязанностей, любимцев, так сказать? Гаучо пожал плечами. Он отрицательно покачал красивой головой. Он сказал, что нутрии очень глупые.

— *Son muy tontos.*

— *Arrivederci*, — сказал Сэмплер.

— *Adios, Shalom*.

Такси доставило м-ра Сэмплера в Капернаум, где Иисус молился в синагоге. Вдали видна была гора Фавор. Двух глаз было бы недостаточно, чтобы охватить густоту и гладкость ровного цветного фона, кое-где с трудом рассеяемого рыбацкими лодками. Вода синяя, необычно вязкая и тяжелая, словно утекала куда-то под голые Голанские высоты. И сердце м-ра Сэмплера разрывалось от противоречивых чувств, пока он стоял под низкими, струисто-лиственными банановыми деревьями.

И эти ноги в древние времена

Ступали по...

Но то были зеленые холмы Англии. Горы по ту сторону в их змеиной наготе ни в коей мере не были зелеными; они были коричнево-красные, с дымными ущельями, и тайна нечеловеческих сил пламенела над ними.

Впечатления и опыт прожитой жизни, по-видимому, перестали располагаться последовательно во времени и в пространстве, соответственно своей религиозной и эстетической значимости, но человечество страдало от непоследовательности, от смешения стилей, от слишком долгой жизни, состоящей из нескольких отдельных жизней. В сущности весь опыт человечества перекрывал сейчас каждую отдельную жизнь в ее течении. Делая все исторические эпохи одновременными. Вынуждая хрупкую личность только получать и регистрировать своим обычным объемом, своей массой, лишая ее возможности передать знание, осуществить замысел.

Да, таким было его первое посещение Земли Обетованной. Десять лет спустя он поехал туда вновь, уже с другой целью.

Шула вернулась с ним в Америку. Спасенная от Эйзена, который избивал ее, утверждая, что она врунья, что она бежит к католическим священникам (ложь приводила его в ярость; Сэмплер заметил, что параноики более рьяные защитники истинной правды, чем

другие безумцы), она занялась в Нью-Йорке домашним хозяйством. Иными словами, она создала еще один центр беспорядка в Новом Свете. Мистер Сэмлер, этот вежливый Хитрый Джимми (кличка, данная ему д-ром Гранером), этот снисходительный отец, восторженно расхваливающий любой хлам, который ему дарили, иногда вдруг взрывался, приходил в ярость. И действительно, он требовал от Боннского правительства компенсации не только за потерянный глаз, но и за ущерб, причиненный его нервной системе. Приступы гнева, очень редкие, но разрушительные, приводили к тяжелейшим мигреням, к депрессивному постлепилептическому состоянию. После таких приступов он подолгу лежал в темной комнате, скорчившись, стиснув руки на груди, измученный, страдающий, неспособный ответить, когда к нему обращались. У него было несколько таких приступов из-за Шулы-Славы. Во-первых, он возненавидел дом, в котором их поселил Гранер, дом с каменным крыльцом, крутыми ступенями, сбегаящими с одной стороны к подвальной лестнице соседней китайской прачечной. Вестибюль вызывал у него тошноту, изразцы как желтые зубы скалились в улыбке отчаяния, из шахты лифта воняло. Шула держала в ванной пасхального цыпленка, пока он не превратился в курицу, кудахчущую на краю ванны. Рождественские украшения висели до весны. Сами комнаты напоминали пыльные красные рождественские колокола из гофрированной бумаги. Однажды он обнаружил желтоногую курицу у себя в кабинете среди книг и бумаг – это было слишком. Он сознавал, что солнце сверкало ярко, что небо было синим, но тяжелая туша многоквартирного дома в каменных барочных кружевах навалилась на него, а его комната на двенадцатом этаже представилась ему комнатой пыток, в которой он был заперт, и он завизжал при виде дьявольских куриных желтых сморщенных ног, рвущих когтями его бумаги.

Тогда Шула-Слава согласилась, что лучше ему переехать. Она стала рассказывать всем встречным, что

жить с ним тяжело, так как он пишет мемуары о Герберте Уэллсе, которые она называла трудом его жизни. Герберт Уэллс был ее страстным увлечением, кумиром всей ее жизни. Герберт Уэллс был самым великим представителем рода человеческого, с которым она была знакома. Она была маленькой девочкой, когда жила с родителями в Блумсбери на Вобурн Сквер, и с гениальным детским прозрением угадала их истинные страсти: их гордость высокопоставленными знакомствами, их снобизм, их упоение своими успехами в культурных кругах Англии. Старый Сэммлер вспоминал свою жену тех предвоенных дней в Блумсбери, ее манеру спокойным, задушевым голосом сообщать, — с тем поглаживающим движением руки, в котором лишь хорошо знающие ее могли угадать хвастливый жест: мы очень-очень близки с самыми замечательными людьми Великобритании. Мелкий грех, — можно сказать, полезный для пищеварения, — он окрашивал щеки Антонины ярче, смягчал ее кожу. Если маленькое восхождение по социальной лестнице делало ее краше (мягче между ног — мышлишка сама выскочила на свет. Сэммлер давно уже не пытался отгонять эти каверзы подсознания), значит оно заслуживало снисхождения как признак женственности. Любовь — это самая действенная косметика, но есть и другие. И, конечно, маленькая девочка не могла не заметить, как простое упоминание имени Уэллса оказывало социально-эротическое воздействие на мать. Хоть Сэммлер никогда не судил Уэллса строго и вспоминал о нем с уважением, он знал, однако, что тот был крепкий мужик, отличавшийся особой необычайной чувственностью. Как биолог, как социальный мыслитель, озабоченный мировыми проектами, вопросами власти и созданием универсального порядка, как поставщик интерпретаций и идей для образованных масс — он, по-видимому, нуждался в большом количестве совокуплений. Теперь Сэммлер часто думал о нем как о мелком соблазнителе из низших классов, как о человеке с угасающими возможностями и убывающей

привлекательностью в агонии расставания с грудями, губами, со сладкими бесценными сексуальными флюидами, бедный Уэллс, этот прирожденный учитель, борец за сексуальную эмансипацию, пророк, благославляющий человека, к концу жизни мог только проklinать всё и вся. Конечно, свои последние вещи он писал совершенно больной, подавленный ужасом Второй мировой войны.

Все, что о нем рассказывала Шула, забавным образом возвращалось к Сэммлеру через Анджелу Гранер. У Анджелы была идеальная для прелестной, богатой, свободной молодой женщины квартира на Шестидесятой улице к востоку от Центрального парка, куда частенько заходила Шула. Жизнь Анджелы восхищала ее. Очевидно, без всякой зависти, нисколько не осознавая собственного несоответствия обстановке, она неуклюже усаживалась среди изысканного комфорта Анджелиных драпировок, пачкая губной помадой прозрачный фарфор и столовое серебро, в своем парике, с хозяйственной сумкой, с белым, искаженным постоянным вдохновением лицом (она то и дело слушала и сообщала другим известия из иных миров). По словам Шулы, ее отец в течение долгих лет вел серьезный разговор с Гербертом Уэллсом. Свои записи он в 1939 году взял в Польшу, надеясь, что там у него будет свободное время для писания мемуаров. Тут как раз Польшу разрушило взрывом. В гейзере, который поднялся к небу на одну-две мили были и папины бумаги. Но (с его-то памятью!) он, конечно, помнил все наизусть, и стоило только спросить его, что Уэллс говорил ему о Ленине, Сталине, Муссолини, Гитлере, о мире во всем мире, об атомной энергии, об открытом заговоре и о колонизации других планет, и он тут же вспоминал целые абзацы. Но, конечно, ему надо было сосредоточиться. И тут она касалась вопроса о его переезде к Марго, так, словно эта идея принадлежала ей. Он переехал, просто чтобы иметь возможность сосредоточиться. Он будто бы сказал, что у него не так уж много времени в запасе. Конечно, это было преуве-

личением. Он ведь так хорошо выглядит. Он такой красивый. Многие пожилые вдовы интересуются им. Например, мать рабби Ипсхаймера. Или, скорей, бабушка Ипсхаймера. Как бы то ни было (так докладывала Анджела) Уэллс рассказывал Сэммлеру такие вещи, о которых никто в мире ничего не знает. Когда они будут опубликованы, это будет сенсация. Книга будет написана в форме диалогов, как книга А.Н. Уайтхеда, которой Сэммлер так восхищался.

Анджела рассказывала все это низким, слегка хриплым, с переливами колокольной меди (единственный грубоватый штрих в этой красивой женщине) голосом.

— Она создала настоящий культ Уэллса. Вы и вправду были так близки, дядя?

— Мы были хорошо знакомы.

— Но были вы закадычными друзьями? Наперсниками?

— Моя дорогая девочка, несмотря на мой преклонный возраст, я вполне современный человек. Теперь ты не найдешь Давидов и Ионатанов, неразлучных друзей типа Роланда и Оливера. Но его общество было очень приятно. И он, похоже, любил беседовать со мной. Что касается его взглядов, то у него были умные взгляды на все на свете. И он всегда высказывал все, что хотел и когда хотел. Все, что он мне говорил, я видел потом в печати. Он был графоманом, как Вольтер. Его мозг был невероятно деятельным, ему казалось, что он все должен объяснить и кое-что он действительно сказал очень хорошо. Например, что наука — это разум расы. Знаешь, ведь это правда. И лучше делать упор на науку, чем на другие коллективные явления, такие, как грехи или болезни. И когда я вижу крыло реактивного самолета, я вижу не просто металл, но металл, обработанный в согласии с коллективным разумом, знающим величину давления, веса и объема, рассчитанный в согласии с правилами скольжения, кто бы этими правилами ни пользовался — китаец или индус, житель Конго или Бразилии. Да, в общем,

это был умный и разумный человек и на многие вещи он смотрел совершенно правильно.

— И вам бывало с ним интересно?

— Да, мне бывало интересно.

— Но она говорит, что вы пишете свою великую книгу со скоростью ста страниц в минуту.

Она смеялась. Смех ее был великолепен. Анджела была воплощением чувственной женственности. Она благоухала женственностью. Она носила вещи странного стиля, — Сэммлер отмечал это сухо, отвлеченно и незаинтересованно, словно наблюдатель из другого мира. Ботинки это или белые шевровые котурны? Что это за колготки — густые или прозрачные? Куда они ведут? И волосы, словно покрытые инеем, и этот избыток косметики, превращающий лицо в морду львицы, эта походка, хвастливо выставленная напоказ и без того пышный бюст? Брюки от Куррежа и Пуччи; синтетическое пальто, расчерченное геометрическими фигурами белым по черному, напоминающими о кубистах и Мондриане. Сэммлер изучал этот стиль по номерам "Таймс" и по женским журналам, которыми его снабжала сама Анджела. Изучал не слишком прилежно. Он берег зрение и бегло просматривал страницы по диагонали единственным глазом, склонив выпуклый лоб, пока разум регистрировал возбуждения. Казалось, его поврежденный левый глаз смотрит в другую сторону, озабоченный обособленно совсем другими проблемами. Так Сэммлер узнал, скользя по гребням стремительных перемен, о Бэби Джейн Хольцер, пока она была в моде, о Живом Театре, о выходках нудистов, становящихся все более революционными, о Дионисии — 69, о совокуплениях на сцене, о философии биттлов, а в области живописи об электрических выставках и о движущихся картинах. Сейчас Анджеле уже было за тридцать, она была независима и богата, с красновато-коричневой кожей, большим ртом и соломенно-золотыми волосами. Она боялась располнеть. Она то постилась, то накидывалась на еду, как портовый грузчик. Она занималась гимнастикой у модного учителя.

Сэмплер был в курсе всех ее интересов — она вынуждала его к этому, обсуждая их с ним во всех подробностях. О его проблемах она ничего не знала. Он редко рассказывал, а она редко спрашивала. Более того — он и Шула были на содержании у ее отца, его прихлебателями — можно называть это как угодно. Итак, после сеанса у психоаналитика, Анджела забегала к нему, чтобы обсудить все перипетии предыдущего часа. Таким образом, дядя Сэмплер узнавал, что она делала и как с кем она себя вела. Ему приходилось выслушивать все, что ей угодно было сообщить. У него не было выбора.

Однажды еще в гимназические дни Сэмплер перевел из Святого Августина: "Дьявол основал свои города на Севере". Он часто думал об этом. В Кракове накануне Первой мировой войны у него был другой вариант этого — безысходная тьма, чудовищная жидкая желтая грязь глубиной в два дюйма над булыжной мостовой еврейских улочек. Людям нужны были свечи, желтые лампы, медные чайники и ломтики лимона, символизирующие солнце. Это была победа над мраком с помощью средиземноморских символов. Мрак окружающей жизни отступал перед импортными предметами культа и перед местными предметами домашнего обихода. Без мощи Севера, без его шахт, без его индустрии мир никогда бы не принял своего поразительно современного облика. И невзирая на Святого Августина, Сэмплер всегда любил северные города, особенно Лондон, благословен будь его угрюмый облик, его угольный дым, его серые дожди, и человеческие и интеллектуальные радости его окутанных тьмой пригородов. Там можно было примириться с сумраком, с приглушенными тонами, там можно было не требовать полной ясности ума и побуждений. Но теперь странное утверждение Августина требовало нового толкования. Внимательно слушая Анджелу, Сэмплер прикидывал различные версии. Подходила к концу пуританская эпоха труда. На смену Черным мельницам сатаны приходили Светлые мельницы сатаны. Распутники превра-

щались в детей радости, эмансипированные массы Нью-Йорка, Лондона и Амстердама охотно воспринимали сексуальные повадки сералей и зарослей Конго. О, этот старый Сэммлер с его пронизательным взглядом! Он видел все возрастающий триумф Просвещения — Свобода, Равенство, Братство, Прелюбодеяние! Просвещение, всеобщее образование, всеобщее избирательное право, права большинства, признанные всеми правительствами, права женщин, права детей, права преступников; утвержденное равноправие всех наций и рас. Социальное, общественное здравоохранение, правосудие — поединок, длившийся три революционных столетия, был выигран, когда ослабели феодальные узы Церкви и Семьи, когда привилегии аристократии без ее обязанностей стали общедоступными, демократическими, особенно — сексуальные, эротические привилегии. Было получено право мочиться, испражняться, блевать, совокупляться в любых позах, по двое, по трое, по четверо, по сколько угодно, право быть естественными, примитивными, сочетая лень и роскошную изобретательность Версаля с прикрытой фиговым листком простотой Самоа. Пришла пора черного Романтизма. Он не менее стар, чем ориентализм рыцарей-тамплиеров, а с тех пор его еще дополнили леди Стэнхоуп, Бодлер, де Нерваль, Стивенсон и Гоген — эти варвары, любители Юга. О да, тамплиеры! Они обожали мусульман. Один волос с головы сарацина представлял большую ценность, чем все тело христианина. Какой безумный пыл! Теперь расизм и странные эротические культы, туризм и местный колорит потеряли свою экзотику, но массовая ментальность, унаследовавшая все это без всякого исторического фундамента, прониклась идеей о болезненном угасании белых и о целительной силе черных. Мечты поэтов XIX века загрязнили психологическую атмосферу больших городов и пригородов Нью-Йорка. Если добавить к этому бессмысленно жестокое наследие фанатиков, станет ясна вся глубина опасности. Как многие люди, которым однажды пришлось увидеть крушение мира, Сэммлер

допускал возможность его повторения. Он не соглашался с друзьями-эмигрантами, что это повторение неотвратимо, однако признавал, что либеральные добродетели, похоже, не способны к самозащите, и запаха разложения вполне ощутим. Можно было воочию увидеть, как цивилизация рвется к самоуничтожению. Оставалось только гадать, сумеет ли Западная культура в целом пережить это всеобщее распыление — или только ее наука, технология и административная организация будут восприняты другими общественными системами. И не окажутся ли любимцы цивилизации, — интеллектуалы, — ее злейшими врагами, атакующими ее, цивилизацию, в самые неблагоприятные моменты — во имя пролетарской революции, во имя разума, во имя иррационального, во имя духовных глубин, во имя секса, во имя совершенной немедленной свободы. А это равнозначно неограниченным требованиям — ненасытности, жадности, нежеланию обреченного существа уйти из жизни неудовлетворенным (ибо смерть стала окончательной и беспросветной). Любая личность могла представить полный список требований и жалоб. Не подлежащий обсуждению и не признающий никаких ограничений в удовлетворении любого человеческого желания. Просвещение? Великолепно! Но никуда не годится, не правда ли?

Сэмплер видел это все в Шуле-Славе. Она приходила убирать его комнату. Ему приходилось сидеть в пальто и в берете, так как ей нужен был свежий воздух. Все нужное для уборки она приносила в хозяйственной сумке — нашатырный спирт, наждачную бумагу, жидкость для мытья окон, мастику, тряпки. Повязав шарфом бедра, она взбиралась на подоконник и спускала подвижную оконную раму, чтобы вымыть окно. Маленькие подошвы ее туфель оставались внутри комнаты. Горящая сигарета — в центре рта, рдеющего как насмешливо-ассиметричная вспышка деловито-мечтательной чувственности. И этот парик, смесь синтетических волокон с шерстью яка и бабуна. Наверное и Шула, подобно другим женщинам, остро нуждалась во мно-

гом — в удовлетворении многочисленных инстинктов, в жаре и грузности мужчины, в ребенке, сосушем и требующем заботы, нуждалась в женской эмансипации, в пище для ума, в постоянстве, в интересной жизни — о, интересность жизни! — нуждалась в лестях, в триумфах, во власти, нуждалась в равнинах и священниках, нуждалась в пище для всех извращенных и безрассудных порывов, нуждалась в благородных поступках для души, в культуре и высших ценностях. Не могло быть и речи о каких-либо ограничениях. Попробуй примирить все эти противоречивые неотложные нужды, — и ты пропал. Думать об этом, когда она убирала его комнату, разбрызгивая морозные узоры по стеклу и стирая их левой рукой, одновременно колыхая влево бюстом (без бюстгальтера!), не было проявлением заботы о ней, и не сулило ему покоя. Когда она являлась и распахивала все окна и двери, та личная атмосфера, которую Сэмплер накапливал и бережно хранил, казалось, выветривалась немедленно. Задняя дверь его комнаты открывалась на черную лестницу, куда вырывались из всех вытяжных труб горячие запахи кремаций, чад сгоревшей бумаги, обжигаемых цыплят, тлеющих перьев. Пуэрториканские уборщицы приносили с собой транзисторы, исполняющие латиноамериканскую музыку. Казалось, этими джазами, словно космическими лучами, их снабжал какой-то неиссякаемый вселенский источник.

— Ну, папа, как дела?

— Какие дела?

— Как идет твоя работа о Г. Уэллсе?

— Как всегда.

— Ты тратишь слишком много времени на других. У тебя не хватает времени для чтения. Конечно, конечно, я понимаю, ты должен беречь зрение. Но в общем все в порядке?

— Лучше не бывает.

— Лучше бы ты не смеялся над этим.

— Что, это слишком серьезно, чтобы смеяться?

— По-моему, очень серьезно.

Хорошо. О-кей. Он прихлебывал свой утренний кофе. Сегодня, после обеда, он должен был читать лекцию в Колумбийском университете. Один из его молодых друзей из университета просто вынудил его. Кроме того, надо было позвонить, справиться о племяннике, д-ре Гранере. Ибо тот был в больнице, как сказали Сэммлеру. Какая-то небольшая операция, какая-то штука на шее. Этот семинар сегодня совершенно ни к чему. Не надо было соглашаться. Может, позвонить, извиниться и отказаться? Нет, наверно, нельзя.

Раньше Шула нанимала студентов, чтобы они читали ему вслух. Приходилось беречь глаза. Она было пыталась читать ему сама, но он засыпал от ее голоса. Полчаса ее чтения, и вся кровь оттекала от его мозга. Она жаловалась Анджеле, что отец не хочет приобщать ее к своей высоко-духовной деятельности. Словно он защищается именно от того лучшего друга, который больше всех в него верит! Вот какой печальный парадокс! Но в конце концов последние пять лет она находила для него студентов-чтецов. Некоторые из них уже закончили курс и работали в конторах и фирмах, но все же иногда приходили его навестить. "Будто он их гуру", — говорила Шула-Слава. Большинство чтецов последнего времени были активистами. Сэммлер очень интересовался радикальными движениями. Все они были весьма плохо образованы, если судить по их чтению. Их присутствие порой вызывало (или усугубляло) ту особую застывшую улыбку, которая более чем что-либо другое характеризовала его слепоту. Волосатые, грязные, без стиля, без принципов, невежды. После нескольких часов их чтения он обнаруживал, что нужно обучить их предмету, вводить в терминологию, объяснять этимологию, словно двенадцатилетним детям. "*Janua* — дверь, *janitor* (привратник) — тот, кто обслуживает дверь". "*Lapis* — камень. Обветшалый можно сказать только о доме, но не о человеке". Но о них самих, об этих юнцах, можно было сказать многое, чего не следовало говорить о людях, от некоторых девиц плохо пахло. Им особенно противопоказан был их

богемный протест. Это ведь элементарно, думал Сэмлер, что среди задач и хлопот цивилизации некоторые представители природы требуют больше внимания, чем другие. Женские особи несомненно более подвержены загрязнению, источают больше запахов, больше нуждаются в мытье, стрижке, уходе, в удалении лишнего, в приукрашивании, в ароматизации, в тренировке. Пусть эти бедные девочки воняют коллективно в знак протеста против общепринятой традиции, приводящей к неврозам и фальши, но Сэмлеру было ясно, что непредвиденным результатом их манеры жить была полная потеря женственности и самоуважения. В своем отказе от авторитетов они теряли уважение к личности. В частности, и к собственной личности тоже. .

Как бы то ни было, он больше не хотел иметь дело с этими чтецами в больших грязных ботинках; с прыщами, пузырящимися на щеках над пышными бородами; с их беспомощным шенячьим пафосом периода первой красной эрекции. Они тяжело трудились в его комнате над непонятными словами и мыслями, которые он вынужден был им разъяснять; они с усилием продирались сквозь Тойнби, Фрейда, Буркхардта и Шпенглера. Потому что он читал труды по истории цивилизации — Карла Маркса, Макса Вебера, Франца Оппенгеймера, Макса Шиллера. Он пробежал Адорно, Маркузе, Норма О. Брауна и решил, что эти ребята не стоят внимания. Кроме того он изучал "Доктора Фаустуса", "Альтенбургские орешники", эссе Ортеги и Валери по истории и политике. Но после четырех-пяти лет такой диеты ему хотелось читать только некоторых религиозных писателей тринадцатого века — Сусо, Таулера, Мейстера Эркхардта... Теперь, в семьдесят лет, его мало кто интересовал, кроме Эркхардта и Библии. А для этого чтецы были не нужны. Латынь Эркхардта он читал на микрофильме в Публичной библиотеке. Он читал Проповеди и Беседы об обучении — по несколько предложений, по абзацу на старо-немецком — близко держа их перед зрячим глазом. Пока Марго гоняла по комнатам пылесос. И, конечно, собирала большую часть му-

сора подолом своей юбки. Распевая во весь голос. Она обожала песни Шуберта. Он бы не смог объяснить, почему она сопровождала их жужжанием пылесоса. Как, впрочем, не мог объяснить ее любви ко многим другим комбинациям: например, многослойным сэндвичам из осетрины, швейцарского сыра, языка, горчицы и майонеза — такие штуки можно видеть в витринах магазина деликатесов. Но похоже было, что люди покупали этот кошмар. Как ни говори, человечество, заблудшее и загнанное в угол, накопило столько странностей, что невозможно было за ним угнаться.

Взять хотя бы странность, из-за которой сегодня он оказался связанным по рукам: один из его бывших чтецов, Лайонел Фефер, попросил его выступить на семинаре в Колумбийском университете с рассказом о Британии тридцатых годов. Но некоторым причинам, это было интересно Сэмmlеру. Он питал слабость к Феферу. Изобретательный деляга, скорее пенкосниматель, чем студент. Все в нем нравилось Сэмmlеру — яркий румянец, коричневый бобровый мех бороды, длинные черные глаза, большой живот, гладкие волосы, крупные розовые неуклюжие ладони, громкий голос, перекрывающий другие голоса и торопливая энергия. Не надежен, нет. Просто обаятелен. И Сэмmlер время от времени любовался обаянием Фефера, его манерами, напором бушующей в нем жизненной силы.

Сэмmlер не имел ни малейшего представления, что это за семинар. Возможно, он был не слишком внимателен и не все понял, а может, там нечего было понимать, но выходило так, что он уже дал обещание, хоть твердо не помнил, при каких обстоятельствах он его давал. Фефер сбил его с толку. У него было столько проектов, столько пересекающихся замыслов, столько доверительных намеков и требований хранить все в тайне, столько скандалов, недоброжелателей и духовных нитей, — непрерывное подводное течение взад и вперед, по кругу, вниз и вверх; как "Улисс" Дж. Джойса: откроешь книгу наугад и тут же окажешься в центре событий.

Но, очевидно, выходило так, что Сэммлер действительно согласился прочесть эту лекцию в поддержку студенческого проекта о помощи черным соученикам в их трудностях.

”Вы должны прийти и поговорить с этими ребятами, это очень важно... Им никогда не приходилось встречать точку зрения вроде вашей”, — сказал Фефер. Розовая рубашка оксфордского фасона подчеркивала яркость его лица. Борода и крупный прямой чувственный нос делали его похожим на Франциска I. Суматошный, привязчивый, настойчивый, порывистый, предприимчивый человек. Он играл на бирже. Был вице-президентом Гватемальской страховой компании, связанной с железными дорогами. В университете он изучал историю дипломатии. Был членом общества корреспондентов, носившего название Клуб министров иностранных дел. Там выбирали какой-нибудь вопрос, типа Крымской войны или восстания боксеров, и разыгрывали его наново, отправляя друг другу письма от имени министров Англии, Франции, Германии, России. Результаты получались самые разнообразные. Кроме всего, Фефер был удачливым соблазнителем, специализируясь в основном на молодых женах. И находил еще время организовывать помощь дефективным детям. Он собирал для них бесплатные игрушки и доставал автографы хоккейных звезд, он даже находил время навещать их в больницах. Он ”находил время”. По мнению Сэммлера, это был очень многозначительный для Америки факт. Фефер вел насыщенную до предела американскую жизнь на грани разрушения и нервного истощения. И притом рьяно. И, конечно, лечился у психиатра. Они все лечились. Так что всегда могли заявить, что больны. Все было предусмотрено.

— О британской жизни в тридцатых. Вы просто обязаны. На моем семинаре.

— Кому нужно это старье?

— Нам. Именно это нам нужно.

— Кого интересует Блумсбери? Что в нем? Зачем? Для кого?

Фефер заехал за Сэммлером на такси. Они поехали в университет с шиком. Фефер намеренно подчеркивал этот шик. Он заявил, что шофер будет ждать, пока Сэммлер закончит лекцию. Но шофер, негр, отказался ждать. Фефер повысил голос. Он сказал, что это вполне законное требование. Сэммлер с трудом уговорил его отступить, когда он готов уже был вызывать полицию.

— Совершенно ни к чему, чтобы такси ожидало меня, — сказал Сэммлер.

— Убирайся прочь, раз так, — сказал Фефер таксисту, — и никаких чаевых.

— Не надо его обижать, — сказал Сэммлер.

— Я не желаю делать ему никаких послаблений за то, что он черный, — заявил Лайонел. — Кстати, Марго рассказывала, будто вы наскочили на черного карманника в автобусе.

— Куда мы идем, Лайонел? Теперь, когда я должен выступать, я как-то неуверен. Мне не совсем ясно, что, собственно, я должен говорить. Тема такая обширная.

— Вы знаете ее лучше, чем любой другой.

— Конечно, я знаю. Но все же... я в растерянности.

— Все будет прекрасно.

Тут они вошли в большую комнату. Он ожидал, что это будет маленькая семинарская комнатка. Он пришел сюда, чтобы порассуждать с кучкой любознательных студентов о Р. Х. Тоуни, о Гарольде Ласки, о Джоне Стретчи, о Джордже Орвелле, о Герберте Уэллсе. Но это был явно какой-то массовый митинг. Своим затрудненным взором он охватил все это бурлящее, взлохмаченное, многоликое человеческое сборище. Какое-то зловонное, протухшее, неряшливое. Амфитеатр был полон. Все стояли, стульев не было. Может, Фефер затевал очередной бизнес? Собирал, к примеру, деньги за вход? Сэммлер отмахнулся от подозрения, приписав его собственной взвинченности и нервозности. Ибо он был удивлен и напуган. Но он взял себя в руки. Он попытался начать шутливо, рассказом о лекторе, который обратился к группе неизлечимых алкоголиков, приняв их за членов клуба Браунинга. Никто

не засмеялся, и ему пришло в голову, что клуба Браунинга давно нет в природе. Микрофон болтался у него на груди. Он принялся описывать интеллектуальную атмосферу Англии перед началом Второй мировой войны. Вторжение Муссолини в Восточную Африку. Испания 1936. Грандиозная Чистка в России. Сталинизм во Франции и в Англии. Блюм, Деладье, Народный фронт, Освальд Мосли. Настроения английской интеллигенции. Для этого ему не нужны были записки, он легко мог припомнить, что тогда говорили и писали.

— Я предполагаю, — говорил он, — что вам известна предыстория, события 1917 года. Вы знаете о союзных армиях, о февральской революции в России, о невзгодах поверженной власти. По всей Европе старые вожди были дискредитированы Верденом, Фландрской битвой и Танненбергом. Может, я начну с падения Керенского. Может, с Брестского мира.

Он вытащил носовой платок из нагрудного кармана и, нервно скомкав его, начал вытирать свои тонкие старческие ладони, затем провел им по лицу, по морщинкам, струящимся вниз из-под дымчатых очков, весь подчеркнуто-иностранный, этакий польский вариант оксфордского стиля. Нисколько не наслаждаясь этим спектаклем, нисколько не подобранный вниманием аудитории (было довольно шумно), он все же испытывал некоторое удовлетворение, некий отблеск той скромной гордости, которую внушал ему и жене их лондонский успех. Успех польского еврея, столь принятого в высших сферах, близкого приятеля самого Герберта Уэллса. Например, вместе с Джеральдом Хардом и Олафом Стэплдоном он был вовлечен в проект "Космополиса" — всемирного государства, и писал об этом статьи в "Новости Прогресса" и в сборник "Гражданин мира". Он излагал это сейчас низким впечатляющим голосом, впечатляющим, хоть в нем и звучали упорно польские носовые и свистящие согласные, он рассказывал, что проект основывался на пропаганде достижений биологии, истории и социологии и на эффективном внедрении завоеваний науки в деле продле-

ния человеческой жизни; целью его было создание планового, высоко-организованного, прекрасного всемирного общества, покончившего с национальным суверенитетом, объявившего войну вне закона, взявшего в свои руки деньги, кредиты, производство, распределение, транспорт, деторождение, производство оружия и т.д.; осуществляющего всеобщий контроль; обеспечивающего всеобщее бесплатное образование, личную свободу (соревнующуюся с коммунистическим благополучием), без каких бы то ни было ограничений; общество на службе у человека, построенное на разумном научном отношении к жизни. Сэммлер, припоминая все это со все возрастающей увлеченностью, около получаса витийствовал о "Космополисе", понимая при этом, какой это был прекраснодушный, искренний, идиотский замысел. Он говорил и говорил, обращаясь к жужжащей зияющей яме амфитеатра под грязным куполом в свете зарешеченных электрических ламп, пока его не прервал громкий настойчивый голос. Он задавал вопрос. Верней, он выкрикивал воспросительно.

— Эй!

Он попытался продолжать. "Эти попытки отвлечь интеллигенцию от марксизма не имели большого успеха..."

Молодой парень в джинсах, с густой бородой, хоть очевидно очень юный, выкрикивал, обращаясь к нему, и всем своим видом выражая направленную враждебность:

— Эй, ты! Старик!

В тишине Сэммлер сдернул с носа дымчатые очки, чтобы разглядеть этого типа зрячим глазом.

— Слушай, старик! Ты тут цитировал Орвелла!

— Ну?

— Ты цитировал его слова, что английские радикалы находились под защитой Королевского флота? Что, Орвелл говорил, будто английские радикалы находились под защитой Королевского флота?

— Боюсь, он действительно так говорил.

— Так это все дерьмо собачье.

У Сэммлера отнялся язык.

— Орвелл был штрейкбрехер. Он был просто чокнутый контрреволюционер. Хорошо, что он вовремя умер. А все, что ты рассказываешь, — дерьмо! — Повернувшись к слушателям, он простер к ним воинственно руки и, воздев ладони, как греческий танцор, добавил:

— Зачем вы слушаете этого выжившего из ума старого зас...анца? Что он может вам сказать? У него уже яйца высохли. Он — мертвец, у него уже не стоит.

Сэммлер припоминал потом, что какие-то голоса вступились за него. Кажется, кто-то сказал: "Позор. Это же эксгибиционист".

Но никто не стал защищать его по-настоящему. Похоже было, что большинство было против него. Крики становились все враждебнее. Фефера не было в зале, его вызвали к телефону. Сэммлер сошел с кафедры, отыскал зонтик, плащ и шляпу и пустился в бегство, сопровождаемый девицей, которая семенила рядом с ним, чтобы выразить свое возмущение и сочувствие, утверждая, что это позор, прерывать такую замечательную лекцию. Она вывела его за дверь, он спустился по ступеням и оказался на пересечении Бродвея со Сто шестнадцатой улицей.

Вдруг совсем не в Университете.

Опять в городе.

Он, собственно, не был смертельно обижен, он больше был уязвлен стремлением обидеть. Какое желание быть естественным! Но естественным ведь означает и грубым. А это принятие экскрементов за норму? Потрясающе! Молодость? Плюс идея сексуальной потенции? Вся эта смесь сексуально-воинствующих экскрементов, скандальности, нахальства, оскаленных зубов! Крикливые человекообразные обезьяны! Или еще лучше — паукообразные обезьяны. Сэммлер где-то читал, что они, собрав в горсти собственные испражнения, с воплями швыряют их в наблюдателей, стоящих внизу, под деревьями.

Он всегда был рад встретиться лицом к лицу с ре-

альностью, какой бы неприглядной и огорчительной ни оказалась эта реальность. Но в результате м-р Сэмлер еще ясней сознавал себя исключением из числа себе подобных, как-то по особому отделенным от них — отделенным не столько из-за возраста, сколько из-за поглощенности вещами слишком отличными от реальности, слишком далекими от земного, слишком перенасыщенными духовностью, тяготеющими к Платону, Августину, к XIII веку. Словно уличное движение протекало сквозь него, не касаясь; и ветер протекал сквозь него; и даже солнце, достаточно яркое для Манхэттена, сияя, протекало сквозь прорехи в его организме, сквозь его пустоты. Словно он был отлит Генри Муром. Весь в прорехах и зияниях. Как и в случае с карманным вором, происшедшее обострило его зрение, открыло новую сторону действительности. Вот разносчик с крестом из цветов в обеих руках, втянув голову в плечи, словно пьяный борется с ветром, пытаясь свернуть за угол. Над маленькими нечищенными башмаками короткие широкие брюки пузыряются на ветру, как женская юбка. Гардении, камелии, лилии плывут над его головой, закутанные в тонкий прозрачный пластик. А вот на автобусной остановке студент ждет автобуса; напрягая зрячий глаз, Сэмлер разглядел его расклешенные ядовито-зеленые вельветовые брюки, его шерстяное пальто морковного цвета, на котором искрились узелки голубой нитки; его бачки, двумя мощными мохнатыми колоннами вздымающиеся к черепному своду; перечеркивающие их элегантные оглобли черепаховых очков; его редкие на лбу волосы; еврейский нос; мясистый, всеядный, брезгливый рот. Да, когда м-р Сэмлер бывал чем-то возбужден, улица становилась для него средством эстетического отвлечения. Он был исследователь, книжник, и лучшие писатели научили его развлекаться наблюдениями. Стоило ему выйти на улицу, и жизнь становилась наполненной. Вокруг него целеустремленные, напористые, деловито-горопливые, решительные существа были заняты обычной человеческой суетой.

Большинство пребывало как бы в состоянии некоего оцепенения, лунатического транса, замороженное и одержимое преследованием ничтожных, лихорадочно снедающих душу целей, тогда как индивидуумы, вроде Сэмлера, уже шагнули на следующую ступеньку, стряхнув с себя наваждение цели ради эстетического потребления окружающей действительности. Даже когда их оскорбляли, причиняли боль, ранили до крови, они не выражали гнева, не причитали, не сетовали, рассматривая душевные муки как утонченную, до пронзительности, разновидность созерцательного опыта. Пыль, которую резкий ветер гнал вниз по улице, царапала лицо как наждак. Солнце сверкало так, словно верило в бессмертие. Так продолжалась целую минуту, пока автобус, сотрясая воздух, подходил к остановке. В следующую минуту м-р Сэмлер вступил на подножку и стал, как добропорядочный пассажир, проталкиваться в хвост, надеясь, что его не пронесет мимо задней двери, — ему нужно было проехать всего 15 блоков, а в автобус вваливалась густая толпа. Знакомая вонь засиженных сидений, пропотевшей обуви, табачной крошки, сигар, одеколona, пудры. А ведь снизу, с реки, уже тянуло ранней весной, запахами первых весенних нарядов; еще несколько таких же солнечных и теплых недель, и на Манхэттене, вслед за остальной частью Штатов, тоже наступят (недолгие) дни старомодной зелени, пышное бархатисто-глянце-вое, ослепительно-сияющее время года, — пора белоснежного цветения кизила и розового кипения диких яблонь. Ступни начнут разбухать от жары, и прохожие станут присаживаться на полированных каменных плитах Рокфеллер-Центра, разбросанных среди высаженных в клумбы тюльпанов, среди тритонов и фонтанчиков, начнут ощущать в себе брожение новой жизни. Человеческие существа в теплой тени небоскребов, внимающие своей сладостно налитой плоти, в истоме плодоношения. М-р Сэмлер тоже будет наслаждаться весной — одной из немногих, ему оставшихся. Конечно, он был подавлен. И очень. Разумеется,

при сложившихся обстоятельствах его рассуждения о Брестском мире, его заплесневелые откровения о революционерах-интеллектуалах, противостоявших германским солдафонам, выглядели донельзя нелепо. Но и эти студенты смешны. Что тут было самым отвратительным (не считая грубости)? Можно было бы более достойным образом осадить старого зануду. Если уж ему приспичило выступать перед публикой, шел бы себе читать лекции в "Космополис", старый зануда. Следовало признать, в их же интересах, что самым отвратительным было отсутствие достоинства. Этим юнцам было абсолютно неизвестно аристократическое ощущение принадлежности к касте интеллектуалов, судей социального порядка. Старый Сэммлер готов был их пожалеть. Человеческое существо, правильно оценивающее свою значимость, олицетворяет и охраняет власть и порядок. Тогда система упорядочивается изнутри. Она должна быть упорядочена. Но каково остановиться на уровне клозетных отправлений? Каково попасть в ловушку психиатрических толкований? (Винить за это, по мнению м-ра Сэммлера, следовало немцев с их психоанализом). Кто первый поднял туалетную бумагу как знамя? Кто создал культ экскрементов? Что это за литературно-психологическое движение? Стоя в переполненном автобусе, держась за поручень, совершая свой недолгий путь в нижнюю часть города, м-р Сэммлер пребывал в чрезвычайно раздраженном состоянии духа.

О негре, он, разумеется, позабыл. В его сознании вор ассоциировался с кольцом Колумбус. Он всегда попадался ему в автобусах, шедших не вниз, а вверх. Но тем не менее вор был здесь, в хвосте, заполняя весь угол своим массивным телом в пальто из верблюжьей шерсти. Вопреки внутреннему сопротивлению, м-р Сэммлер тотчас его узнал. Он сопротивлялся узнаванию, ибо в этот момент душевного смятения ему меньше всего хотелось его увидеть. Господи! Только не сейчас! Сэммлер мгновенно ощутил внутри знакомую слабость; сердце его оборвалось и покати-

лось вниз. С неотвратимостью судьбы, закона природы, падающего камня, расширяющегося глаза. Он понимал, что вор выбрался не на прогулку. На прогулку, на свидание с женщиной — чем еще он развлекался между дел? — он, несомненно, ездил в такси. Ему это было по карману. Но сейчас, возвышаясь над всеми в автобусе (кроме самого вора), м-р Сэмплер, опустив глаза, видел прямо перед собой его плечи. Ему было видно, что негр зажал в угол какого-то человека на длинной задней скамье. Мощная спина заслоняла жертву от посторонних взглядов. Один лишь Сэмплер, благодаря своему росту, мог видеть происходящее. Впрочем, благодарить рост или остроту зрения было не за что. Втиснутый в угол человек был стар и тщедушен; близорукие глазки слезились от страха; седые ресницы, покрасневшие веки и голубоватые комочки слизи в уголках глаз; беззвучно распахнутый рот с отклеившейся от присосков верхней вставной челюстью. Пальто и пиджак тоже распахнуты, выдернутая из-за пояса рубаша топорщится на груди пузырем, как отклеившиеся от стены зеленые обои; подкладка пиджака распорота. Вор деловито копался в его одежде, точно хирург во внутренностях пациента. Отодвинув в сторону шарф и галстук, он извлек из одежды старика синтетический, под кожу, бумажник. Шляпа ему мешала, он сдвинул ее слегка на затылок (не более, чем инстинктивное движение), приоткрыв лоб наморщенный от сосредоточенности — не от страха. В бумажнике оказалось несколько долларов. В одном из отделений торчали банковские карточки. Вор извлек их, положил на ладонь. Прочел, вскинув голову. Небрежно отбросил. Внимательно исследовал зеленоватый, официального вида листок — похоже, пенсионный чек. М-ру Сэмплеру не удавалось как следует сфокусировать взгляд за темными очками. Видимо, слишком много адреналина с облегченной, беспрепятственной, пугающей быстротой прокачивалось через сердце. Он не ощущал страха, но перебои сердца подтверждали его присутствие. Эти перебои были ему

знакомы — иными словами, он знал, как они называются: тахикардия. Ему было трудно дышать. Недоставало воздуха. Ему показалось, что он вот-вот потеряет сознание. Ничего хуже нельзя было придумать. Негр сунул чек в карман. Любительские фотоснимки высыпались из растопыренных пальцев вслед за банковскими карточками. Покончив с бумажником, он сунул его за серую, поношенную, растерзанную подкладку и поправил на старике шарф. Двумя пальцами, иронически-невозмутимо, взял узел галстука и вернул его в прежнее — но лишь приблизительно прежнее — положение. Именно в эту минуту, быстро оглянувшись назад, он перехватил взгляд м-ра Сэммлера. М-р Сэммлер, все еще занятый судорожными попытками укротить собственное сердце, был застигнут врасплох. Сердце напоминало ускользнувшего из капкана зверька, удирающего от погони. Горло болело до самого корня языка. В незрячем глазу сверлила боль. Тем не менее он еще сохранил некоторое благоразумие. Ухватившись за полированный поручень, он наклонился к окну, будто хотел разглядеть название улицы. Девяносто шестая. Иными словами, он попытался избежать какой-нибудь неосторожной встречи глаз, еще одного взгляда, который можно было случайно перехватить. Ему это удалось. Сохраняя свое преимущество, он стал проталкиваться к выходу — вежливо, настойчиво, слегка наклоняясь вперед. Пробравшись к двери, он нащупал шнурок, дернул его, протиснулся на ступеньку, выскользнул через приоткрывшуюся дверь и оказался на тротуаре, держа зонтик за ткань, возле кнопки.

Теперь, когда натиск тахикардии иссякал, он снова был в состоянии двигаться, хотя и медленней обычного. Его план состоял в том, чтобы пересечь Риверсайд Драйв и войти в первый же дом, сделав вид, будто он там живет. Своим неожиданным выходом он перехитрил вора. Теперь, быть может, этот наглый тип забудет о нем, не сочтет достойным преследования. По всей видимости, он никого не боялся. Дряблость и

трусость окружающего мира были для него чем-то само собой разумеющимся. М-р Сэмплер с трудом открыл большую стеклянную дверь, окованную черной решеткой, и оказался в пустом вестибюле. Избегая лифта, он разыскал лестничный ход, взволнок свое тело на первый этаж и опустился на площадку. Несколько минут блаженного отдыха и дыхание вновь вернулось, хотя внутри все еще ощущалась какая-то затихающая дрожь. Опустошенность. Прежде чем снова выйти на улицу (в доме не было черного хода), он сунул зонтик под пальто, рукояткой подмышку, кое-как прикрепил его поясом и попытался изменить форму шляпы, растопырив ее во все стороны. Спустившись по Вест-Энд до Бродвея, он вошел в первую же закусочную, занял место в дальнем углу и заказал чай. Залпом опорожнив тяжелую чашку до самого дна, до терпкого вкуса танина, он выдавил размокший пакетик с заваркой и попросил еще горячей воды. Его мучила жажда. Он смотрел в окно. Карманник не появлялся. Больше всего ему бы хотелось сейчас оказаться в своей постели. Сейчас полагалось "залечь", он не был новичком в этой игре. Он всему выучился в Польше, во время войны, в лесах, в подвалах, в коридорах, на кладбищах. Школа, которую он прошел, не позволяла ему рассчитывать ни на какую естественную передышку, ни на минуту отдыха. Естественную, если считать естественным, что тебя не застрелят, едва ты ступишь на улицу, не забьют насмерть, едва присядешь передохнуть, не затравят, как крысу, едва окажешься в глухом переулке. Пережив один раз исчезновение этого островка гражданской безопасности, м-р Сэмплер уже не мог бы до конца поверить в его восстановление. В Нью-Йорке ему редко представлялась возможность практиковаться в искусстве запутывать следы. Сейчас он терпеливо сидел в углу над своей чашкой, хотя его кости тосковали по постели, а затылок маялся без подушки. Автобусами больше пользоваться нельзя. Оставалась только подземка. Подземку он ненавидел.

И все-таки ему не удалось запутать следы. Этот тип

умел, очевидно, принимать быстрые решения. Вероятно, он растолкал людей, стоявших у двери, выскочил не дожидаясь остановки, и бросился за Сэммлером, легко неся свое массивное тело в шляпе и пальто из верблюжьей шерсти. А скорее всего, он уже раньше заметил Сэммлера и когда-нибудь, пристроившись у него за спиной, проследил до самого дома. Да, скорее всего, так оно и было. Ибо едва лишь м-р Сэммлер вошел в свой вестибюль, как негр тотчас бесшумно возник за его спиной. Даже не просто возник, а вполне ощутимо навалился на него всем телом, давя животом. Он толкал, даже не вынимая рук из карманов. В доме не было привратника. Швейцары, которые одновременно обслуживали лифт, большую часть времени проводили внизу.

— В чем дело? Что вам угодно? — воскликнул м-р Сэммлер.

Ему так и не пришлось услышать его голоса. Негр был не разговорчивее пумы. Все так же молча он втиснул Сэммлера в угол, за длинный, потемневший от старости резной стол — предмет в стиле ренессанса, дополнявший унылость вестибюля с его покоробившимися обоями на обветшалых стенах, с светившими вполнакала лампочками в позеленевшей люстре. В углу негр прижал м-ра Сэммлера рукой к стене. Зонтик, резко звякнув металлическим ободком, упал на пол. Негр даже не взглянул на него. Свободной рукой он растегивал пальто. Затем Сэммлер услышал звук распускаемой молнии. Темные очки были сняты с переносицы м-ра Сэммлера и брошены на стол. М-ру Сэммлеру было безмолвно приказано глянуть вниз. Негр растегнул ширинку и извлек из нее член. Этот орган и был предъявлен взору м-ра Сэммлера, вкупе с большими овальными яичками: длинный, необрезанный, коричневато-пурпурного цвета предмет — змея! Шланг! У толстого основания щетинились отливающие металлическим блеском волоски; конец члена свисал с подставленной для демонстрации ладони, вызывая ассоциации с чем-то мясисто-подвижным, вроде слоновьего

хобота. Однако кожа на нем казалась, скорее, переливчато-радужной, а не морщинисто-задубевшей. Негр требовал, чтобы м-р Сэммлер, скосив глаза через придерживавшую его руку, обозревал предъявленный предмет. Принуждение было излишним. Сэммлер сделал бы это в любом случае.

Последовала продолжительная пауза. Лицо негра не выражало никакой угрозы, оно было загадочно, безмятежно властным. Предмет демонстрировался с некой мистической уверенностью. Ритуально. Затем он был возвращен обратно в штаны. *Quod erat demonstrandum*. Сэммлер облегченно вздохнул. Ширинка была задернута, пальто застегнуто. Восхитительно струящийся оранжево-розовый галстук мощной рукой разглажен на мощной груди. Темные глаза смотрели мягко, с выражением какого-то бесхитростного превосходства, как бы вдалбливая этот урок, это поучение, это предостережение, эту встречу, эту весть. Подцепив пальцами темные очки, он снова водрузил их на переносицу м-ра Сэммлера. Затем достал и тоже водрузил на переносицу свои — идеально круглые, цвета блеклой фиалки, охваченные прелестной золотой оправой от Диора.

И удалился. Глухое лязганье лифта, поднявшегося снизу, слилось с ударом захлопнувшейся входной двери. Нахлобучив упавшую шляпу, сутулясь и прихрамывая, м-р Сэммлер вошел в кабину. Сегодня лифтер не удостоил его обычной светской беседы. Сэммлер был благодарен судьбе за эту унылую необщительность. Что еще лучше — он не наткнулся на Марго. И наконец, самое прекрасное: он свалился, как есть, в постель, вытянулся во всю длину, ощущая, как горят ступни, тонко свистит в груди, покалывает в сердце, как ошеломлен рассудок и — увы! — временно отключено сознание. Как жужжащий телевизионный экран в вестибюле с бегущими по нему сероватыми полосами. Между головой и подушкой лежал твердый прямоугольник — маленькая книжка в картонном, цвета морской волны, переплете. Обрывок липкой ленты придерживал записку. М-р Сэммлер извлек ее на свет,

придвинул к зрячему глазу и, горестно, безмолвно шевеля губами, заставил себя прочитать разбегавшиеся буквы. Записка была от Шулы-Славы.

”Папа, это — лекции д-ра В.Говинды Лала о Луне, я взяла на самое короткое время. Они имеют прямое отношение к твоим мемуарам. (Разумеется, опять Уэлс, он что-то там писал о Луне в 900-е годы.) Это последняя новинка. Ошеломительно. Папа, ты обязательно должен прочесть. Плевать на глаза. Только побыстрее, пожалуйста! Пока д-р Лал гостит в Колумбийском. Они ему нужны”.

Забыв о терпении и снисходительности, он скорчил чудовищную гримасу, в которой выразилось переполнявшее его отвращение к узколобой, назойливой, маниакальной, бредово-нелепой настырности собственной дочери. Он сделал глубочайший, изнуряющий легкие, втягивающий тело долгий вдох.

Потом, склонившись над записной книжкой, прочел выведенное золотисто-ржавыми чернилами заглавие: ”Будущее Луны”. ”Доколе, — так начиналась первая фраза, — доколе этой планете суждено оставаться единственным прибежищем человечества?”

Доколе? В самом деле, господи? Не пора ли — не самое ли время уйти? Куда угодно. Время собирать камни и время их бросать. Если считать землю не камнем, брошенным кем-то в небеса, а предметом, с которого надлежит сбросить себя — избавиться от нее совсем. Рвануть эту большую бело-зелено-голубую планету, или рвануться с нее самому.

2

Средний радиус Луны — 1737 км, Земли — 6371. Ускорение силы тяжести: на Луне — 161 см/сек^2 ; на Земле — 981 см/сек^2 . Расселины и трещины лунных

скал и гор вызваны грандиозными температурными перепадами. Разумеется, никакого ветра. Пять миллиардов безветренных лет. Впрочем, есть солнечный ветер. Камни крошатся, однако нормальная эрозия отсутствует. Обломки падают медленно и долго, потому что сила тяготения меньше и угол падения острее. Кроме того, в вакууме скорость падения камня, пылинки и человеческого тела одинакова, поэтому, принимая восхождение, необходимо всесторонне оценить вероятность обвала. Быстрое развитие средств информации. Масс-спектрометры. Солнечные батареи. Электроэнергия может быть обеспечена с помощью радиоактивных изотопов (стронций — 90, полоний — 210), термоэлектрических преобразователей. Д-р Лал подробно рассматривал проблемы телеметрии и передачи данных. Было ли что-нибудь упущено? Все необходимое можно вывести на орбиту и при надобности прилунить с помощью тормозных установок. Потребуются сверхточные компьютеры. Если нужно отправить тонну динамита в пункт X, было бы нежелательным обнаружить ее километров на 800 в сторону. А если это кислород, столь необходимый для жизни? Нужно еще учесть, что вследствие большей кривизны поверхности горизонт на Луне располагается ближе, а современная аппаратура неспособна передавать сигналы за линию горизонта. Точность должна быть выше земной. С целью поощрения изобретательности и стимулирования мысли, колонистам предлагалось для их же блага заняться изготовлением пива. Для пива нужен кислород, для кислорода нужны растения, для растений нужны теплицы. Отдельная короткая глава была посвящена селекции лунной флоры. В гостинной Марго уже сейчас можно было увидеть весьма непривередливых представителей растительного царства. Открываешь двери, и вот они: анемичные ростки картофеля, авокадо, каучуконосов. Д-р Лал склонялся в пользу хмеля и сахарной свеклы.

Сэмлер размышлял: нет, этим путем не вырваться из оков пространства и времени. Любое расстояние

все еще конечно. Конечное — вуаль, отделяющая ощущение от ощущаемого; перчатка на руке, исследующей обнаженную плоть внутренней реальности. Была, однако, известная привлекательность в этом предложении покинуть Землю, построить пластмассовые кущи в космическом вакууме, поселиться в мирных, поневоле отшельнических колониях, пить ископаемую воду, размышлять только над фундаментальными вопросами бытия. Спорить не приходилось. На сей раз Шула-Слава принесла ему нечто, действительно заслуживающее внимания. В своих мусорных ящиках на Четвертой авеню она выкапывала какие-то невероятно идиотские названия, дешевые книжонки в выцветших переплетах с дождевыми подтеками — всевозможные англичане двадцатых-тридцатых годов, времен Блумсбери, Даунинг-Стрит, Клер Шеридан. Книжные полки м-ра Сэмплера трещали под тяжестью чудовищного хлама, выторгованного по восемь штук за доллар и с торжеством доставленного в набитой до отказа хозяйственной сумке. Те книги, которые покупал он сам, тоже были, в основном, лишними. Тратишь уйму сил на серьезные книги, затем лишь, чтобы обнаружить, что в них нет ничего нового. Великое множество ложных посылок, тупиков мысли, шатких постулатов, обрушивающихся под тяжестью собственных следствий. Даже самые способные — и те, по мере приближения к своему интеллектуальному потолку, начинали спотыкаться, исчерпав по дороге доказательность и достоверность. А главное, все они — пессимисты и оптимисты, положительно или отрицательно относящиеся к мирозданию, — оказывались, в конечном счете, *terra cognita* для старого Сэмплера. Поэтому д-р Лал представлял собой бесспорную ценность. Он сообщал нечто новое. Разумеется, оставалась еще возможность охотиться за истиной на внутренних дорогах, без хитроумных приспособлений, компьютеров, телеметрии, технических проверок, капиталовложений и сложной организации, необходимой для полетов на Марс, на Венеру, на Луну. Тем не ме-

нее, вполне вероятно, что вывести человечество из нынешнего тупика под силу только той самой технологии, которая его туда завела. Те же силы, которые сделали Землю тесной, могли бы теперь высвободить человечество из тюрьмы. Вышибая клин клином. Последовательно доводя до конца великую пуританскую революцию, которая провозгласила примат материальных процессов и взяла курс на овладение материальным миром, обратив и истощив на это все запасы религиозного энтузиазма. Или, как сформулировал Макс Вебер в своем уничтожающем резюме, столь близком сэммлеровскому сердцу: "Специалисты без души, сенсуалисты без сердца, ничтожества, всерьез полагающие, будто именно они достигли уровня цивилизации, никем прежде не достигнутого". Возможно, у человечества и нет иного выбора, кроме как продолжать двигаться в прежнем направлении, в надежде, что оставленные в тылу духовные силы, которыми оно некогда пренебрегло, снова расправят крылья и вернут себе власть. Например, благодаря растущему единомыслию лучших умов планеты, как в "Открытом заговоре" Г. Дж. Уэллса. Быть может, старик (так рассуждал его современник Сэмплер) был, в конце концов, прав?

И все же он отложил в сторону переплетенную в морскую синеву записную книжку с золотистой ржавчиной ее фраз, начертанных сухим, эдвардиански-педантичным, индуизированным почерком д-ра В. Говинды Лала, чтобы снова — в сущности, уступая своей ментальности, — вернуться мысленно к негру и к тому предмету, который тот продемонстрировал. К чему это было? Результатом был шок. Шок стимулировал сознание. Пока что вполне правдоподобно. Но какова была цель этого предъявления гениталиев? Что, собственно, это доказывает? *Qu'est-ce que cela prouve?* Кажется, это сказал какой-то французский математик, посмотрев трагедию Расина? Так помнилось м-ру Сэмплеру. Не то чтобы он увлекался этой старомодной европейской игрой цитатами. Он прошел через это. Просто

так получалось, что чужие фразы без спросу всплывали в его памяти. Итак, имел место мужской член — внушительных размеров кусок сексуальной плоти, почти разбухший от горделивости и предьявленный с сознанием неоспоримой правоты, выдающийся и обособленный объект, стремящийся внушить почтение. На которое, учитывая сексуальный характер современной идеологии, он вполне мог претендовать. Он являл собой символ сверхлегитимности и суверенности. Он не требовал ответа. Он сам был ответом. На все зачем, все почему. Видишь эту штуку? Гляди, какой превосходный, исчерпывающий и заставляющий все умолкнуть довод! Эта штука, братец, болтается у нас как раз для того, чтобы не нуждаться в других доводах. Кстати, у муравьеда тоже есть такой чувствительный отросток, он только не служит ему символом власти, даже над муравьями. Но замени Бога — Физиологией, создай культ половой потентности — и можешь рассчитывать на великие достижения. Впрочем, может быть, на великие достижения можно рассчитывать в любом случае.

Об этом гипертрофированном внимании к потентности Сэмmlер, к сожалению, знал предостаточно. Даже без особого желания узнать. По каким-то непонятным причинам он был в эти дни нарасхват, к нему то и дело приходили, с ним то и дело советовались, ему исповедовались. Видимо, все это можно было объяснить какими-нибудь солнечными пятнами или циклами, чем-нибудь барометрическим или даже астрологическим. Так или иначе, всегда находился очередной посетитель, стучавший в дверь. В тот момент, когда он размышлял о муравьедах и о том, как давно негр его выследил, раздался очередной стук.

Кого там несет? Сэмmlер мог показаться более раздраженным, чем был. В действительности, он ощущал лишь, что у других людей больше жизненных сил, чем у него. Это порождало скрытое уныние. Впрочем, такое ощущение было отчасти иллюзорным, поскольку, учитывая могущество противостоящего жизни фак-

тора, достаточных сил не было ни у кого.

На сей раз стучал Уолтер Брук, еще один родственник — двоюродный брат Марго, кем-то доводившийся и Гранерам.

Анджела однажды пригласила Сэмлера на выставку Руо. Благоухающая, изысканно одетая, элегантно подкрашенная, она таскала Сэмлера из зала в зал, куда вдруг не показалась ему катящимся впереди, сверкающим всеми цветами радуги, позолоченным волчком, в то время как он сам был старым посохом, которого она время от времени касалась, чтобы получить случайный импульс. Оба они остановились перед автопортретом Руо, и оба подумали одно и то же: Уолтер Брук. Это был широкий, плотный, коренастый старик с багровым невыразительным лицом, выпученными глазами, довольно самоуверенный, но явно неспособный справиться с собственными страстями. Иными словами, Уолтер Брук. Таких людей, вероятно, тысячи. Но это был именно Уолтер. Это был его темный плащ, его кепка и торчащие из-под нее над ушами пучки седых волос; его коричнево-красные, пузатые, как у чайника, щеки; его толстые губы лилового оттенка... — ладно, представьте себе мир неродившихся душ; представьте себе кладовые, битком набитые душами; представьте, что каждой душе предназначено, вселившись в плоть, явиться на свет с каким-нибудь определенным доминантным признаком *ab initio*. Изначальной достопримечательностью Брука был бы, в таком случае, голос. Из кладовой душ ему достался голос. Он пел в церковных хорах, в хоровых группах. По профессии он был баритон и музыковед. Он извлекал из забвения старинные рукописные партии и приспособлял или аранжировал их для групп, исполнявших ренессансную или барочную музыку. Мое собственное маленькое дельце, говорил он. Пел он хорошо. Его певческий голос был превосходен, но разговорный звучал хрипло, сухо, сдавленно. Брук кулдыкал, крикал, хрюкал, проглатывал слова.

Заявившийся к Сэмmlеру, столь занятому своими мыслями, Брук со всеми его противопоказаниями был воспринят Сэмmlером весьма своеобразно. Вот как, приблизительно: все объекты внешнего мира представляются нам в формах, свойственных нашему восприятию пространства и времени, в формах, присущих нашему мышлению. Мы видим то, что нам дано, сиюминутное, внешнее. Вечная сущность лишь на время воплощается в этих преходящих обликах. Единственный способ преодолеть власть внешних форм, вырваться из плена спроецированных иллюзий, единственный путь прямого контакта с вечным лежит через свободу. Сэмmlер полагал, что его кантианства достаточно, чтобы следовать по этому пути. Люди типа Брука представлялись ему существами, которые изнашивают свои сердца в вечном плену внешних форм. Потому-то Брук и приходил к Сэмmlеру. Потому-то и паясничал, — а он постоянно паясничал. Шула-Слава — та рассказывала, как ее, увлеченную статьей в "Луке", сшиб конный полисмен, гнавшийся за сбежавшим оленем. Брук способен был преобразиться в слепца с Семьдесят второй улицы и затянуть, придерживая на воображаемом поводке воображаемую собаку-поводыря и встряхивая монеты в отсутствующей шляпе: "О, как заботится о нас Иисус — господи, благослови вас, сэр..." Он обожал также устраивать шутовские похороны, с латинскими молитвами и соответствующей музыкой — Монтеверди, Перголези, моцартовская месса до-минор. В давние годы, сразу после бегства из Германии, работал на складе Маки; там он и еще один немецкий еврей устраивали друг другу отпевания: один ложился в пустой упаковочный ящик, обвив запястья дешевыми бусами, второй справлял службу. Брук до сих пор наслаждался подобными развлечениями, любил изображать покойников. Сэмmlеру не раз приходилось быть зрителем на представлениях Брука. Тот представлял и другие спектакли. Например, сборища нацистов в Спорт-Паласе. Держа возле рта пустой горшок для лучшего звукового эффекта, Брук напыщенно завывал в

духе Гитлера, время от времени прерывая себя воплями "Зигхайль!" Эта забава не доставляла Сэммлеру ни малейшего удовольствия. От нее Брук всегда переходил к воспоминаниям о Бухенвальде. Начинал копать во всей этой чудовищной, гротескно-нелепой, бессвязной и бессмысленной мерзости. Вроде того, как однажды, в тридцать седьмом, всем заключенным вдруг раздали на продажу кастрюли. Сотни тысяч кастрюль, новеньких, прямо с фабрики. Зачем? Брук накупил кастрюль на все свои деньги. К чему? Заключенные пытались продавать их друг другу. В другой раз кто-то свалился в выгребную яму. Помочь запретили, и он тонул там, внизу, пока остальные заключенные, со спущенными штанами, беспомощно смотрели на него, сидя на доске, положенной вдоль ямы. Так и задохнулся в дерьме.

— Довольно, Уолтер, довольно, — сурово обрывал м-р Сэммлер.

— Да, дядя Сэммлер, я понимаю, это еще не самое худшее. Ты был там в самый разгар войны. Но ведь я-то сидел в этом сортире. У меня был понос и жуткие боли. Мои кишки! Задница, как водосточная труба!

— Хорошо, хорошо, Уолтер, не нужно так часто повторяться.

К несчастью, Брук не мог не повторяться, и Сэммлер жалел его. Он его жалел и с трудом выносил. Конечно же, у Уолтера, как и у многих других, все и всегда, опять и снова, по-прежнему и без конца сводилось к сексуальным проблемам. Его пунктиком были женские руки. Они должны были быть молоденькими, пухленькими. Желательно, смуглыми. Очень подходили руки пуэрториканок. А летом, особенно летом, когда все в легких платьях, когда женские руки выставлены напоказ! Он глазел на них в метро. Он следовал за ними в испанские кварталы Гарлема. Он прижимал свою восставшую плоть к металлическому поручню вагона. В глубинах Гарлема, где он оставался единственным белым пассажиром. Все сразу — возбуждение, стыд, страх. Рассказывая об этом, он начинал нерв-

но теревить шерсть, которая мохнатым воротником курчавилась у основания его толстой шеи. Клинический случай! Одновременно он, как правило, состоял в весьма целомудренных, платонических отношениях с какой-нибудь почтенной дамой. Классический случай! Он был способен к сочувствию, к самопожертвованию, к любви! Даже к верности — на свой особый, цинардоусоновский манер.

В данный момент его, как он сообщил, "подцепили" руки какой-то кассирши из аптеки.

— Я бегаю туда как только у меня есть время.

— Угм... — отвечал Сэмплер.

— Я прямо помешался. Я хожу туда со своим ручным чемоданчиком. У него очень твердая крышка. Первоклассная кожа. Я уплатил за него 38.50 на Пятой Авеню. Можешь себе представить?

— Более или менее.

— Я покупаю у нее какую-нибудь ерунду — на четверть доллара, на десять центов. Жвачку. Пачку Сайт-Сэверс. Плачу крупными бумажками — десять, иногда двадцать долларов. Я нарочно хожу в банк и беру там новые бумажки.

— Понимаю.

— Нет, дядя Сэмплер, ты себе не можешь представить, что для меня значит эта круглая рука! Такая смуглая! Такая налитая!

— Мда, я, пожалуй, действительно...

— Я прислоняю чемоданчик к стойке и прижимаюсь к нему. Пока она считает сдачу, я прижимаюсь.

— Ну, довольно, Уолтер; ты бы мог избавить меня от подробностей.

— Дядя Сэмплер, ты должен меня понять. Что мне делать? Только это и остается.

— Но ведь это твое личное дело. Какой смысл мне об этом рассказывать?

— Есть смысл. Почему мне нельзя рассказать? Должен быть какой-то смысл. Пожалуйста, не останавливай меня. Будь добр.

— Тебе следовало бы остановиться самому.

— Я не могу.

— Ты уверен?

— Я прижимаюсь. Я дохожу до конца. Я спускаю в штаны.

Сэммлер повысил голос:

— Ты ничего не можешь пропустить...

— Что мне делать, Сэммлер?! Я старик. Мне уже шестьдесят.

При этом Брук прижимал к глазам короткие толстые ладони. Его приплюснутый нос разбухал, рот бессмысленно открывался, из глаз брызгали слезы, он вилял плечами и туловищем, как обезьяна. Между редкими зубами зияли трогательные просветы. Вдобавок, плача, он переставал храпеть. В этот момент в нем ощущался певец.

— Вот что такое моя жизнь...

— Я тебе сочувствую, Уолтер.

— Я урод!..

— Послушай, но ведь этим ты никому не причиняешь вреда. Сейчас вообще к таким вещам принято относиться снисходительно, не так, как раньше. А может, ты бы мог как-нибудь отвлечься? У тебя ведь есть и другие интересы. Потом, видишь ли, твои огорчения так похожи на огорчения всех других, так современны, Уолтер, что, право, одно это должно тебе помочь. Разве не утешительно, что исчезли все эти скрытые сексуальные комплексы викторианской эпохи? Теперь комплексы вдруг обнаружили у всех и каждый публично оповещает о них весь свет. По нынешним меркам ты даже, пожалуй, немного устарел. У тебя старомодный комплекс, столетней давности Крафт-Эбинг.

Тут Сэммлер запнулся, недовольный легкомыслием, которое вкралось в его утешительную тираду. Впрочем, что касается старомодности, он сказал именно то, что думал. Сексуальные проблемы людей типа Брука проистекали из подавленных желаний далекого прошлого, были связаны с образами матерей и женщин, давно исчезнувших из жизни. Он сам, родившийся в исчезнувшем столетии, в исчезнувшей ныне Авст-

ро-Венгерской империи, вполне мог оценить произошедшие с тех пор изменения. Но не бессовестно ли было рассуждать о подобных вещах, небрежно развалясь в постели? Впрочем, прежний, краковский, исчезнувший Сэмmlер никогда не отличался добротой. Он был единственный сын, избалованный матерью, которая сама была избалованной дочерью. Забавное воспоминание: когда в детстве Сэмmlеру случалось закашляться, он прикрывал рот рукой служанки, чтобы "микробы" не попали на его собственную руку. В семье над этим подшучивали. Служанка Вадя — краснощекая, желтоволосая, добродушная, вечно ухмыляющаяся, с вечно распухшими деснами — разрешала маленькому баричу одалживать на время свою руку. Позже, когда он стал постарше, уже не Вадя, а сама мать приносила своему длинному, тощему, нервному сыну чашку шоколада с печеньем в его комнату, где он мусолил Троллопов и Бэйджхотов, воспитывая в себе "англичанина". В те времена он и его мать считались эксцентричными и раздражительными. Высокомерные, черствые люди. Ничем на них не угодишь. Понятно, что за последние тридцать лет для Сэмmlера многое изменилось. Но сейчас перед ним сидел Уолтер Брук, размазывая слезы старчески-младенческими пальчиками, и всхлипывал, закончив исповедь. Бывало ли, чтобы ему не в чем было исповедаться? Всегда что-нибудь находилось. Брук признавался, что он покупает себе детские игрушки. Надувных обезьян в крохотных зеленых мундирчиках и красных шапочках, которые умели причесываться, поглядывая в зеркало, били в бубен и танцевали. Черные куклы-менестрели упали в цене. Куклами он играл у себя в комнате, в одиночестве. Еще он посылал обличительные, оскорбительные письма музыкантам. Потом он приходил, исповедовался и плакал. Он плакал не напоказ. Он оплакивал свою пропавшую, как ему казалось, жизнь. Можно ли было убедить его, что это не так?

Когда имеешь дело с людьми типа Брука, так и тянет перейти к более широким обобщениям, искать па-

раллели, подумать об истории и других общих проблемах? Скажем, по линии сексуального невроза у Брука можно было найти предшественников — хотя бы фрейдовского "человека с крысиным комплексом", который помешался на том, что крысы, якобы, грызут его задний проход, и утверждал, что его гениталии выглядят как крысы и даже сам он похож на крысу. В сравнительном плане Брук относился к типу людей, страдающих легкой формой фетишизма. При таком подходе к явлениям невольно ощущаешь склонность выбирать только самые яркие, достойные внимания случаи. Когда они уже отобраны, представляется разумным опустить, отбросить и забыть все остальное, все лишнее, весь балласт. Если уж говорить об исторической памяти человечества, то вряд ли она станет обременять себя запоминанием таких вот Бруков — да и запоминанием Сэмплеров тоже, если на то пошло.

Сэмплера не очень беспокоила мысль, что его могут забыть; во всяком случае, меньше, чем мысль, что его могут запомнить. Но сейчас, кажется, он понял все презрение к человеку, заключавшееся в этой установке на "достойных запоминания". О, разумеется, исторический подход позволял легко отделаться от подавляющего большинства человеческих судеб. Иными словами, выбросить большинство из нас, как балласт. Но вот перед ним сидел Уолтер Брук, который пришел в эту комнату, потому что только здесь он мог выговориться. И этот Уолтер, кончив всхлипывать, вероятно, почувствует себя оскорбленным упоминанием о Крафт-Эбинге, намеком на заурядность своего извращения. Похоже, ничто так не уязвляет самолюбие, как обидное сознание, что жизнь пошла насмарку из-за порока, который вовсе не самый порочный. Эта мысль воскресила в его памяти забавное рассуждение Кьеркегора о людях, рыщущих по всему свету, чтобы глядеть на реки, горы, незнакомые созвездия, на птиц с невиданным оперением, на диковинно деформированных рыб, на чудовищных человеческих уродцев. О так называемых туристах, об этих обалдевших стадах,

которые тупо таращат глаза на бытие и полагают, будто что-то узрели. Конечно, Кьеркегора подобные чудеса не могли интересовать. Он-то искал чуда в подлиннике, ему нужен был Рыцарь Веры. Подлинно незаурядная натура, сознавая свою прочную связь с бесконечным, свободно чувствует себя в конечном и переходящем. Постоянно сообразуясь с бесконечным, она способна сохранять алмаз своей веры и благодаря этому не нуждается ни в чем, кроме конечного и заурядного. Тогда как все прочие жаждут поглазеть на экстраординарное. Или стать тем, на что глазают. Готовы быть птицами с диковинным опереньем, причудливо деформированными рыбами, чудовищными человеческими уродцами. Но м-ру Сэммлеру — крепкие скулы, легко электризующиеся волосы на затылке, длинное старческое тело, — м-ру Сэммлеру было неуютно в постели. Его тревожило искушение преступлением, предстоящее Рыцарю Веры. Должен ли Рыцарь Веры найти в себе силы преступить законы человечности ради покорности Господу? О да, конечно! Но Сэммлер знал об убийстве нечто, изрядно затрудняющее выбор. Он часто думал о том, какую властную привлекательность обрело преступление в глазах отпрысков буржуазной цивилизации. Кто бы они ни были — революционеры, супермены, праведники. Рыцари Веры — все, даже самые достойные, время от времени дразнили и испытывали свое воображение мыслью о ноже или револьвере. Преступившие закон. Раскольниковы. Н-да...

— Уолтер, мне больно видеть, как ты мучаешься...

Странные все-таки дела происходили в комнате м-ра Сэммлера, загроможденной книгами, бумагами, увлажнителем, раковиной, электроплиткой, пирексовой колбой, документами.

— Я помолюсь за тебя, Уолтер...

Брук от изумления перестал всхлипывать.

— Как ты сказал, дядя Сэммлер? Ты помолишься?

В его голосе уже не было прежней баритональной певучести. Голос был снова хриплым, кулдыкающим.

— Дядя Сэмплер, у меня бзик — женские руки. А у тебя — молитвы?

Он заржал утробным смехом. Он ржал и отфыркивался, смешно раскачиваясь всем телом, держась за бока, безглазо таращась на Сэмплера обеими ноздрями. Но в сущности, он смеялся не над Сэмплером. В сущности, нет. Нужно научиться различать. Различать, различать и различать. Вся суть не в объяснении, а в различении. Объяснения — для ментальности человека из толпы. Просвещение взрослых. Подъем сознательности масс. С ментальностью на уровне, сравнимом, скажем, с экономическим уровнем пролетариата в 1848 году. Но различение?! Это, несомненно, более высокий уровень сознания.

— Я помолюсь за тебя, — повторил Сэмплер.

После чего разговор на некоторое время выродился в обычную светскую беседу. Сэмплеру не удалось вернуться от прочтения писем, которые Брук собирался разослать в "Пост", "Ньюсдэй", "Таймс", где он вечно сводил какие-то запутанные счета с музыкальными критиками. Это опять была нелепая, вздорная сторона действительности, — опозоренный, паясничавший, невежественный Брук. Надо же — как раз в тот момент, когда Сэмплер намеревался отдохнуть. Собраться с силами. Привести себя в порядок. Крикливый, гнусавый дадаистский стиль Брука был, вдобавок, заразителен. Поди, Уолтер, поди прочь, чтобы я мог за тебя помолиться, хотелось сказать Сэмплеру, невольно впадая в ту же манеру. Но тот вдруг спросил:

— Когда ты ждешь своего зятя?

— Кого? Эйзена?

— Ну да, он должен скоро приехать. Если уже не приехал.

— Понятия об этом не имею. Он уже много раз грозился приехать. Ему хочется осесть в Нью-Йорке вольным художником. Шула ему абсолютно не нужна.

— Я знаю, — кивнул Брук. — Но она здорово его боится.

— Из этого наверняка ничего не выйдет. Он слыш-

ком вспылчив. Да, это ее испугает. И польстит, пожалуй, если она вообразит, что он приезжает ради нее. Ему не до жен, не до семей. Ему хочется выставить свои картины на Медисон-авеню.

— Он полагает, что они того стоят?

— У себя в Хайфе он научился гравировать и печатать, и в типографии мне говорили, что он неплохой работник. Потом он на свою голову обнаружил, что существует Искусство, и принялся убивать свое свободное время на рисунки и офорты. Он разослал всем родственникам их портреты, скопированные с фотографий. Ты не видел? Это было нечто устрашающее. Плоды больной психики и очень страшной души. Уж не знаю, как он ухитрился, но с помощью цвета он обесцветил всех и вся. Люди выглядели на его портретах как трупы: черные губы, глаза, лица цвета протухшей, позеленевшей печенки. И в то же время было во всем этом что-то от старательности маленькой школьницы, которая учится рисовать красоток с длинными ресницами и губками сердечком. Честное слово, я онемел, когда увидел себя в виде такой ископаемой куколки. Вдобавок под лаком, которым он покрывает свои картины! Я выглядел совершенным мертвецом. Словно одной смерти на меня было мало, и мне довелось умирать, по меньшей мере, дважды. Отлично, пусть приезжает. Кто знает, вдруг его идиотские нью-йоркские надежды сбудутся. Он жизнерадостный маляк. А все эти высоколобые сейчас вдруг открыли, что безумие — это высшая мудрость. Если он нарисует им Л. Б. Джонсона, генерала Уэстморленда, Раска, Никсона или м-ра Лэйрда в своем оригинальном стиле, он еще, глядишь, станет знаменитостью. Деньги и власть превращают людей в сумасшедших, это точно. Почему бы, наоборот, не превратить сумасшествие в деньги и власть. Эти вещи неразлучны.

Ложась, Сэмплер сбросил туфли; теперь его тощим ногам в коричневых носках стало зябко, и он натянул на них свое одеяло с протершейся шелковой подкладкой. Брук принял это за намек на желание вздремнуть.

А может, Сэммлеру наскучила беседа? Баритон распро-
щался.

Когда Брук, наконец, суматошно вынес за дверь свое черное пальто, короткие ляжки, широченный, обвисший, как мешок, зад, ухарски нахлобученную кепку, штанины, прихваченные велосипедными зажимами (что за самоубийственная амбиция — по Манхэттену на велосипеде), Сэммлер вернулся мыслями к карманнику, к вестибюлю с его вспучившейся, точно грыжа, обивкой, к двум парам темных очков, к тому развернувшемуся на ладони, как ящерица, мясистому шлангу тускло-розово-шоколадного цвета, что так назойливо внушал мысль о потомстве, для зачатия которого он предназначался. Уродливо, нелепо; смехотворно — и все же не лишено значения. Мистер Сэммлер тоже (одно из тех проявлений ментальности, которым не было уже смысла противостоять) имел привычку придавать особое значение — совершенно иное, разумеется, — некоторым деталям. Но ведь они с карманником были различными людьми. В них все было различным. Их интеллекты, характеры, душевные черты разделяла пропасть. В биологическом плане Сэммлер в прошлом был на высоте — на свой еврейский лад, конечно. Но это никогда не имело для него особого значения, а уж теперь, на восьмом десятке, тем более. Западный мир, однако, впал в сексуальное помешательство. Сэммлеру смутно припомнилось, что он слышал, будто сам президент на какой-то пресс-конференции (предварительно попросив дам выйти) продемонстрировал тот же предмет корреспондентам, добиваясь от них, — разве мужчине с таким подвесом нельзя доверить руководство страной? Апокриф, разумеется, хотя — с таким президентом — не такой уже невероятный; но главное — что такая история могла возникнуть и распространиться столь широко, что достигла даже Сэммлеров в их вестсайдских спаленках. А последняя выставка Пикассо? Анджела сводила его на вернисаж в Музее Современного Искусства. В сексуальном плане это была выставка. По всей видимости,

старика бешено преследовали видения фаллосов и половых щелей. Неистово и смешно переживая боль расставания, он громоздил их друг на друга тысячами, десятками тысяч. Лингам и Иони. Может быть, санскритские слова могли бы прояснить суть дела? Внести некоторое отстранение? Впрочем, в таком сложном вопросе аналогии мало чем могли помочь. Вопрос был действительно сложен. Вспомнить хотя бы заявление, которое выпалила Анджела Гранер после нескольких рюмок, когда она разошлась, развеселилась и совсем уж перестала стесняться старого дяди Сэмлера. "Еврейская голова, арийский профиль и негритянский петух — вот что нужно женщине", — сказала она. Вот из чего для нее складывался идеальный мужчина. Что ж, Анджела имела открытый счет в самых фешенебельных магазинах Нью-Йорка и свободный доступ ко всему лучшему в мире. Если нужного ей не оказывалось у Пуччи, она заказывала у фирмы Гермес. Все, что деньги могут купить, роскошь предложить, собственная красота использовать или сексуальная подделка заменить. Если бы только ей удалось найти своего идеального мужчину, свой божественный синтез, — уж она-то не сомневалась, что сумеет его заинтересовать. Она была достойна самого лучшего. В этом она была уверена. В такие минуты м-ру Сэмлеру было особенно приятно думать о луне. Лунное целомудрие Артемиды. На луне людям придется тяжело трудиться, чтобы попросту выжить, попросту дышать. Придется нести бдительную вахту у приборов. В общем, совершенно иная жизнь. Инженеры-отшельники, почти монашеский орден.

Если то был не Брук, вторгавшийся со своими исповедями, не Марго (ибо после трех лет добродетельного вдовства она уже начинала подумывать о сердечных делах; больше разговоров, чем реальных перспектив, понятно: разговоры, глубокомысленные рассуждения и так далее до бесконечности), не Фефер с его неразборчивыми постельными похождениями, значит, в дверь к Сэмлеру стучалась Анджела, чтобы поот-

кровенничать. Если это можно было назвать откровенностью. Информационный хаос. Это становилось тягостным. Особенно в последнее время, когда ее отец слег. Сейчас он лежал в больнице. Насчет хаоса у Сэмлера были кое-какие соображения — у него были свои соображения по каждому поводу, в высшей степени субъективные, это верно, но чем еще оставалось руководствоваться? Разумеется, он допускал, что может ошибаться. Его представления были европейскими, а эти явления — американскими. Европейцы в Америке зачастую делали самые курьезные ошибки. Вспомнить хотя бы, как некоторые иммигранты стали паковать чемоданы и собираться в Мексику или Японию после первого провала Стивенсона, — они были уверены, что Айк введет военную диктатуру. Некоторые из европейских товаров сделали, однако, в Америке головокружительную карьеру, психоанализ, экзистенциализм. И тот, и другой были связаны с сексуальной революцией.

Во всяком случае, Анджелу Гранер, красивую, хотя чуть-чуть вульгарную, независимую, богатую, ожидали весьма печальные события, над ее головой уже сгустились тяжелые тучи. Одной из причин ее огорчений был Уортон Хоррикер. Она носилась с Уортоном, ей нравился Уортон, возможно, она даже была влюблена в Уортона Хоррикера. За последние два года Сэмлеру почти не приходилось слышать иных имен. Верность, ни в прямом, ни в переносном смысле, не была в ее вкусе, но в Хоррикере она испытывала какую-то старомодную постоянную потребность. Он принадлежал к публике с Медисон-авеню; какой-то эксперт по рынку и колдун от биржевой статистики. Моложе Анджелы. Культурист — теннис и штанга. Высоченный калифорниец с ослепительными зубами. Дом у него был заставлен гимнастическими снарядами. Анджела рассказывала про наклонный настил для разгибаний с зажимами для ног, про стальную перекладину для подтягиваний в дверном проеме. Сверкающий хромом металл, холодный мрамор отделки, кожаные петли и

английские офицерские складные стулья, — оп и поп, скрытая подсветка, изобилие зеркал. Красивый мужчина. Тут Сэмmlер был согласен. Веселый, и какой-то еще не до конца сформировавшийся — может быть, природа задумала его на роль проходимца (к чему бы все эти мускулы? Для здоровья? А не для разбойничьих ли походов?) ”А как он шикарно одевается”, — восклицала Анджела хриловатым голосом опереточной дивы. Модерный денди — длинные калифорнийские ноги, узкие бедра, длинные, вьющиеся волосы и трогательные завитки на затылке. Невероятно придиричивый к тому, как одеваются другие. Даже Анджела подлежала инспекторской проверке. Однажды он бросил ее посреди улицы, решив, что она одета неподобающим образом. Перешел на противоположную сторону. Рубахи, туфли, свитера, сделанные по особому заказу, непрерывно приходили на его имя из Милана и Лондона. Обычная стрижка волос (нет, не обычная, — ”стильная”! — говаривала Анджела) обставлялась как священнодействие. Эта миссия доверялась только некоему греку с 56-й Восточной. Чего только Сэмmlер не знал об Уортоне Хоррикере. О его рациональном питании. Хоррикер как-то даже принес ему несколько банок дрожжей в порошке — поистине целебная пища, эти дрожжи. О его галстуках, о хоррикеровской коллекции умопомрачительных галстуков. Сравнение с черным карманником напрашивалась неотвратимо. Этот культ мужественной элегантности следовало серьезно обдумать. Что-то серьезное уже туманилось в мозгу, что-то насчет Соломона во всей славе его и еще — что-то насчет полевых лилий. Надо будет обдумать. Невзирая на самовлюбленную привередливость Уортона, на его нетерпимость к дурно одетым людям, на его элегантную фамилию еврея-американца в третьем поколении, Сэмmlер относился к нему вполне серьезно. Сэмmlер ему сочувствовал, отдавая себе отчет в бессознательном коварстве обманчивого и разлагающего обаяния Анджелы. Сознательно, она хотела бы быть веселой, щедрой, свободной, красивой,

жизнерадостной и доставлять людям удовольствие. Обязательная программа всех молодых американцев (Пепси-поколение, не так ли?). Она выкладывала "старому дядюшке Сэмплеру" все начистоту — почетная роль ее наперсника была отведена именно ему. По какой причине? Но ведь он же самый чуткий, самый европейски-космополитически-широкомысляще-мудро-душевно-разносторонне-образованный-молодой душой среди всех старых иммигрантов, и потом — он ведь так интересуется всем новым! Не приукрасил ли он слегка свою персону, чтобы заработать такую оценку? Может быть, чуть-чуть помог, подыграл, изобразил этакое умудренного опытом мудреца из Старого Света? Если так, то это было оскорбительно. И однако это было именно так. Если сейчас ему приходилось выслушивать то, чего бы ему не хотелось слышать, тому была точная параллель — в автобусе ему приходилось смотреть на то, чего ему не хотелось видеть. Но разве он не возвращался снова и снова на кольцо Колумбус, чтобы встретить черного вора?

Нисколько не стесняясь, в откровенных выражениях, Анджела рассказывала дядюшке о своих делах. Войдя в комнату, она снимала пальто и шарф, встряхивала освободившейся копной волос, поблескивавшей обесцвеченными нитями, словно мех енота, и благоухая арабским мускусом, — запах, который надолго потом застаивался в дешевых тканях, обивке кресел, в одеяле, даже в занавесках, неистребимый, как пятна орехового жира на пальцах, — усаживалась на стул, демонстрируя ноги в узорчатых белых чулках — *bas de roule*, как их называли французы. Горящие щеки, чувственные темно-синие глаза, горячее животное тепло, разлитое по белоснежной плоти шеи, во всеуслышание требовали внимания мужчин, откровенно посылали могучий половой призыв. В нынешние времена такие могучие призывы непременно полагалось уравновешивать иронией, и она тоже подчинялась этому требованию. В Америке некоторые виды успеха требовалось прикрывать самопародией, самоиздевкой, нас-

мешкой над самой причиной своего успеха. Мэй Уэст это понимала. Сенатор Дирксен тоже. Анджела же относилась к своим подсознательным импульсам с каким-то непостижимым злорадством. Она закидывала ногу на ногу, сидя на стуле, слишком хрупком для ее ляжек, слишком плоском для ее бедер, и открывала сумочку, чтобы достать сигареты. Сэмплер давал ей прикурить. Ей нравились его манеры. Она выпускала дым из ноздрей и чуть задорно, чуть лукаво поглядывала на Сэмплера, если была в хорошей форме. Дева красоты, а он — древний отшельник. Когда она совсем оттаивала и начинала хохотать, обнаруживалось, что у нее большой рот и широкий язык. Сквозь облик изящной дамы проглядывала вдруг простая грубая баба. Губы были чересчур накрашены, язык покрыт белым налетом. Этот язык, такой женский, видимо играл какую-то удивительную роль в ее фривольной, роскошной жизни.

На первое свидание с Уортоном она примчалась откуда-то из Ист-Виллидж. Какая-то встреча, от которой никак нельзя было отказаться. Никакой "травки" в тот вечер, сказала она, исключительно виски. "Травка" не заводила ее так, как бы ей хотелось. Четыре телефонных звонка Уортону из какой-то переполненной забегаловки. Он заявил, что по расписанию ему пора спать, шел второй час ночи; он совсем помешался на этом своем расписании, на своем драгоценном здоровье. В конце концов она ввалилась к нему и стала целовать взасос. "Будем трахаться всю ночь", — заявила она. Но сначала ей необходимо помыться. Ведь ей весь вечер хотелось Уортена. "Баба ведь — вонючка, сплошные запахи, дядя". Она сбросила с себя все, но забыла снять колготки и прямо в них плюхнулась в ванну. Ошеломленный Уортон так и сидел в халате на крышке унитаза, пока она, разгоряченная выпивкой, намыливала себе груди. Сэмплер достаточно хорошо представлял, как они выглядят. Ее глубокие декольте, в сущности, почти ничего не скрывали. Намылившись, она ополоснулась, с восхи-

тительными затруднениями стащила с себя намокшие колготки и позволила ему повести ее за руку в спальню. А может, это она его вела, а Уортон плелся следом, то и дело целуя ее в шею и плечи. Наконец, она воскликнула "Ах!" и дала себя оседлать.

Предполагалось, что м-р Сэмплер должен благожелательно выслушивать всякого рода интимные излияния. Забавно, Г. Дж. Уэллс тоже любил беседовать с ним на сексуальные темы — правда, несколько более раздумчиво и благопристойно. От столь выдающегося индивидуума можно было ожидать рассуждений в духе состарившегося Софокла. "С огромной радостью избавился я от того, о чем ты твердишь; кажется мне, будто я вырвался из лап жестокого и безумного владыки". Ничего подобного. Насколько Сэмплер мог припомнить, Уэллса на седьмом десятке преследовали мысли о девочках. Он приводил веские доводы в пользу радикального пересмотра сексуальных отношений соответственно с увеличившейся продолжительностью человеческой жизни. В те времена, когда среднестатистический индивидуум доживал лишь до тридцати лет, человечество, изнуренное трудом, недоеданием, болезнями, приходило к сексуальному финишу уже на третьем десятке. Ромео и Джульетта были подростками. Сейчас, когда в цивилизованном обществе продолжительность жизни достигла семидесяти, прежние нормы беспощадной краткосрочности, раннего увядания и неизбежного истощения должны быть отброшены. Уэллс постепенно распалялся, приходил в ярость, говоря о возможностях мозга, о пределах его развития, об уменьшающейся к старости любознательности. Этот профессиональный утопист не мог даже предположить, что желанное будущее принесет с собой сексуальные излишества, извращения, порнографию. Он-то полагал, что с избавлением от прежней грязи и угрюмой худосочности род человеческий создаст более сильный, более рослый, развитый, мозговитый, откормленный, прокислороженный, витальный тип человека, едящего и пьющего разумно, идеально независимого и сбалан-

сированного в своих желаниях, не нуждающегося в одежде, спокойно исполняющего свой долг, занятого фантастически увлекательным и полезным умственным трудом. Да, постепенно этот вечный страх человечества, порожденный быстрым увяданием земной красоты и радости, должен исчезнуть, его непременно должна сменить высшая мудрость удлинившейся жизни.

О, изборожденные морщинами лица, седые бороденки, глаза, сочащиеся слизью и гноем, щедро помутившийся разум и расслабленный зад — задыхаясь, бочком-бочком, в могилу; Гамлет имел на сей счет собственное мнение. Вот почему лицо м-ра Сэммлера, когда он порой, лежа в постели и ощущая режущую боль между ребрами и тазом, которая заставляла его поворачивать ногу то так, то эдак в тщетной попытке найти облегчение, внимая сидевшей перед ним Анджеле и созерцая своими по-разному видевшими глазами сразу две (по меньшей мере) стороны действительности, выражало одновременно и некий упрек и глубокое понимание. Ежедневная ложка питательных дрожжей, первичной производной натуральных сахаров, растворенная в стакане фруктового сока и взбитая в легкую розовую пену, была причиной того, что у Сэммлера был хороший цвет лица. Одним из подарков долговечности было божественное увеселение духа. Можно понять, каким увеселением духа было для Господа создание систем, требовавших времени для надлежащего развертывания! Сэммлер знал семью Анджелы. Ее дед и бабка были ортодоксальными евреями. Это придавало пикантный привкус тому, что он знал о ее языческих склонностях. Строго говоря, он сомневался в пригодности евреев для такого римско-водуистского эротического примитивизма. Ему не верилось, что можно в индивидуальном порядке освободиться от многовековой еврейской дисциплины ума, от унаследованной привычки подчиняться Закону. Несмотря на то, что сегодня евреи — врачеватели души и рассудка тоже настаивали на примате эротики, Сэммлер ос-

тавался при своих сомнениях. Если принять как постулат, что счастье в том, чтобы делать то же самое, что делает большинство. В таком случае надлежит воплощать собой то же, что оно воплощает. Предрассудки, так предрассудки. Исступление, так исступление. Секс, так секс. Но не идти против течения. Только не идти против, вот и все. Разве что принадлежишь к Сэмлерам и понимаешь, что почетные места находятся вне. Однако то, что ты получал в обмен за уединенность, за прозябание в качестве некоего рудимента некой чистой духовности, временно пребывающей здесь в гостях и по случайности обитающей в вестсайдской спальне, еще не давало тебе права на место вне. А внутри, вдобавок, было так просторно и так многолюдно, что если ты реально обитал там, ты непременно становился американцем. А радость, восторг, почти нестерпимое волнение от сознания, что можешь назвать себя американцем двадцатого века, были доступны каждому. Каждому, у кого были глаза, чтобы читать газеты или смотреть телевизор, каждому, кого новости дня, кризис или чувство власти приводили вместе с другими в коллективный экстаз. Каждому — по его экзальтированности. Но, возможно, тут был еще более глубокий смысл. Род человеческий разглядывал и описывал себя самого в самый решающий момент собственной истории. Ты и субъект, то ли выползающий из ночи, то ли погружающийся в ночь, ты и объект, то ли выздоравливающий, то ли агонизирующий, сам в себе ощущающий бушевание сил и паралитическое бессилие, — свои же собственные крестные муки воспринимающий как грандиозное зрелище, в котором сам же истово и глубоко соучаствовал, на всех уровнях, от мелодрамы и обычного шума вплоть до глубочайших пластов души и тех тишайших безмолвий, где таится неведомое знание. Такого рода ситуация, по мнению м-ра Сэмлера, могла таить в себе захватывающие духовные и интеллектуальные перспективы, но они требовали от человека прежде всего незаурядно интеллекта, а вдобавок — незаурядного проворства

и сообразительности. Он даже не был уверен, что сам удовлетворяет собственным требованиям. Высокий темп жизни сжимал десятилетия, века, эпохи до месяцев, недель, дней, даже до фраз. Чтобы поспеть за ним, нужно бежать, мчаться, лететь стремглав, нестись над фосфоресцирующими водами, нужно обладать способностью видеть, что выпадает из человеческой жизни и что в ней остается. Старомодному мудрецу в кресле здесь не на что рассчитывать. Нужно тренироваться. Нужно быть достаточно закаленным, чтобы не отшатнуться в ужасе при виде отдельных этапов этой метаморфозы, чтобы примириться с распадом, с взбесившимися улицами, с ожившими ночными кошмарами, с наркоманами, алкоголиками и извращенцами всех сортов, праздноующими свое отчаяние на виду у всех, в самом центре города. Нужно быть способным вынести картину душевной сумятицы, жестокое зрелище общего разложения. Нужно быть терпимым к тупости властей, и жульничеству дельцов. Ежедневно между пятью и шестью утра м-р Сэмплер пробуждался в своем Манхэттене и в который раз начинал искать ключ к происходящему. Он не надеялся, что это ему удастся. Даже если и удастся, он не сумеет никого убедить или обратить в свою веру. Можно было бы завещать разгадку Шуле. Она могла бы признаться в этом рабби Ипсхаймеру. Она могла бы шепнуть отцу Роблесу на исповеди, что знает разгадку. В чем же она, эта разгадка? В сознании с его муками? В бегстве от сознания в примитив? В свободе? В привилегиях? В демонах? В том, что просвещение и рационализм изгнали этих демонов и духов из воздуха, который они всегда населяли? А человечество никогда не жило без демонов, и потому снова нуждается в них! О, человек — искалеченное, зудящее, кровоточащее, жадное, тупое, гениальное существо! И как странно оно (он, она) играет со всеми непонятными свойствами бытия, со всевозможными вероятностями, со всеми мыслимыми парадоксами, с душой мира, со смертью. Можно ли выразить это в одной-двух фразах? Человечеству нестер-

пима безбудущность. В данный момент единственно возможным будущим представлялась смерть.

Семья, круг друзей, общность живых существ — вот что поддерживало заведенный порядок вещей, а потом являлась смерть, и никто не был готов с ней примириться. Д-р Гранер, как было объявлено, подвергся небольшой операции, незначительному хирургическому вмешательству. Незначительному? Сквозь истончившиеся стенки сонной артерии, ведущей в мозг, стала просачиваться кровь. Сэммлер медлил, не желая осознать, что это могло значить. У него были на то причины, пожалуй. С 1947 года они с Шулой были иждивенцами д-ра Гранера. Он оплачивал их квартирные счета, изобретал для Шулы работу, снабжал их чеками пенсионного обеспечения и немецких репараций. Он был щедр. Само собой разумеется, он был богат, но ведь богачи обычно скупы. Не способны отделить себя от тех приемов, которые сделали им деньги: от обмана доверия, от привычного жульничества, от бешеного проворства в сложных махинациях; от игры по правилам узаконенного мошенничества. Старый Сэммлер, этот остров раздумья среди острова Манхэттен, этот созерцатель с маленьким румяным лицом, с глазом, затянутым прозрачной пленкой и с кошачьими бакенбардами — ясно видел, что все богачи, которых он знал, — победители в состязании преступников, узаконенных преступников. Иными словами, рекордсмены в тех видах обмана и жестокосердия, которых данный политический строй признавал в целом полезными; в тех способах хищений, или краж, или (в лучшем случае) расточительств, которые в целом приводили к росту национального валового продукта. Впрочем, минутку: Сэммлер не позволял себе мерить всех и вся самой высокой меркой и огульно защищать прочих смертных с позиций высокопринципиального интеллектуала. Все его попытки представить себе справедливый социальный строй ни к чему не приводили. Общество без коррупции? Никак не получалось. Он не мог припомнить ни одной такой революции, кото-

рая не совершалась бы во имя справедливости, свободы и чистых добродетелей. Конечное состояние всякой революции всегда оказывалось более нигилистичным, чем исходное. Что ж, если считать доктора Гранера не вполне безгрешным, то не мешало присмотреться к другим богачам, а затем сравнить сердца. Что за вопрос?! Д-р Гранер, наживший большое состояние гинекологией, а позже, еще большее, — сделками с недвижимостью, был, в целом, человеком добрым и знал, что такое голос крови, в отличие от Сэммлера, который в юности избрал прямо противоположный путь, передовой путь марксо-энгельсово-частно-собственнического происхождения государства и семьи.

По смешной случайности Сэммлер, который был лишь на шесть—семь лет старше Гранера, доводился ему дядей. Сэммлер был ребенком от второго брака, родившимся, когда его отцу пошел уже седьмой десяток (Сэммлер-отец, видимо, был сексуально предприимчив). А д-р Гранер буквально томился желанием иметь дядю-европейца. По части соблюдения старых традиций он был изощренно, чисто по-китайски почтителен. Он покинул родину десятилетним мальчиком, сентиментально вздыхал о Кракове и жаждал воспоминаний о бабушках, тетушках, кухнях, с которыми Сэммлер никогда близко не общался. Ему нелегко было объяснить, что это были как раз те люди, от которых он считал тогда необходимым оторваться и из-за которых он и стал столь абсурдно англазированным. Сам же Гранер и спустя пятьдесят лет сохранил в себе что-то от иммигранта. Несмотря на свой огромный дом в Вестчестере и роллс-ройс, в котором его вежливая еврейская лысина скрывалась точно в серебряной суповой миске. Морщины у Гранера были мягкие. Они выражали кротость, а порой даже удовольствие. У него были крупные, аристократические губы. В них было также что-то насмешливое и скорбное. В целом, приятное, светящееся приязнью лицо.

Дядя по сводной сестре, в сущности — дядя из вежливости, в силу гранеровской почтительно-старомод-

ной прихоти, — в глазах Гранера Сэммлер (высокий, почтенный, европейский) был последним представителем легендарного старого поколения. Мамин единственный брат. Дядя Артур, с такими большими седыми пучками бровей, с такими тонкими морщинами, величественно растекавшимися из-под широкополой, вероятно, очень романтической, английской шляпы. Увидев впервые Гранера, его лицо, широкую улыбку и торчащие уши, Сэммлер понял, что для своего "племянника" он — важная историческая личность. Кроме того, Гранер с почтением относился к тому, что дяде пришлось пережить. Война. Катастрофа. Страдания.

Благодаря своему яркому румянцу Гранер всегда казался Сэммлеру здоровяком. Правда, однажды он сказал: "Это не здоровье, дядя, это гипертония".

— Может быть, тебе следует бросить игру в карты?

Дважды в неделю Гранер подолгу и по-крупному играл в своем клубе в западную или в канастику. Так рассказывала Анджела, которой нравилось, что у ее отца есть порок. У нее у самой были унаследованные пороки, — у нее и у ее младшего брата, Уоллеса. Уоллес был прирожденный игрок. Он уже успел просадить свои первые пятьдесят тысяч, вложенные в какую-то затею ласвегасовских мафиозо. Или, скорее, несостоявшихся мафиозо, — ибо затея провалилась. Д-р Гранер сам вырос в хулиганском квартале и время от времени, вспоминая старые привычки, цедил слова краешком рта. Гранер был вдовцом. Его жена была немецкая еврейка, которая считала, что социально она стоит гораздо выше мужа. Ее семья принадлежала к числу пионеров 1848 года. Гранер же был иммигрантом из Восточной Европы — *Ostjude*. Она занималась тем, что облагораживала его, помогала ему стать на ноги. Покойная миссис Гранер была чопорной, благопристойной дамой с тощими ногами, с волосами, тщательно уложенными, в нарядах от "Пек и Пек, КО", скроенных геометрически точно. Д-р Гранер верил в социальное превосходство жены.

— Мое давление повышается не из-за карт. Не было бы карт, была бы биржа, а не было бы биржи, так был бы флоридский кондоминиум, была бы тяжба со страховой компанией, и уж во всяком случае, был бы этот балбес Уоллес. Была бы Анджела.

Укрощая пылавшую в нем великую любовь, разбавляя отцовскую нежность ругательствами, Гранер мог пробормотать "Сука" при виде дочери, приближавшейся в колыхании всей своей плоти — бедер, ляжек, ягодиц — выставленных напоказ со своего рода лицемерным целомудрием. Что, надо полагать, сводило с ума мужчин и приводило в ярость женщин. Он шептал "Корова" или "Грязная блядь!" Однако положил на ее имя капитал вполне достаточный, чтобы доход с него позволял ей жить в роскоши. Миллионы развращенных дамочек, видел Сэммлер, имели к своим услугам целые состояния. Пустоголовые, чтобы не сказать хуже, создания, проматывающие богатство страны. Подробности, которыми Анджела угощала Сэммлера, Гранеру были бы не под силу. Она всегда предупреждала: "Если папочка узнает, его хватит удар". Сэммлер придерживался иного мнения; Элия наверняка знал предостаточно. Правда, без сомнения, была известна всем заинтересованным лицам. Вся она была налицо, в ее икрах, в вырезах ее блузок, в движениях кончиков пальцев, в музыкальной хрипотце шепота.

Д-р Гранер любил повторять: "Эта порода мне известна. Я свою Анджелу знаю. И Уоллеса тоже!"

Сэммлер не сразу понял, что означает аневризм; Анджела сказала ему, что отцу делают в больнице операцию горла. На второй день после встречи с карманником он отправился в Ист-Сайд навестить Гранера. Шея у доктора была забинтована.

— Привет, дядя Сэммлер.

— Как поживаешь, Элия? Ты выглядишь молодцом.

И старик, пошарив длинной рукой за спиной, расправил полы теплого полупальто и, согнув тощие ноги, уселся. Перевернув зонтик, он упер его между кончиками растрескавшихся и сморщенных черных ту-

фель и, опершись ладонями на изогнутую ручку, наклонился к постели больного с изысканной польско-оксфордской учтивостью. Типичный посетитель больничной палаты. Левая сторона лица в тонкой, запутанной сетке морщин напоминала контурную карту пересеченной местности.

Д-р Гранер сидел прямо и не улыбался. Выражение его лица, всегда весело оживленного, все еще было приятно для глаз. Сейчас это выражение не соответствовало обстоятельствам, просто было привычным.

— Пока еще неизвестно.

— Операция прошла успешно?

— Мне вставили в горло такую штучку, дядя.

— Зачем?

— Регулировать поток крови в артерии, в сонной артерии.

— Вот как? Что-то вроде клапана?

— Примерно.

— Эта штука будет регулировать давление?

— Да, так предполагается.

— Угм. Пожалуй, эта штука неплохо делает свое дело. Ты выглядишь как обычно. Вполне нормально, Элия.

Видимо, было еще что-то, о чем д-р Гранер предпочитал умалчивать. Выражение его лица не было ни отрешенным, ни мрачным. Сэммлеру казалось, что он угадывает в нем не ожесточенность, а некую обескураживающую напряженную легкость. В больничной обстановке, в пижаме, доктор выглядел послушным пациентом. Он так и сказал сестрам:

— Это мой дядя. Расскажите ему, какой я пациент.

— О, доктор — замечательный пациент.

Гранер всегда требовал восторженного подтверждения, одобрения, доброго отношения от всех, кто попал в его орбиту.

— Я полностью положился на хирурга. В точности следую его указаниям.

— Хороший хирург?

— О, да. Немного грубоват, может быть. Этаким па-

рень из Джорджии. В колледже был футбольной звездой. Помнится, я читал о нем в газетах. Он играл за джорджианский Политех. Но специалист очень толковый; я попросту делаю, что он велит, и никогда не обсуждаю с ним назначения.

— В общем, ты им полностью доволен?

— Вчера они чересчур подвернули винт...

— И что же?

— Ну, стало трудно говорить. Я частично потерял координацию. Вы ведь знаете, мозг нуждается в определенном притоке крови. Так что пришлось им сделать мне послабление.

— Но сегодня тебе уже лучше?

— О, да...

Принесли корреспонденцию, и д-р Гранер попросил дядю Сэмлера прочесть ему кое-какие места из биржевого бюллетеня. Сэмлер поднес газету к зрячему глазу и пристроил так, чтобы свет из окна падал на нее. "Министерство юстиции США намеренно возбудить иск против Линг-Темко-Во, чтобы заставить эту фирму изъять свои капиталовложения из Джонс и Лофлин-Стил. Кампания против крупных картелей..."

— Эти картели заглатывают весь бизнес в стране. Насколько я знаю, один из них прибрал к рукам все похоронные конторы в Нью-Йорке. Я слышал, будто фирма Кемпбелл, Риверсайд, куплена той же компанией, которая финансирует журнал "Мэд".

— Очень интересно!

— Молодежь — это сейчас большой бизнес. Школьники тратят фантастические суммы. Если достаточно ребятшек станут радикалами, появится новый массовый рынок, и можно будет делать большие дела.

— Мда, я представляю.

— Ничего невозможно удержать. Сначала делаешь деньги, потом ломаешь голову, как уберечь их от инфляции. Куда вложить, кому доверять, — а доверять некому, — какая будет прибыль, как спасти ее от этих федеральных налоговых грабителей, от этой омерзительной налоговой службы. И кому оставить... завеща-

ния! Это самое худшее. Мучительно.

Дяде Сэммлеру теперь уже все было ясно. В голове у его племянника Гранера находился большой кровеносный сосуд, с рождения дефектный, а теперь к тому же износившийся и протершийся от многолетней перегонки крови. В изношенном месте образовался кровяной сгусток. Этот студенистый комок трепетал. Человек был востребован на край вечной ночи. Любой следующий удар сердца мог взорвать артерию и залить мозг кровью. В сознании Сэммлера постепенно вырисовывалась истинная картина. Значит, пробил час? Тот самый? Ужасно! Но это так! Элии суждено умереть от инсульта. Знал ли он об этом? Конечно, знал. Как врач, он не мог не знать. Но как человек, он мог себя обманывать самыми разными способами. Знать и одновременно не знать — один из самых распространенных видов самообмана. Став на время сосредоточенно наблюдательным, Сэммлер минут через десять—двенадцать понял, что Гранер определенно знает. Он был убежден, что для Гранера наступил его звездный час, тот час, когда человеку дано проявиться наилучшим образом. М-р Сэммлер прожил долгую жизнь и кое-что знал об этих минутах последнего мужества. Е с л и оставалось время, удавалось порой сделать совсем неплохие вещи. Е с л и хоть немного везло, разумеется.

— Дядя, попробуйте какое-нибудь из этих фруктовых желе. Лучше всего лимонное и апельсиновое. Из Беер-Шевы.

— Ты не следишь за своим весом, Элия?

— Конечно, нет. Потрясающие вещи они стали делать в Израиле.

Доктор покупал израильские акции и недвижимость. В вестчестерском доме у него подавали израильские вина и бренди. Он раздавал направо и налево израильские шариковые ручки, покрытые тяжеловесной серебряной вязью. Ими можно было выписывать чеки. Для обычных нужд они были непригодны. И дважды в жизни, взяв шляпу с вешалки, д-р Гранер

небрежно обронил:

— Думаю махнуть ненадолго в Иерусалим.

— Когда?

— Сейчас.

— Как, прямо сию минуту?

— Вот именно.

— Прямо так, как есть?

— Как есть. Зубную щетку и бритву я могу купить в Луде. Мне нравится там покупать.

Он приказывал шоферу отвезти его в аэропорт Кеннеди.

— Я протелеграфирую тебе, Эмиль, когда буду возвращаться.

В Иерусалиме у него были родственники еще более почтенного возраста, чем Сэмmlер, и Гранер углубился с ними в генеалогические дебри; он не жалел на это времени. Это было больше, чем времяпрепровождение. Родственные связи были его страстью. Сэмmlер находил это странным, особенно для врача. От человека, для которого женская зародышевая слизь была источником экономического процветания, трудно было ожидать столь индивидуализированно-сентиментального отношения к собственному клану. Однако теперь, видя роковую синеву под его глазами, Сэмmlер глубже понимал, что было тому причиной. Каждому по его призванию. Гинекологию Гранер забросил лет десять назад. Он перенес инфаркт и ушел на пенсию. Спустя год или два страховая компания стала настаивать, что он вполне работоспособен, и д-р Гранер затеял с ней тяжбу. Это позволило ему убедиться, что лучшие юридические умы Нью-Йорка находятся на содержании страховых компаний. Лучшие адвокаты всегда были заняты, а суды намеренно завалены множеством мелких исков тех же компаний, так что прошли годы, прежде чем дело дошло до суда. Тем не менее он выиграл. Или был близок к тому, чтобы выиграть. Он невзлюбил свое ремесло — нож, кровь. Он был добросовестен. Он выполнил свой долг. Но ремесло свое он разлюбил. Впрочем, он до сих пор скрупу-

лезно следил за своими ногтями, словно все еще был практикующим хирургом. Сюда в госпиталь тоже была вызвана маникюрша и сейчас, во время сэммлеровского визита, пальцы Гранера мокли в стальной ванночке. Странное зрелище представляли мужские пальцы в мыльной пене. Маникюрша — в белом халате, с выроставшей прямо из плеч головой, на которой все волосики до единого были одинаково, без оттенков выкрашены в темный цвет, была хмурая особа в не-ряшливых, белых ортопедических башмаках. Согнув квадратную спину, она сосредоточенно ковыряла своими инструментами ногти клиента. При этом она шмыгала носом. Доктор Гранер, видимо, домогался внимания. Внимания этого унылого существа!

Палату заливал яркий солнечный свет. Быть может, не так много раз еще удастся Элие увидеть такой свет. В котором так рельефно вырисовываются очертания обычных человеческих поз. От которого так мало проку было в прошлом. От которого мало чего можно ожидать и сегодня — ибо час уже поздний. Что, если маникюрша вздумает ответить д-ру Гранеру взаимностью? Что, если она ответит на его вожделение? Чего он вожделеет? У м-ра Сэмлера бывали такие бесполезные мгновения абсолютной ясности. Он видел, когда единичное человеческое существо требовало большего, чем сумма известных жизненных фактов могла дать. Такие мгновения были Сэмлеру не по душе, тем не менее они у него случались.

Женщина отодвигала кожу у лунок. Нет, ее душа не поддавалась искушению выйти из своих подземелий. В близости было отказано.

— Дядя Артур, расскажите мне что-нибудь о бабушкином брате в Польше.

— Ты о ком?

— Его звали Хессид.

— Хессид? Хм, Хессид... Да, верно, там были какие-то Хессиды.

— У него была мельница и еще лавка неподалеку от замка. Маленькая такая лавчонка, всего несколько бочек.

— Ты, наверно, что-то путаешь. Я не припоминаю ни одного мельника в нашей семье. Но какая все же у тебя великолепная память. Куда там мне.

— Хессид. Такой благообразный старик с большой белой бородой. Он носил котелок и щегольский жилет с часами на цепочке. Его часто вызывали к Торе, хотя вряд ли он был таким уж крупным вкладчиком в синагоге.

— О, да, синагога. Мм... видишь ли, Элия, я имел очень мало общего с синагогой. Мы с матерью были довольно свободомыслящими. Особенно мать. Она получила польское воспитание. Меня она, как видишь, наградила эмансипированным именем: Артур.

Сэмплер сожалел, что его семейные воспоминания были такими скудными. Поскольку нынешние семейные связи не вполне удовлетворяли его, он охотно помог бы Гранеру воссоздать прошлое.

— Я любил старого Хессиды. Знаете, я был очень привязчивым ребенком.

— Могу себе представить, — сказал Сэмплер. Он почти не помнил Гранера в детстве. Поднявшись, он сказал:

— Ну, не буду тебя утомлять...

— О, вы меня несколько не утомляете. Но у вас, наверно, много дел. В библиотеке. Одну минуту, дядя... я хотел вам сказать, что вы хорошо выглядите. Эта последняя поездка в Израиль совсем на вас не отразилась, а ведь она была не из легких, правда? Вы по-прежнему бегае в Риверсайд Парке, как раньше?

— В последнее время забросил. Что-то ноги плохо гнутся.

— А я как раз хотел сказать, что там опасно бегать. Я бы не хотел, чтобы с вами что-то случилось. Какой-нибудь психованный сукин сын может выскочить из-за кустов, когда вы отдыхаете, и перерезать вам горло! Впрочем, хоть у вас ноги и плохо гнутся, а слабым вас не назовешь. Я знаю, вы не из тех, что страдают всякими болезнями, если не считать ваших нервов. Вы еще получаете ту маленькую сумму из Западной Гер-

мании? А социальное страхование? Знаете, я очень рад, что адвокат все это уладил, с немцами. И вообще, я не хочу, чтобы вы беспокоились, дядя Артур.

— О чем?

— Вообще, ни о чем. Страхование в старости. Дом призрения. Оставайтесь с Марго. Она неплохая женщина. Она за вами присмотрит. Шула, насколько я понимаю, немного увлекающаяся особа. Со стороны это может быть забавно, но родному отцу... Мне-то такие вещи знакомы.

— Да, Марго славная женщина. Лучшего нельзя желать.

— Значит, мы договорились, дядя, никаких беспокойств?

— Спасибо, Элия.

Угрюмая, неловкая пауза, и в грудь, в голову, даже в живот, и куда-то вокруг сердца и в глазные орбиты, — ударяет острая, едкая, жгучая боль. Женщина продолжала полировать Гранеру ногти, а он сидел выпрямившись, в наглухо застегнутой пижамной куртке, из-под которой выступал бинт, скрывающий горло с винтами. Широкое, румяное, в общем красивое лицо; лысина; большеухая простоватость; расширяющийся книзу нос, — Гранер принадлежал к заурядному ответвлению фамильного древа. В этом лице, однако, была сила, и, если опустить чрезмерные требования, то и доброта. Сэммлер знал недостатки сидевшего перед ним человека. Замечал их, как замечают песчинки и пыль на мозаике — мелкий сор, который можно смахнуть. Видел под ногами чистое, благородное выражение. Человек, на которого можно положиться, — человек, который думает о других.

— Ты был добр ко мне и к Шуле, Элия.

Гранер промолчал. Самой своей неподвижностью он как бы отклонил благодарность, которую считал не до конца заслуженной.

Короче, сказал бы Сэммлер, если Земля заслуживает, чтобы ее покинули, если мы будем вынуждены устремиться сейчас к иным мирам, в первую очередь,

к Луне, то это не из-за таких, как ты. Он выразил это более лаконично:

— Я благодарен тебе.

— Вы настоящий джентльмен, дядя Артур.

— Ну, я еще загляну.

— Да, приходите. Мне хорошо с вами.

Закрыв за собой дверь, обитую заглушающей звуки резиной, Сэммлер нахлобучил шляпу а-ля Огастес Джон. Шляпа была куплена в Сохо. Обычным быстрым шагом он прошел по коридору, выставляя вперед правое плечо и правую ногу, все-таки отдавая предпочтение зрячей стороне. Войдя в приемную, — солнечный залив с берегами из оранжевой пластиковой мебели, — он увидел Уоллеса Гранера с каким-то врачом в белом халате. Это был хирург, оперировавший Элию.

— Дядя моего отца — доктор Косби.

— Как поживаете, доктор Косби?

Растрчиваемое попусту очарование сэммлеровских манер. Кто теперь обращает внимание на все эти старомодные европейские штучки! Какая-нибудь дама еще могла бы при случае оценить его манеру здороваться. Но не доктор Косби. Бывшая футбольная звезда, знаменитость Джорджии, поразила Сэммлера своим сходством с человекоподобной стеной. Высоченная и плоская. Загадочно непроницаемое лицо, очень белая кожа. Верхняя губа оттопырена. Но рот при этом — прямой и узкий. Спрятанные за спину руки как бы подчеркивали некоторую неприступность. В нем было что-то от полководца, мысли которого заняты войсками, ведущими кровопролитное сражение за гребнем ближнего холма. С назойливым штафиркой, подошедшим к нему в эту минуту, ему не о чем было разговаривать.

— Как дела у д-ра Гранера?

— Делает 'спехи, м'стер... Прекрасный п'циент...

Д-р Гранер казался им тем, чем хотел казаться. На всякий случай был свой пропагандистский трюк. Демократия — это пропаганда. Пропаганда проникала на все уровни жизни, начиная с правительственного. Ты

имел свою цель, точку зрения, позицию, и ты ее пропагандировал. Трюк срабатывал, все говорили о событии положенными словами, в твоём духе. В данном случае Элия, врач и пациент, дал понять, что он является пациентом из пациентов. Простительная слабость; мальчишество, конечно; ну и что? По-своему это было даже замечательно.

При виде врача Сэмплер тоже ощутил некоторую слабость, свою собственную, ибо он давно уже хотел расспросить о своих недугах. Слабость была, разумеется, подавлена. Но искушение осталось. Ему хотелось рассказать, что он просыпается от гула в голове, что в его зрачем глазу, в самом уголке, образуется какая-то крупинка, которую он никак не может извлечь, и она трется о веко, что по ночам у него нестерпимо горят ступни, что он страдает от зуда в заднем проходе — *pruritis ani*. Врачи не выносят профанов, щеголяющих медицинскими терминами. Разумеется, он запретил себе жаловаться. Даже на тахикардию. Глазам доктора Косби было явлено только слегка задубелое лицо со старческим румянцем. Зимнее яблоко. Пожилой джентльмен, занятый своими мыслями. Дымчатые очки. Шляпа с широкими, сморщившимися полями. Зонтик в погожий день — нелепость. Длинные узкие туфли, потрескавшиеся, но начищенные до блеска.

Не был ли он равнодушен к судьбе Элии? Нет, он был глубоко опечален. Но мог ли он чем-нибудь помочь? Оставалось размышлять и наблюдать.

Как обычно, даже в разгаре беседы, взгляд круглых, темных глаз Уоллеса был мечтательно-отсутствующим. Бесконечно отсутствующим. Его кожа тоже была очень белой. К тридцати годам он все еще оставался Уоли — маленьким братцем с детскими локонами и детскими губами. Несколько неряшливый в своих туалетных привычках, что, пожалуй, тоже свойственно маленьким детям, — в жару от него зачастую пахло сзади. Возможно, у Сэмплера был сверхчувствительный нюх. Едва ощутимый запах небрежно вытертого кала. Внучатого дядю это не шокировало.

Он просто констатировал этот факт — с помощью своей сверхчувствительной регистрирующей системы. В сущности, этот юноша был ему даже симпатичен. Уоллес относился к той же категории людей, что и Шула. Между ними было даже какое-то семейное сходство, особенно в глазах — одинаково круглых, темных, больших, заполнявших большие костные орбиты, способных все замечать, но как бы сквозь дремоту, сонно, словно в наркотическом трансе. Престранный котенок, как говорила Анджела. Он обсуждал с доктором Косби спортивные новости. Уоллес не был способен относиться к чему-либо с нормальным интересом. Любой интерес становился у него ненормальным. Он приходил в лихорадочное возбуждение. Лошади, футбол, бейсбол, хоккей. Он знал все показатели, рекорды, статистику. Его можно было проверять по справочнику. Д-р Гранер рассказывал, что он способен засиживаться до четырех утра, заучивая всевозможные таблицы и с невероятной быстротой делая заметки левой рукой. При всем при том — высокий лоб интеллектуала, хотя чуточку педоморфный, изящный, но несколько коротковатый нос, немного излишне вогнутая средняя часть лица, и выражение ума, силы, достоинства, — чем-то слегка подпорченные. Уоллес едва не стал физиком, едва не стал математиком, едва не стал адвокатом (в свое время он даже ухитрился сдать экзамен и открыть контору), едва не стал инженером, едва не стал доктором социологии. Он имел летные права. Он чуточку не дотягивал до алкоголика, чуточку до педераста. В настоящее время он, по-видимому, играл на скачках. В руках он держал желтые листки бумаги стандартного формата, испещренные названиями заездов и условными значками, над которыми он колдовал вместе с доктором Косби, тоже, видимо, заядлым болельщиком; при этом доктор был очевиднейшим образом восхищен, а не просто терпеливо-снисходителен. Стройный, в темном костюме, Уоллес был очень красив. Молодой человек со сногшибательными способностями. Это озадачивало.

— Не ошибаетесь ли вы насчет Розовой Чаши? — спросил доктор.

— Ни в коем случае, — возразил Уоллес. — Вы только гляньте на эту раскладку по ярдам. Я рассортировал все прошлогодние результаты и подставил их в свою формулу, вот, посмотрите...

Из всего разговора это было единственное, что Сэмлер сумел понять. Он ждал, глядя в окно на машины, на женщин с собачками на поводках и без поводков. Напротив, через дорогу, — пустой дом, предназначенный к сносу. Большие белые косые кресты на оконных стеклах. На витрине бывшего ателье кто-то жирно нарисовал мелом не то причудливые фигурки, не то какие-то значки. Большинство уличных надписей не заслуживало внимания. Эти почему-то показались м-ру Сэммлеру уместными. Выразительными. Что они выражали? Приближающееся небытие. (Элия!). Но одновременно — величие той вечности, в которую мы вознесемся из нашего нынешнего прозябания. В данный момент силы, способные увлечь человечество ввысь, увлекали его вниз. На более утонченные жизненные цели почти ничего не оставалось. Страх перед возвышенным приводил всех в иступление. Потенции, впечатления, провидения, напластованные в человеческих существах с изначальных времен, с того момента, быть может, когда в толще материи впервые затлела искра сознания, тонули в суете, в отрицаниях и обнаруживали себя лишь в бесформенных значках или числах, начертанных на окнах обреченных магазинов. Конечно же, все боялись будущего. Не смерти. Не этого будущего, в котором вся душевная жизнь была обречена на вечное бытие. М-р Сэммлер был убежден в этом. А пока что можно было оправдаться невменяемостью. Целый народ, все цивилизованное общество претендовало на неподсудную невменяемость. На удобную, почти благородную невменяемость. А пока что за всех говорили с витрины старого портновского ателье напротив жирные петли и кривульки.

Интерес к загадочным письмам и знаменам впер-

вые появился у Сэмлера в Польше, во время войны, особенно в те три—четыре месяца, что он скрывался в склепе. В то мертвое лето, а позднее осень, он наивно, как ребенок, вглядывался в зловещие знаки предзнаменований, ибо жизненно важные смыслы были запечатлены на всем, и любая травинка, нить паутины, пятнышко на листе, жучок или воробей настоятельно требовали разгадки. Повсюду были символы и метафизические послания. В этом склепе, принадлежавшем роду неких Межвиньских, Сэмлер жил, так сказать, на полном пансионе. Довоенный кладбищенский сторож снабжал его хлебом. А также водой. В иные дни он не появлялся, но таких дней было не много, и к тому же Сэмлер всегда оставлял немного хлеба про запас, так что голодная смерть ему не грозила. На старого Чеслякевича можно было положиться. Хлеб он приносил в шапке. От хлеба пахло его волосами, его кожей. И все это время какая-то едва уловимая желтизна была разлита повсюду, даже небо было желтоватого цвета. То был рассеянный свет дурных предвестий — для самого Сэмлера, для всего рода человеческого, невеселая правда об истинном смысле бытия. Невыносимая и порой подавляющая. В наихудшем варианте такая: ты призван существовать. Призван из глубин материи. И потому ты существуешь. Вполне возможно, что весь этот грандиозный, всеобъемлющий план, принадлежит ли он Творцу или кому-то другому, безымянному пока, полон смысла, но ты сам — не более чем частный случай, обреченный на страдание и неприкаянность в этом окрашенном желтизной отчаянии. Но почему? Так положено! И вот он лежал и ждал. Это была лишь малая часть того, что он передумал за время, проведенное в кладбищенском пансионе. Возможно, не самое подходящее время для размышлений, но что еще оставалось делать? Событий не было. События прекратились. Новостей не было. Чеслякевич, его спаситель, старый калека с некрасивыми голубыми глазками, с вислыми усами, с распухшими ладонями, либо не знал их, либо не хотел сообщать. Чеслякевич риско-

вал ради Сэмлера жизнью. В этом было что-то необъяснимое. Они не нравились друг другу. Да и чем ему мог нравиться Сэмлер, который выполз из лесу полуголый, иссохший от голода, с обожженными волосами и бородой? Надо полагать, только многолетнее общение с трупами, возня с человеческими скелетами подготовила сторожа к такому появлению. Он привел Сэмлера в склеп Межвиньских, принес ему какие-то лохмотья прикрыть наготу. После войны Сэмлер посылал Чеслякевичу деньги, посылки. Он переписывался с его семьей. Позже, спустя несколько лет, в ответных письмах стали проскальзывать антисемитские нотки. Без особой злости. Просто натура брала свое. Это не было так уж неожиданно, разве что поначалу. В жизни Чеслякевича был свой звездный час достоинства и милосердия. Он рискнул жизнью, чтобы спасти Сэмлера. Старый поляк тоже был своего рода героем. Однако времена героизма миновали. Он был заурядным человеческим существом и хотел снова стать самим собой. Что было, то было. Разве он не имеет права быть самим собой? Отдохнуть в лоне давних предрассудков? Только так называемая "мыслящая" личность с ее исключительными требованиями все не может успокоиться: ответственность перед "цивилизацией", "высшие ценности", и все такое. Только Сэмлеры тщетно пытаются исполнить некий символический долг. В итоге это приносило беспокойство, подставляло под удары. В характере м-ра Сэмлера было нечто символическое. Он и сам, лично, был символом. Знакомые и родственники сделали из него нечто вроде судьи или исповедника. Что же он, собственно, символизировал? Он даже представить себе не мог. Может, все дело в том, что он остался в живых? Он даже этого не свершил, поскольку в значительной мере потерял прежнего себя. Он не остался в живых, он всего лишь сохранил жизнь. Он продолжал эту жизнь влачить. Возможно, его хватит еще на какое-то время. По всей видимости, дольше, чем Гранера с его винтом или зажимом в горле. Таким способом

смерть надолго не отсрочишь. Один случайный прорыв красной жидкости, и человека нет. Со всеми его вожделениями, целями, добродетелями, репутацией хорошего врача, полезными начинаниями, карточными играми, преданностью Израилю, неприязнью к де Голлю, со всем его бескорыстием и корыстолюбием, с его ртом, приспособленным для изречения страстных банальностей, с его разговорами о деньгах, с его еврейским отцовством, с его отцовской любовью и отцовским отчаянием. А ему, Сэммлеру, взамен кончившейся или отнятой у Гранера жизни — этой жизни, той жизни, прежней жизни — ему, пока он влачил существование, оставалась та мифическая реальность, тот желтый свет польского летнего зноя за дверью склепа. Такой же желтый свет был в той комнате с китайским сервантом, где он мучился с Шулой-Славой. Нескончаемые, наполненные минутами часы, когда душа непрерывно гложет себя изнутри. Гложет из-за отсутствия связи между явлениями жизни. Возможно, в наказание, что ей не удалось обнаружить эту связь. Или то сдает душу томление по священному? Да, да, поди, сыщи священное в мире, где все только и знают, что убивать друг друга. Где убили Антонину. Где убили его самого, рядом с его женой. Где он и еще шестьдесят—семьдесят таких же, как он, раздетые догола, вырыв собственную могилу, падали в нее, расстрелянные в затылок. Тела других — на его теле, раздавливая его. Где-то рядом труп жены. Он выбирался потом из-под горы трупов, выползал из рыхлой земли. Обдирая живот. Прячась в сарае. Отыскав какие-то лохмотья прикрыть наготу. Лежа в лесу много дней подряд.

Теперь, почти тридцать лет спустя, в апрельские дни, в солнечном блеске, в начале весны, совсем иного времени года, в Нью-Йорке, многолюдном и суматошном почти по-весеннему; опираясь на спинку мягкого, под кожу, оранжевого дивана; стоя на темно-коричневом с желтыми, как клеточные ядра (с веретенцами митоза) вкраплениями, финском ковре; он глядел вниз на

улицу; а там, на улице, — на витрину ателье, где дух вечности, не сознающей собственного назначения, мальчишеской рукой начертал свое пророчество.

Быть может, мы просто безумцы?

Тому полно доказательств.

Похоже, все изобрели мы сами. Включая безумие. Скорее всего безумие — это очередной ублюдок нашей чудовищной изобретательности. На данном этапе человеческой эволюции утвердились взгляды (Сэммлер был ими частично поколеблен), согласно которым выбор сузился до двух вариантов: святость или безумие. Либо мы безумны, коль скоро не святы, либо мы святые, коль скоро возвышаемся над безумием. Гравитационное поле массового безумия катастрофически засасывает святых. Немногие только понимают, что способность каждодневно и немедленно выполнять свой долг и делает из человека героя и праведника. Но теперь мало кто так думает. Большинство рассчитывает достичь духовных вершин лишь на том основании, что полагает себя достаточно для того безумным.

Взять хотя бы Уоллеса Гранера. Врач удалился, и Уоллес, со своими желтыми бумажками, картинно и одиноко стоял посреди комнаты, — стройный, изящный, опустив длинные ресницы. Какой долей рассудка, какой душевной устойчивостью готов пожертвовать такой Уоллес ради благодатного безумия?

— Дядя?

— Извини, Уоллес, я задумался.

Одни оригинальничали, другие притворялись. Уоллес, по всей видимости, был действительно не в себе. Ему надо было сделать героическое усилие, чтобы заинтересоваться будничными вещами. Потому-то, вероятно, спортивная статистика приводила его в такое лихорадочное возбуждение, потому-то он и казался вечно витающим в облаках. *Dans la lune* — на луне! Что ж, по крайней мере, он не усматривал в Сэммлере никакого символа и явно не нуждался в священниках, судьях и исповедниках. Уоллер говорил, что в дяде Сэммлере он ценит остроумие. Сэммлер бывал порой

едко остроумен, особенно, если был раздражен, возмущен, или чем-то задет. Остроумен в старомодном европейском стиле. Зачастую это предвещало приближение нервного припадка.

Начиная разговор с Сэммлером, Уоллес заранее расплывался в улыбке и время от времени повторял самые меткие словечки сэммлеровских острот.

— Не достаточно круглый дурак, а, дядя?!

Говоря о себе, Сэммлер однажды обронил:

— В одних случаях я более глуп, в других — менее глуп; я, видимо, дурак не достаточно круглый.

Или другой, самый свежий трофей Уоллеса:

— Биллиардный стол, а, дядя?! Биллиардный стол!

Это относилось к путешествию Анджелы в Мехико. К ее неудачным мексиканским каникулам с Хоррикером. В январе ей вдруг опостылел Нью-Йорк с его зимой. Ей захотелось в Мексику, в какое-нибудь жаркое место, где можно увидеть зелень. Сэммлер тотчас же, не задумываясь, предложил:

— Жаркое место? И зелень? Биллиардный стол в аду тебе подходит?

— Ух! Вот это удар! — воскликнул Уоллес.

Всякий раз он допытывался у Сэммлера, точно ли ему передали слова. Сэммлер улыбался, маленькие щечки вспыхивали, он категорически отказывался повторять свои остроты. Уоллес не отличался остроумием. Никто не повторял его острот. Но кое-какой набор подвигов у него был, он то и дело затевал какие-нибудь диковинные авантюры. Несколько лет назад он отправился в Танжер с намерением купить там лошадь и объездить верхом Марокко и Тунис. Свою машину он оставил дома, заявив, что жизнь отсталых народов следует изучать только с высоты лошадиного крупа. Он брал у Сэммлера почитать "Силу и свободу" Буркхардта, и был здорово потрясен. Он захотел увидеть народы, находящиеся на разных стадиях развития. В Испанском Марокко его ограбили в гостинице. Какой-то тип с револьвером спрятался у него в номере, в стенном шкафу. Тогда он отправился в Турцию, еще

раз попытать счастья. Каким-то чудом ухитрился пробраться на своей лошади в Россию. В советской Армении он был задержан. Гранеру пришлось раз пять или шесть побывать у сенатора Джавитса, прежде чем Уоллеса выпустили из советской тюрьмы. В другой раз, уже снова в Нью-Йорке, он пригласил какую-то девушку посмотреть фильм "Роды". В самый главный момент ему стало плохо, он стукнулся головой о спинку кресла и потерял сознание от удара. Очнулся он уже на полу. Девушка, шокированная его поведением, пересела на другое место. Он устроил ей скандал из-за того, что она его бросила. Одолжив однажды отцовский роллсройс, Уоллес ухитрился его потерять; небрежно припаркованная, машина была обнаружена, в конце концов, на дне пересохшего бассейна вблизи Кротона. Он нанимался водителем на рейсовый городской автобус, чтобы расплатиться с долгами. Мафия охотилась за ним. Букмекер назначил ему два месяца для уплаты по вексялям. Ничего не помогало. С каким-то приятелем он слетал в Перу, чтобы вскарабкаться на Анды. Говорили, что он вполне приличный пилот. Он приглашал Сэммлера слетать с ним ("Спасибо за приглашение, Уоллес, но боюсь, что не смогу"). Он записался добровольцем в американский Корпус Мира. Ему хотелось сделать что-нибудь полезное для маленьких черных детишек. Например, стать баскетбольным тренером.

— Уоллес, что говорит врач, какие прогнозы?

— Хочет сделать еще раз рентген головы.

— Планирует операцию на мозге?

— Если увидят, что можно добраться до нужного места. Оно может оказаться недоступным. Понятно, что недоступно, то недоступно.

— Посмотреть на него, ни за что не подумаешь. Он так хорошо выглядит...

— Мда... — сказал Уоллес. — А почему бы нет?

Сэммлер только вздохнул. Легко было представить, как восхищал покойную миссис Гранер ее отпрыск, его кудрявая, прекрасной формы голова, его длинная

шея, его тонкие брови, короткая четкая линия его носа и безупречная линия зубов — продукт умелой ортодонтии.

— Это наследственная штука — все эти аневризмы. Человек уже рождается с тонкими стенками сосудов. У меня тоже могут быть тонкие стенки. И у Анджелы, хотя я сомневаюсь, что в ней есть хоть одно тонкое место. Из-за этой штуки куча народу умирает, и молодые тоже, во всем остальном совершенно здоровые. Идет себе по улице этаким здоровяк, красавчик, живчик, и тут у него эта штука — бац! — взрывается где-нибудь внутри. И конец. Сначала вздувается такой пузырь. Вроде как горло у ящерицы. А потом — конец. Ну, вы-то на своем веку, наверно, все это уже видели.

— Даже для меня в этом всегда есть что-то новое.

— Слушайте, как я намучился с этим воскресным кроссвордом! Вы его не смотрели?

— Нет...

— Но ведь вы, бывает, смотрите.

— Марго не принесла мне "Таймс".

— Потрясающе, сколько вы слов знаете.

Несколько месяцев подряд Уоллес занимался адвокатурой. Контору для него снял отец, о мебелировке позаботилась мать, пригласив для этого интерьерщика от Крозе. Целых шесть месяцев Уоллес исправно вставал поутру, как самый заурядный обладатель сезонки, и отправлялся на службу. Но служба его, как выяснилось, состояла в том, что, запершись в кабинете, отключив телефон и удобно устроившись на кожаном диване, он усердно решал кроссворды. Это была вся его работа. Впрочем, нет, — у него было еще одно занятие: он расстегивал блузку стенографистки и рассматривал ее груди. Эти сведения поступили от Анджелы, которая, в свою очередь, получила их от самой девицы. Почему эта девица не возражала? Может быть, она полагала, что это — прелюдия к замужеству? Возлагать надежды на Уоллеса? Ни одна здравомыслящая женщина не стала бы. Впрочем, его интерес к грудям был, по всей видимости, строго научным. Что-то там насчет

сосков. В духе Жан-Жака Руссо, который однажды в Венеции так увлекся, рассматривая груди какой-то проститутки, что та выгнала его вон, посоветовав заниматься математикой. (Ах, этот дядюшка Сэмплер со своей европейской культурой — такой начитанный!)

— Не люблю я этих составителей кроссвордов, — продолжал Уоллес. — У них какие-то низкопробные мозги. На черта человеку запоминать всю эту труху? Все это — трухлявое восточноамериканское образование. Хитрожопые вундеркинды из Колумбийского университета с их разнообразными познаниями. Я даже пытался вам дозвониться из-за какого-то старинного английского танца. Я ничего не мог придумать, кроме джиги, рила и волынки. А этот паршивый танец начинается на "м".

— М? Может быть, моррис?

— Черт! Конечно, моррис! Клянусь богом, у вас котелок еще что надо. Как вы ухитряетесь все это помнить?

— Это из Мильтона. В трепетном моррисе навстречу луне...

— Ужасно мило. Нет, правда, здорово красиво — трепетный моррис...

— "Навстречу луне в трепетном ритме морриса..." Я полагаю, он имел в виду рыб, косяки рыб в океане, и сам океан, раскачивающийся в танце.

— Слушайте, это восхитительно. Вот что значит правильно жить, — можно помнить такие славные штуки. Вы себе не забываете голову всем этим идиотским бизнесом. Вы старик первый сорт, дядя Сэмплер. Вообще-то я стариков недолюбиваю. Я вообще мало кого уважаю — ну, может, парочку-другую физиков-теоретиков. Вы другое дело. Вы, правда, слегка отшельник, но зато у вас чувство юмора! Единственные шутки, которые я пересказываю, — это ваши. Кстати, я хотел проверить, правильно ли мне передали ту, насчет де Голля? Значит, сначала он говорит — не хочу, мол, чтоб меня хоронили под Триумфальной аркой, рядом с каким-то неизвестным, верно?

— Пока что верно.

— Отец имеет к де Голлю претензии, потому что он нянчится с арабами. А мне нравится, что он, как памятник. А дальше он, значит, не захотел во Дворец инвалидов, потому что Наполеон был всего лишь капралишка, да?

— Угм...

— А израильтяне запросили с него сто тысяч за место в гробу господнем...

— В этом вся соль.

— А де Голль, значит, возьми и скажи: что? за трое суток? это уж чересчур! "*Pour trois jours?*" Он собирался через трое суток воскреснуть, верно? Зверски смешно, по-моему. (Авторитетное мнение Уоллеса). Поляки любят рассказывать анекдоты.

У него не было никакого чувства юмора. Просто иногда ему удавалось посмеяться.

— Победенные пытаются отыгаться на остроумии.

— А вы, пожалуй, не очень любите поляков, дядя?

— Я думаю, в целом я люблю их больше, чем они меня. Кроме того, некий ясновельможный пан однажды спас мне жизнь.

— И Шула была в монастыре.

— Да, и это. Ее спрятали монахини.

— А помните, как-то у нас, в Нью-Рошели, Шула явилась в гостиную в одной ночной сорочке, а ведь ребенком ее никак нельзя было назвать, было ей тогда лет двадцать семь, не меньше, стала перед всеми на колени и начала молитву читать... Она по-латыни читала? Ну, все равно, сорочка у нее была зверски прозрачная. Я думаю, она хотела разозлить вас этими своими христианскими штучками. Все-таки это непристойно, ведь правда, в еврейском доме? Уж эти мне евреи! Она и сейчас христианка?

— Время от времени, на пасху и рождество.

— И пристаёт к вам с Уэллсом! Впрочем, отцы всегда снисходительны к дочерям. Вон как мой носится с Анджелой. Денег ей дает раз в десять больше, чем мне. Потому что она напоминает ему Мэй Уэст. Он

всегда таял, как видел ее сиськи. Сам не замечал. Ну, мы-то с матерью все видели.

— Как ты думаешь, Уоллес, что будет?

— Вы имеете в виду старика? Он не вытянет. Два шанса из ста. Что толку в этом винте!

— Он борется...

— Рыба тоже трепыхается. С крючком в жабрах. Потом ее выдергивают на тот свет. Она все равно что захлебывается воздухом.

— Это ужасно, — сказал Сэммлер.

— И все-таки есть такие, что ничего не имели бы против смерти. Уверен, что многие предпочли бы умереть, если их жизнь пошла насмарку. Я так думаю, что пока твои старики еще живы, они как бы заслоняют тебя от смерти. Им ведь положено умереть раньше тебя, так что ты вроде как в полной безопасности. Но стоит им умереть, ты следующий — и уже впереди тебя в очереди никого нет. А про себя я уже вижу, что увлекаюсь и качусь по наклонной плоскости куда-то не туда, и знаю, что потом мне придется за это расплачиваться. Я не лучше других, нравится мне это или нет... — Он снова задумчиво-рассеянно замолчал, — м-р Сэммлер угадывал в нем сейчас тяжкую, непослушную работу мысли. — Я все думаю, чего бы это д-р Косби проявил такой интерес к футбольным ставкам?

— А ты?

— Теперь уже не так, как раньше. Отец ему все уши прожужжал, какой я знаток профессионального футбола. И любительского тоже. Для меня это теперь дело прошлое. Но отец так меня расписывал хирургу, словно мной торговал, чтобы я мог ему на что-то сгодиться, и мы все стали бы тогда закадычными друзьями.

— А у тебя теперь уже другие интересы?

— Да. Мы с Фефером затеяли тут одно дельце. Я теперь ни о чем другом не могу думать.

— А, Фефер! Он бросил меня в университете, и с тех пор я его так и не видел. Мне даже показалось, что он хотел на мне заработать.

— Жутко изобретательный деляга! Кого угодно надует. Хотя вас вряд ли. Мы с ним задумали что-то вроде фирмы. Фотографирование загородных вилл с самолета. Потом наш агент приходит с фотографией — не с негативом, а с полностью проявленным снимком — предлагает сделку на месте. Мы определяем вид и породу всех деревьев и кустиков и развешиваем на них таблички с названиями — по-английски и по-латыни, как полагается. Владельцы вилл, как правило, плохо разбираются, что у них растет на участке.

— Фефер знает ботанику?

— Выпускника с ботанического можно нанять в каждом месте. В Лармасте, например, есть одна с дипломом Вассара.

М-р Сэммлер не мог сдержать улыбку:

— А Фефер тут же бы ее соблазнил. И хозяйку виллы в придачу?

— Ну уж нет. Я присмотрю, чтобы он не отбилсЯ от рук. У меня есть управа на этого типа. Зато чтобы что-нибудь кому-нибудь всучить, тут он мастер. Лучше всего начать это дело весной. Прямо сейчас. Пока листва еще не очень густая и не будет мешать аэроосекам. А летом можно было бы снимать с моря — Монток, Чильмарк, Узльфлит, Нантукет. Но отец не хочет дать денег.

— Большая сумма?

— Самолет и оборудование? Порядочная.

— Вы хотите купить самолет?

— Брать на прокат не имеет смысла. Когда покупаешь, часть налога списывается — на амортизацию. В бизнесе весь фокус — заставить правительство платить за твой риск. В компании с отцом мы могли бы сэкономить по 70 центов на доллар. Налоги — это смертоубийство. В свое время, когда мать умерла, отец не стал заполнять требование на возврат вдовьей части, и теперь он не считается главой семьи. Но он не хочет выдать мне крупную сумму единовременно. Все положено на мое имя так, чтобы я мог получать только проценты. А те деньги, что у меня были, я просадил на ателье.

— Я думал, это было казино. В Лас-Вегас.

— Нет, то был мотель. Мы собирались сделать там магазин одежды, мужское ателье.

Каким неистовым модельером и украшателем мужских форм мог бы сделаться Уоллес!

— Мы могли бы включить вас в нашу платежную ведомость, дядя Артур. Фефер не возражает. Вы же знаете, он к вам хорошо относится. Если вы сами не хотите, мы можем начислить Шуле по пятьдесят бумажек в месяц.

— А что за это? Ты хочешь, чтобы я поговорил с твоим отцом?

— Используйте свое влияние на него.

— Нет, Уоллес. К сожалению, не могу. Подумай сам, что с ним сейчас происходит. Это страшно. Я просто в ужасе.

— Он вовсе не будет переживать. Ну, будете вы с ним говорить, не будете, он же все равно об этом думает. Что так шестерка, что эдак полдюжины. У него все равно все мысли этим заняты.

— Нет, нет...

— Ладно, не хотите, не надо. Тогда у меня к вам другая просьба. У нас дома, в Нью-Рошели, спрятаны деньги. Где-то в доме.

— Не понял!

От любопытства, неловкости Сэмmlер даже повысил голос.

— Спрятаны деньги. Солидная куча. Незаявленная.

— Не может быть...

— Еще как может, дядя. Вас это удивляет? О, конечно, если бы человек внутри был не сложнее арбуза — красная мякоть, черные семечки. Отец иногда делал операции, оказывал услуги всяким важным особам. Выскабливал их дам. Только в самом крайнем случае, не иначе, — ну, например, какая-нибудь богатая наследница забрюхатела — катастрофа! Строжайшая тайна. Исключительно из жалости. Он ужасно жалел всю эту знать, так что заработал на ней солидную кучу монет.

— Уоллес, послушай. Мы должны поговорить откровенно. Элия хороший человек. Он при смерти. Ты его сын. Тебя приучили думать, будто для своего блага ты должен свергнуть отцовское иго. Я знаю, у тебя были свои неприятности в жизни. Но не пора ли уже расстаться с этой обветшалой теорией капиталистически-психологически-семейной борьбы поколений? Я говорю с тобой откровенно, потому что ты достаточно умен. Ты в своей жизни занимался самыми неожиданными вещами. Тебя нельзя назвать занудой. Но ты можешь стать занудой, если вовремя не остановишься. Сейчас тебе представляется возможность с честью уйти в отставку, сохранив массу интересных воспоминаний. Попробуй что-нибудь другое.

— Ну, что ж, вы вежливый человек, дядя Сэмmlер. Это мне известно. И вдобавок, вы вроде стороннего наблюдателя. Как будто вы смотрите на жизнь со стороны. Но вы миритесь с человеческими слабостями и штучками. Просто по причине своей старомодной польской воспитанности. Ладно, у меня к вам есть один практический вопрос. Чисто практический.

— Что это значит — практический?

— Отец спрятал в доме некую сумму долларов и не хочет сказать, где. Он недоволен нами. Не я, а он ведет капиталистически-психологически-семейную войну. Вы совершенно правы — зачем человеку сжигать себя в этой нервотрепке? В жизни есть более достойные цели. Я вовсе не думаю, что идеалы — это бред собачий. Я далек от этого. Но вы поймите, дядя, если бы у меня был самолет, я бы мог всю оставшуюся часть жизни посвятить изучению философии. Я бы мог закончить свою диссертацию по математике. Вы только послушайте. Люди подобны простым целым числам, понимаете?

— Нет, Уоллес, решительно не понимаю.

— Числа ведь тоже имеют важное значение для людей. Ряд чисел — это как ряд людей, бесконечный ряд индивидумов. Свойства чисел схожи со свойствами материи, в противном случае математические формулы

не могли бы нам растолковать, что материя может и что она хочет. Математические формулы ведут нас к физическим реальностям. Теперь понимаете?

— Весьма смутно.

— Формулы предшествуют реальным наблюдениям. Что нам нужно, — это какая-нибудь аналогичная система математических обозначений для людей. Что есть Единица в такой системе счисления? Какой знак соответствует человеческой цело-численности? Видите, вы заставили меня говорить с вами на серьезные темы. Но в данную минуту я хочу вернуться к тому своему вопросу. В доме есть деньги. Я думаю, они спрятаны в фальшивых трубах на чердаке. Отец однажды нанимал водопроводчика из мафии. Я знаю. Вам достаточно только намекнуть на трубы или на чердак, когда вы будете в следующий раз с ним говорить. И посмотреть, как онотреагирует. Может, он надумает рассказать вам. Мне не хотелось бы рушить из-за этого весь дом.

— Нет, решительно нет, — сказал Сэмплер.

Что есть Единица?

3

Домой.

Со Второй авеню доносилось весеннее шарканье роликовых коньков по гулким выщербленным тротуарам, была в нем успокоительная резкость. Выбравшись из нового Нью-Йорка с его многоквартирными громадами в старый Нью-Йорк особняков и чугунных оград, Сэмплер увидел тюльпаны и нарциссы сквозь крупное чугунное кружево; глянцевитые зевы цветов были распахнуты, налет копоты уже лежал на их чистой желтизне. В этом городе можно было бы зарабатывать, нанявшись мойщиком цветов. Вот, пожалуй, еще одна неиспробованная возможность для Уоллеса и Фефера.

Он обошел разок Стайвесант Парк, прошел по эллипсу внутри квадрата вокруг статуи колченогого голландца. Углы квадрата щетинились кустами. На каждом четвертом шагу Сэмплер постукивал по плиткам металлическим наконечником зонта. Подмышкой у него была рукопись доктора Говинды Лала. Он взял ее с собой, чтобы читать в метро, хотя он не любил привлекать к себе внимание: читая, он водил перед страницей зрячим глазом, заламывал мешающие поля шляпы, на лице появлялось выражение крайней сосредоточенности. Он редко позволял себе читать в метро.

Опустите перпендикуляр с луны. Пусть он пересечет могилу. Там внутри лежит человек, еще недавно такой ухоженный, лелеемый, с маникюренными ногтями. Но уже появились эти грубые радужные пятна. Гниение, распад. М-р Сэмплер был когда-то в более простых отношениях со смертью. А теперь он сдал, потерял почву под ногами. Он был сейчас полон своим племянником, человеком, несколько на него не похожим. Он восхищался им, любил его. И никак не мог справиться с полной суммой фактов о нем. Иные, далекие образы, приходили на помощь — луна безжизненная и бессмертная. Белая жемчужина, тронутая гниением. Увиденная единственным глазом как единственный глаз.

Сэмплер уже научился ходить осторожно по дорожкам нью-йоркских парков, неизменно загаженных собаками. На лужайках, окаймленных чугунными перилами, зеленый свет травы был пригашен, выжжен собачьими экскрементами. Почки на сикоморах, прелестных, коричнево-белых, с шелушащейся корой, были готовы взорваться свежими листьями. Красный кирпич — Семинария Друзей, а рядом коричневый шершавый теплый камень, — крупное, угловатое, солидное здание Епископальной церкви Святого Георгия. Сэмплер слышал, что Дж. Пирпонт Морган Первый был здесь служкой в начале своего пути. В той Австро-Венгерско-Польско-Краковской старине старики, читавшие о Моргане в газетах, почтительно называ-

ли его Пиперноттер-Морган. По воскресеньям в церкви Св. Георгия бог биржевых маклеров мог перевести дух посреди бушующего города. Мистера Сэмлера раздражало, что Белая Протестантская Америка не умеет поддерживать настоящий порядок. Трусливая капитуляция. Правящий класс недостаточно силен. Втайне жаждет опуститься на дно и смешаться с разноцветной чернью и орать вместе с ней против самого себя. А священники? Перековывают мечи на орала? Как же! Скорее перекраивают собачьи ошейники на орденские ленты. Но эти рассуждения ни к чему.

Осторожно, надо следить, куда ступаешь (собаки!), надо найти скамью для десятиминутной передышки, чтобы посидеть и подумать — или стараться не думать — о Гранере. И возможно, невзирая на глубокую печаль, прочесть несколько страниц этой захватывающей рукописи.

Он подметил девку-пьянчужку, похрапывающую на скамье, словно дюгонь — мерно вздымающееся тюленье брюхо, набрякшие сизые ноги, над ними короткая юбка, мини-тряпка. В углу возле ограды парень-пьянчужка с обиженным видом писал на обрывки газет и прошлогодние листья. Полицейские теперь редко обращали внимание на этих старосветских нарушителей. Юные жители этого района богачей тоже были здесь. Босоногие парни, похожие на бомбейских нищих — всклокоченные бороды, роскошная волосня, струящаяся от самых ноздрей, головы торчат из шерстяных пончо, скорей всего перуанских, совсем дикари! Невинные, начисто лишенные агрессивности, избравшие неучастие, последователи быка Фердинанда. Не надо им никакой корриды, им только бы нюхать цветочки под сенью пробкового дерева. Как они напоминают злоев из фантастической "Машины времени" Герберта Уэллса. Прелестное молодое человеческое стадо под надзором людоедов-морлоков, которые живут под землей, боясь огня и света. Да, у этого храброго скандального старикашки Уэллса все-таки бывали пророческие провидения. Был какой-то смысл в кам-

пани Шулэ за мемуары. Мемуары действительно следовало бы написать. Но оставалось слишком мало времени для неторопливого рассказа о том, о сем, о вещах в общем довольно любопытных, например об Уэллсе, который в семьдесят восемь лет все еще рвался стать членом Королевского Общества — но его работа (о земляных червях, что ли?) была для них неприемлема. Нет, не о земляных червях. "О роли иллюзий в продолжительности жизни в эпоху Верхнего Мезозоя". Они не приняли его в члены. Но чтобы раскопать все это, понадобились бы недели, а у Сэмлера уже не оставалось свободных недель. У него были другие обязательства — первостепенные.

Ему по сути не следовало бы читать и этих страниц, на которых Говинда Лал выводил старомодные каллиграфические литеры бронзовыми чернилами. Он писал готическим шрифтом. Но м-р Сэмлер, повидавший в жизни слишком много, все еще не в силах был противостоять настоящим искушениям. На странице семидесятой Лал принялся рассуждать об организмах, способных адаптироваться в лунных условиях. Неужели нет растений, которые могли бы произрастать на лунной поверхности? Необходимы вода и окись углерода, необходимо выдержать перепады температуры. По мнению Говинды, лишайники могли бы подойти для этого. А также некоторые представители семейства кактусовых. Наивыгоднейший вариант — успешная помесь кактуса с лишайником. Это растение, конечно, должно показаться человеку странным. Но возможности природы даже в наши дни немыслимо разнообразны. С какими только странностями не приходилось уже сталкиваться? Кто знает, что еще скрывают глубины морей? Какие еще там быть могут существа — единичные представители неведомых пород? Какое-нибудь фантастическое чудовище, сумевшее приспособиться к условиям на двадцатимильной глубине? Стоит ли удивляться, говорит Говинда, что человек придает столь важное значение всем реализуемым возможностям и столь страстно стремится оторваться от поверхности

земли? Ведь воображение — это врожденное биологическое преодоление непреодолимых ситуаций.

М-р Сэммлер оторвался от книги, почувствовав, что кто-то поспешно приближается к нему. Он увидел Фефера. Как всегда, куда-то спешит. Фефер становился тучен, ему бы не мешало похудеть. У него были какие-то неприятности с позвоночником, по временам ему приходилось носить гибкую ортопедическую сбрую. Крупный, с яркими щеками и с прямым носом, с пышной волнистой бородой Франциска I, Фефер всегда словно вынуждал свое тело, свои ноги к непрерывной спешке. Все бегом, все срочно! Его руки, неловкие и розовые, всегда были выставлены вперед, словно он опасался столкновения с другим стремительным движением. Его карие глаза напоминали миндалины. Когда он постареет, в уголках этих глаз накопится много зарубок.

— Я так и думал, что вы остановитесь тут на минутку, — сказал Фефер. — Уоллес сказал, что вы только что ушли, вот я и пустился вдогонку.

— Вот как? Что ж, солнце славно светит, и я не так уж спешу лезть в подземку. Я не видел вас с той лекции.

— Это правда. Меня тогда срочно вызвали к телефону. Но мне сказали, что вы были неподражаемы. Я искренне извиняюсь за поведение некоторых студентов. Вот вам мое поколение! Я, честно говоря, даже не знаю толком, были ли это студенты, или просто хулиганы, — знаете, эти... воинствующие отщепенцы. Во всяком случае они были не из тех, что заваривают кашу. Все лидеры обычно постарше. Но Фанни позаботилась о вас, правда?

— Эта молодая леди?

— Я ведь не просто сбежал. Я попросил девочку позаботиться о вас.

— Ах, вот как! Она ваша жена?

— Нет, нет. — Фефер поспешно улыбался и поспешно бросал слова, присев на краешек скамьи, словно готовясь немедленно взлететь. На нем был темно-синий

двубортный бархатный пиджак с крупными перламутровыми пуговицами. Рука его лежала на спинке скамьи, любовно касаясь плеча м-ра Сэмлера. — Нет, не жена. Просто знакомая, за которой я присматриваю, ну, и трахаю иногда.

— Вот как. Все это было так стремительно. Меня поражает нечто электронное в ваших отношениях с людьми. Все же вам не следовало уходить. Я был вашим гостем. Впрочем, я боюсь, вам уже поздно учиться правилам хорошего тона. А девочка была очень мила. Она помогла мне выбраться из зала. Я ведь не рассчитывал на такую большую аудиторию. Я подумал, что вы неплохо на мне заработали.

— Я? На вас? Ни за что. Поверьте мне, на вас, — ни за что. Сбор был в пользу черных детей, как я уже говорил вам. Вы должны мне верить, м-р Сэмлер. Я бы не стал на вас делать деньги, я слишком вас уважаю для этого. Может, вы этого не знаете, а может, вам это безразлично, но вы в моей жизни занимаете особое место, по сути священное. Ваша жизнь, ваши страдания, ваш характер, ваши взгляды — и главное, ваша душа. Есть в жизни отношения, ради сохранения которых я готов пожертвовать всем. И если бы меня не вызвали к телефону, я бы заткнул рот этому нахалу. Я знаю это дерьмо. Он написал книгу о гомосексуалистах в тюрьме: такой Жан Жене для бедных. Педерасты за решеткой. Чистый христовый ангел уже потому, что совершил убийства и спит с мужчинами. Ну, вы знаете, что это такое.

— Имею общее представление. Но вы ввели меня в заблуждение, Лайонел.

— Я этого не хотел. Понимаете, в последнюю минуту не явился докладчик на другое студенческое собрание, и на меня накинулись в ярости мои школьные дружки, а тут, понимаете, мне пришлось в голову, что можно удвоить сбор. На этот лечебно-учебный проект. Ну, я подумал, что вы ведь все равно уже читаете, я вам потом все объясню. И я послал их к вам — и они пошли.

— А о чем должен был говорить тот лектор, что не пришел?

— Мне кажется, его тема была "Сорель и современное насилие".

— А я толковал об Орвелле и его нравственном здоровье.

— Куча молодых радикалов считают Орвелла орудием холодной войны и антикоммунистической банды. Но вы ведь не расхваливали Британский Королевский флот? Не правда ли?

— Это то, что вам рассказали?

— Если бы это был не такой важный звонок, я бы ни за что не ушел. Нужно было решать, покупать или не покупать паровоз. Федеральное правительство создаст такие нелепые ситуации, надеясь с помощью налогов стимулировать приток капитала в промышленность. Туда, куда, по их мнению, должны течь доллары. Например, вы можете купить реактивный самолет и сдать его в аренду какой-нибудь авиакомпании. Вы можете сдать паровоз в аренду Пенсильванской железной дороге или какой-нибудь другой. Очень выгодно так же вкладывать деньги в скотоводство.

— Вы действительно зарабатываете так много, что имеет смысл гоняться за этими выгодами?

Сэммлер, собственно, не хотел вовлекать Фефера в этот бредовый разговор, понуждать его к преувеличениям, к фантазерству и лжи. Он ведь не знал, в какой мере несчастный молодой человек привирал, чтобы произвести впечатление на собеседника. У Фефера была странная склонность защищаться с помощью фейерверка хвастливых измышлений. Деньги, похвальба — еврейские слабости. Может, и американские тоже? Будучи не вполне в курсе современной американской жизни, Сэммлер не мог утверждать это с уверенностью. Но, во всяком случае, он не желал слушать разглагольствования Фефера. Сэммлер восхищался напористой жизнеспособностью молодого человека, щедрым румянцем его щек, страстными переживаниями его голоса. Его речи напоминали оркестр, играющий со все возраста-

стающим вдохновением, но совершенно беспомощный музыкально, — между строк все время звучала мольба о помощи.

Но временами м-р Сэмплер чувствовал, что его манера видеть вещи вполне могла оказаться ошибочной. Его опыт был уникален, и он побаивался, что проектирует эту уникальность на всю остальную жизнь. Жизнь, возможно, не была безупречной, но он частенько думал, что жизнь не была, да и не могла быть такой, какой он ее видел. А потом опять, временами с невыносимой ясностью, он чувствовал, что наоборот, его собственные странности умножались во сто крат странностью происходящих событий. Ну и чудеса!

— Слушайте, Лайонел, вы же не собираетесь действительно покупать целый паровоз?

— Не один, конечно, а в компании с другими. На каждого — сто тысяч долларов.

— А что насчет этого другого плана с Уоллесом? Насчет фотографирования садов, чтобы опознать все растения?

— Это звучит и вправду бредово, но это очень практическая идея. Этим я собираюсь заняться лично. У меня замечательные данные для коммивояжера, это я за собой знаю. Если дело пойдет хорошо, я организую его в масштабе всей страны, разошлю агентов из конца в конец. Нам будут нужны эксперты по местным растениям в каждом штате. Сами понимаете, задачи в Портланде или Орегоне будут отличаться от задач в Майами Бич или в Остине, штат Техас. "По природе своей человек желает знать". Это первая фраза из "Метафизики" Аристотеля. Я так никогда и не смог продвинуться дальше, но я предполагаю, что все остальное давно устарело. Но в любом случае, если они так желают знать, их угнетает невозможность отличить одно растение от другого в собственном саду. Они чувствуют себя самозванцами. Кусты и травы здесь родились. А они нет. Кроме того, я уверен, если ты знаешь, как что называется, это поддерживает тебя морально. Я из года в год хожу к психоаналитикам, и от чего они

меня излечили? Ни от чего. Они просто наклеили ярлычки на все мои болячки, что создало у меня видимость знания. Это огромное облегчение, за него стоит заплатить. Один говорит: "Я — маньяк", а другой говорит: "У меня реактивно-депрессивный психоз". Вы же называете социальные проблемы, например: "Это — колониализм". Тогда даже в самом тупом мозгу вспыхивает фейерверк, и искры вышлекиваются за пределы черепа. Это восхитительно. Ты чувствуешь себя совсем другим человеком. Ну, а с этим сцеплен путь к власти и богатству. Чтобы создать новое дело, надо придумать новые названия для всех вещей, и тогда создается впечатление, что мы движемся к определенной цели. Если людям охота называть и переименовывать вещи, можно делать деньги, став специалистом по названиям. Да, я определенно намерен осуществить этот план с Уоллесом.

— Время для этого неподходящее. А что, ему для этого необходим самолет?

— Не знаю, необходим ли, но он любит это дело. Ну, это его проблема. У каждого свои проблемы.

Последнее утверждение прозвучало необыкновенно многозначительно. Сэмплер видел, в чем дело. Фефер притворялся, будто чего-то недоговаривает, будто деликатность, которой у него никогда не было, мешает ему выдать на-гора ту информацию, которую ему не терпится сообщить. Это нетерпение было написано на его лице. В его глазах. На трепещущих губах.

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду одного ученого индуса. По-моему, его имя Лал. Лал сейчас читает лекции в Колумбийском университете.

— И что же с ним произошло?

— Несколько дней назад какая-то женщина подошла к нему после лекции. Она попросила на минуточку его рукопись. Он думал, что она просто хочет посмотреть какое-то место в тексте, и дал ей. Вокруг него стояла небольшая группа людей. Говорят, речь шла о Герберте Уэллсе. Женщина взяла рукопись и исчезла.

М-р Сэмплер снял шляпу и прикрыл ею картонный переплет цвета морской волны.

— Что, ушла с рукописью?

— Ну да, исчезла и унесла единственный существующий экземпляр.

— О, единственный экземпляр! Какая досада!

— Я так и думал, что вы посочувствуете. Д-р Лал ожидал, что она вернет рукопись обратно, он думал, что она просто рассеянная особа. Поэтому в течение суток он никому ничего не сказал. Но потом он обратился к властям. Не знаю, кажется, это астрономический факультет. Или в Колумбийском университете занимаются исследованиями космоса?

— Откуда вы всегда получаете подобную информацию?

— Мой образ жизни требует определенных контактов. Естественно, что я знаком с людьми из органов безопасности — с университетской полицией. Но для этого дела они недостаточно подготовлены. Им приходится обратиться за помощью к профессионалам. К Пинкертонам. Первый Пинкертон был приглашен самим Авраамом Линкольном для организации Секретной Службы. Вы знали об этом или нет?

— Этот вопрос никогда не казался мне особенно интересным. Я надеюсь, эти Пинкертоны сумеют отыскать рукопись. Но разве не глупо иметь только один экземпляр? Когда вокруг столько ксероксов и копировальных машин! А ведь этот человек — ученый!

— Ну, не знаю. Был же Карлейль. Или этот — Т.Е. Лоуренс. Блестящие люди, и идиотами не назовешь. И оба потеряли свои шедевры в единственном экземпляре.

— О господи, господи!

— Сегодня по всему Университету расклеены плакаты. О пропавшем манускрипте. Там есть описание женщины. У нее был парик и хозяйственная сумка. Все каким-то образом ассоциируют ее с Гербертом Уэллсом.

— А, вот как.

— Вы ничего об этом не знаете, м-р Сэмплер? Вы

понимаете, я бы хотел как-то помочь.

— Меня поражает обилие информации, которая застревает в вашем мозгу. Вы напоминаете мне язык лягушки. Он высовывается на миг и возвращается облепленный мошками.

— Я надеюсь, я никому не приношу вреда. Особенно если это касается вас, м-р Сэмплер, у меня только одна цель — защитить и помочь. У меня по отношению к вам оградительный инстинкт. Иногда мне кажется, что это что-то вроде Эдипова... — опять имена, имена! — но я питаю к вам почтение. Вы — единственный человек на свете, с которым я могу произнести слова типа почтение. Обычно такие слова можно писать, но язык не повернется произнести их.

— Я понимаю, о чем вы, Лайонел. — Лоб м-ра Сэмплера, покрытый испариной, чесался невыносимо. Он утер испарину отглаженным носовым платком. Это Шула гладила его носовые платки, складывая их в плоскую гладкую стопку.

— Я знаю, что вы заняты важным трудом — вы хотите изложить свои впечатления. Нечто вроде завещания.

— Откуда вы знаете?

— Вы сами мне сказали.

— Я? Не помню, чтобы я когда-нибудь упоминал об этом. Это дело интимное. Если я когда-нибудь пробалтываюсь, это плохой признак. Я наверняка никогда не имел намерения говорить об этом.

— Мы стояли тогда у входа в Бреттон Холл Отель, небольшая кучка подонков, вы опирались на зонт. И могу себе позволить сказать, — в голосе его звучало скрытое душевное волнение, — я порой сомневаюсь по поводу многих людей, достаточно ли они люди, но вас я люблю без всяких оговорок. И чтобы облегчить вашу душу, скажу — вы ничего не обсуждали, вы просто сказали, что хотели бы выкристаллизовать ваш жизненный опыт в виде нескольких заповедей. Может быть, даже в виде одной-единственной заповеди.

— Сидней Смит.

— Смит?

— Он сказал: "Главное, покороче, ради Бога, покороче!" Английский пастор.

Новость о том, что натворила Шула-Слава (искренняя-комедия-воровства-из-преданности-папе), наполнила депрессией некие ведающие депрессией области мозга, открывшиеся и расширившиеся за последние три десятилетия. Сегодня из-за Элии они были особенно широко распахнуты. Он не мог бы вспомнить состояния такой подавленности и тьмы до 1939. Существует ли где-то в мире вяжущее средство, которое можно было бы прописать для сжатия этих отверстых пор? М-р Сэммлер попытался защититься, представив комическую сторону события: Шула в туфлях на микропорке, с неаккуратно размалеванным ртом, подбегает к ученому как маленький злой дух из сказок Братьев Гримм и удирает, унося сокровище индийского мудреца. Шула с самим Сэммлером обращалась как с каким-то Чародеем. Она принимала его за Просперо. Он мог бы создать нечто бесценное. Написать мемуары на таком уровне магии, что мир надолго бы запомнил, какая это небывалая высота — быть Сэммлером. Ответом безумия личного на безумие общественное (в век массового уничтожения) была большая изощренность, более высокое совершенство, более головокружительный блеск бесценных созданий, представленных взору восхищенного человечества. Бисер перед свиньями? Вспомнив попутно рабби Ипсхаймера, послушать которого Шула однажды затащила его, Сэммлер переформулировал старую поговорку. Эти ракетноносные проповедники мечут сегодня поддельный бисер перед настоящими свиньями. Собственное остроумие приободрило его. Его нервная элегантная ладонь изогнулась дрожащим мостиком над темными очками, поправляя их на носу, без всякой нужды. Что ж, он не тот, за кого его принимает Шула, кем его считает Фефер. Ну как он может удовлетворить потребности этих фантазеров? Фефер в момент высшей душевной неустроенности принял его за точку опоры.

В эпоху сверхстремительных революций люди влюбляются в идею стабильности, и Сэммлер воплощал для них эту идею. Как щедро Фефер льстил ему! Сэммлер сожалел об этом. Он глянул вниз, чтобы убедиться, что его большая шляпа полностью скрывает рукопись.

— Вы бы хотели, чтобы я что-нибудь сделал? — сказал Фефер.

— Пожалуй, да, Лайонел, — он поднялся. — Проводите меня до метро. Я иду к Юнион Сквер.

Они вышли из парка через кованые чугунные ворота, прошли на запад мимо Собранин Квакеров, а затем мимо прохладных домов из песчаника, прячущихся среди деревьев. Мимо пузатых мусорных урн на цепочках. Одна из цепочек даже была в футляре. И всюду были собаки, полно собак. Трогательная любовь к собакам — у школьников, у дам из высшего общества, у недерастов. Похоже было, что только в жизни эскимосов собаки играли такую же роль, как в жизни этих представителей человеческого рода. Несомненно, ветеринары могли позволить себе собственные яхты. Их гонораров должно было на это хватать.

Нужно немедленно найти Шулу, решил м-р Сэммлер. Он терпеть не мог сцен с дочерью. Она способна была скрежетать зубами, визгливо рыдать. Он слишком любил ее. Любил и лелеял. Она была его единственным вкладом в продолжение рода. Его наполняла горечью мысль, что они с Антониной не создали ничего лучше. С самого детства Шулы он видел и особенную синеву ее крупных век, и особенную хрупкость шеи в синеватых прожилках под припухлостями гланд, и беззащитный наклон тяжелой головы, — все эти признаки печального наследия, знаки безумия и нежизнеспособности, пугающие неотвратимостью будущего. Слава Богу, польским монахиням удалось спасти ее. Когда он явился в монастырь, чтобы забрать ее оттуда, ей было четырнадцать лет. Теперь ей уже перевалило за сорок, пока она слонялась по Нью-Йорку со своей хозяйственной сумкой. Она должна немедленно вернуть рукопись. Д-р Говинда Лал, должно быть, совсем

потерял голову. Кто знает, какие азиатские формы может принять отчаяние такого человека.

В то же время в мозгу м-ра Сэмлера все время полыхало какое-то багряное зарево. Возможно, оно каким-то образом было связано с мыслью об Элии Гранере. Оно приняло некую забавную форму, напоминающую огромный алый конверт из воздушной шелковой ткани, с клапаном, застегнутым черной пуговицей. Он спрашивал себя, не это ли явление мистики называют "мандала", и вполне допускал, что было оно навеяно влиянием азиата Говинды. Но ведь и сам он, еврей, неважно, насколько англазированный или американизированный, но еврей, был азиатом. Последний раз, когда он был в Израиле, а было это совсем недавно, он раздумывал, в какой мере евреев можно считать европейцами. Тамошний кризис, свидетелем которого он был, заставлял предполагать более глубокие азиатские корни. Даже в немецких и голландских евреях, решил он. Что же касается черной пуговицы, то не была ли она негативным образом белой луны?

Теплый поток весеннего воздуха струился вдоль Пятнадцатой улицы. Аромат сирени и сточных вод. Никакой сирени не было и в помине, но в парах сточных вод было неуловимое дыхание цветущей сирени, бархатистое и сладкое. Во всем вокруг была мягкость то ли от растворенной в атмосфере сажи, то ли от воздуха, выплеснутого бесчисленным множеством легких, то ли от наложения волн, генерируемых бесчисленными сознаниями, — и все это доходило до него, и трогало, — и как глубоко! Время от времени откуда-то вдруг накатывала волна беспричинной неожиданной радости, совершенно непредвиденной, таинственно связанной с шершавой поверхностью песчаника, с уютом прохладных закоулков в недрах жары. Чувство счастья от окружающей обстановки! Было время, когда Сэмлер не поддавался этим физиологическим впечатлениям — испуганный до смешного их неудержимой напористой сладостью. Довольно долго он чувствовал себя не вполне человеком. В это

время от него никому не было никакой пользы. И даже себе самому он был тогда неинтересен. Был равнодушен к мысли о выздоровлении. От чего, собственно, выздоравливать? Прежнее "я" его мало заботило. У него не было даже собственных мнений. Но потом, через десять—двенадцать лет после войны, он почувствовал в себе начало перемен. В человеческом окружении, в общении с другими людьми, в подробностях ежедневного быта он опять становился человеком — и мало-помалу опять почувствовал вкус к земной жизни. Интерес к ее низменным штучкам, к удовольствиям — по-собачьи взять след. И теперь Сэмmlер в сущности не знал, что же он собой представляет. Он хотел бы с Божьей помощью быть свободным от уз обыденного и конечного. Быть душой, разорвавшей путы Природы, без впечатлений, без обязанностей. Сам Бог должен был бы ожидать этого от него. Ведь человек, который был убит и погребен, не должен был больше хранить земные связи. Ему следовало потерять интерес ко всему вокруг. Эркхардт весьма многословно доказывал, что Бог любит бескорыстную чистоту и цельность. Самого Бога тянет к душам бескорыстным. О чем, кроме жизни духа, следовало бы заботиться человеку, восставшему из гроба? Однако Сэмmlер заметил, что с некой таинственной неотвратимостью человека настойчиво и неудержимо втягивало обратно в суету человеческого бытия. Эти пятнышки внутри человеческой субстанции вечно отбрасывают тень на все, к чему человек обращается, на все, что его окружает. Тень его нервов ложится полосами, как тень деревьев на траве, как след воды на песке, — и полосы сплетаются в легкую сеть. Так произошла вторая встреча бескорыстного духа с обреченной биологической структурой, матч-реванш упрямой человечности.

Вот и здесь — на пути ко входу в подземку на Юнион Сквер приходится слушать разглагольствования Фефера о необходимости купить дизельный паровоз. Какая превосходная деловитость! Как она точно вписывается в комплекс весны, смерти, восточной

мандалы и одуряющей сладости сиреневого аромата сточных вод. Чувство счастья от городских кирпичей и городского неба! Чувство счастья и мистический восторг!

Мистер Артур Сэмплер — наперсник нью-йоркских психопатов, исповедник свихнувшихся мужчин и родитель безумной женщины; архивариус безумия. Стоит только однажды занять позицию, однажды начертать линию отсчета, и противоречия уничтожат тебя. Только объяви признаки нормы, и ты будешь сметен половодьем отклонений от нее. Любая позиция может быть осмеяна своей противоположностью. Вот что случается, когда личность из безразличия втягивается вновь в условия человеческого существования. Оживают осколки и аспекты ее прошлого Я. Это бывшее Я хочет утвердить себя, и это бывает неприятно, порой неловко, некрасиво. Это тот, другой Сэмплер, прежний Сэмплер из Лондона и Кракова, соскочил с автобусной подножки на площади Колумбус, охваченный страстным желанием еще раз увидеть черного карманника. Теперь он должен избегать поездок в автобусе в страхе перед возможной встречей. Он был предупрежден, чтобы больше не попадался на глаза.

— Послушайте, — сказал Фефер, — я всегда думал, что вы ненавидите метро. Что это вдруг за перемена? Ведь у вас определенно клаустрофобия.

Фефер был необычайно сообразителен. Его приняли в Колумбийский университет без аттестата зрелости, так как он набрал неслыханно высокий балл на вступительных экзаменах. Он был хитер, расчетлив и проныцателен не менее, чем очарователен, остроумен и скор. В его глазах появилась заостренная настороженность, цепкая, как крючок. Сэмплер, тот прежний Сэмплер, плохо противостоял подобной настороженности.

— Это из-за того карманника, что вы встретили в автобусе, да?

— Кто вам рассказал?

— Ваша племянница, миссис Эрскин. Я ведь упоминал об этом перед лекцией?

— Ах да, действительно. Значит, она рассказала вам?

— Ну да, и про его наряд, очки и всякие штучки от Диора, и все такое. Вот пижон! А чего вы, собственно, боитесь? Он что, засек вас?

— Нечто в этом роде.

— Что он сказал?

— Ни слова!

— Я вижу, происходит что-то неладное. Вы бы лучше рассказали мне, м-р Сэмплер. Вы ведь, может, не вполне понимаете нью-йоркский язык. Возможно, вам угрожает опасность. Вы должны рассказать кому-нибудь помоложе.

— Вы смущаете меня, Фефер. Бывают минуты, когда в вашем присутствии я на себя не похож. Вы сбиваете меня с толку. Вы такой шумный, такой беспокойный.

— Этот человек что-то вам сделал. Я в этом уверен. Что он натворил? Он что, причинил вам боль? Вам угрожает опасность, вы просто обязаны все рассказать мне. Вы — мыслитель, а не борец, а этот кот выглядит настоящим тигром. Вы видели его в деле?

— Да.

— И он видел, что вы видели?

— Ну да, видел.

— Это очень серьезно. Что он сделал, чтобы выдворить вас из автобуса? Ведь вы звонили в полицию.

— Я пытался. Слушайте, Фефер, вы заставляете меня говорить о вещах, которые мне неприятны.

— Он запугал вас настолько, что вы избегаете автобуса, а вы беспокоитесь о ерунде. Вместо того, чтобы беспокоиться о нарушении вашей привычной жизни. Вы что, боитесь его?

— Знаете, это выбило меня из колеи. Сердцебиение было сумасшедшее. Человеческий разум — это загадка. Объективно я мало гожусь для подобных приключений, но есть какая-то непреодолимая потребность в действии, вызванная другими действиями, потребность в гармонии, в соблюдении формы, в тайне и легенде. Я думал, что уже неспособен на обычное любопытство,

но, к сожалению, это не так. И мне это не по душе. Мне это все не по душе.

— Когда он вас заметил, он вас преследовал?

— Да, он пошел за мной. А теперь хватит об этом.

Но Фефер и не подумал отстать. Лицо его пылало. Обрамленное старомодной рамкой бороды, оно горело вполне современным азартом.

— Он пошел за вами, но не сказал ни слова? Но каким-то образом он сообщил вам, что хотел? Что же он сделал? Он угрожал вам? У него что, был нож?

— Нет.

— Револьвер? Он угрожал вам револьвером?

— Нет, не револьвером. — Будь Сэмплер в лучшем состоянии духа, он сумел бы отбить атаку Фефера. Но он был в растерянности. Путешествие в метро было тяжким испытанием. Гробница, Элия, Смерть, могила, склеп Межвиньского.

— И он узнал, где вы живете?

— Да, Фефер, он выследил меня. Он, наверно, наблюдал за мной довольно долго. Он вошел за мной в подъезд.

— Но что он сделал вам, м-р Сэмплер? Ради всего святого, почему бы вам не рассказать?

— О чем тут рассказывать? Это смехотворно. Тут не о чем говорить. Это несущественно.

— Несущественно, говорите? Вы уверены, что это так? Лучше бы вы предоставили кому-нибудь помоложе решать. Представителю любого поколения. Другому...

— Ну, если уж вы настаиваете... — похоже, у вас склонность к таким странным нелепым штукам. И такое жадное любопытство к ним. Скажу кратко. Он передо мной обнажился.

— Да ну? Да это черт знает что! Перед вами? Ну, дальше некуда! Он что, загнал вас в угол?

— Загнал.

— В вашем подъезде? И что, прямо сунул вам в нос эту штуку? И что, кончил?

Но Сэмплер не желал больше говорить об этом.

— Потрясающе! — сказал Фефер. — Что он хотел этим сказать? — он захохотал. — Прямо замечательно, блестящая выдумка!

И если Сэмплер хоть что-нибудь понимал в смехе, Фефер просто умирал от желания сам на это посмотреть. Конечно, он жаждал защитить Сэмплера. Быть его проводником в лабиринте нью-йоркских ужасов. Но при этом наблюдать, руководить, вмешиваться — в этом был весь Лайонел. Непременно "участвовать", — кажется, так говорят на современном языке.

— Значит, он вытащил свой член? Не говоря ни слова? И что, кончил? Черт знает, что он имел в виду? Ну и ну! А что, член у него был очень большой? Можете не отвечать, я могу сам представить. Прямо списано из "Пробуждения Финнегаса": каждый должен показать, что у него промеж ног. Значит, он работает между кольцом Колумбус и Семьдесят второй улицей в часы пик? Что ж, с этим ничего не поделаешь, Нью-Йорк — город кошмаров. И притом все эти мальчишки, работающие на мэра, как сумасшедшие. И Линдсей, вы только представьте Линдсея, похваляющегося своими заслугами! Его заслуги, никак не меньше, когда они даже неспособны послать полицейского, чтобы арестовать бандита! И другие ребята с их заслугами! Слушайте, мистер Сэмплер, я знаю одного парня на телевидении Эн Би Си. Он там ведет программу за круглым столом. Это муж Фанни. Вы должны там выступить, чтобы обсудить все это.

— Да бросьте вы, Фефер!

— Вы даже не представляете, как это было бы важно для всех нас, если бы вы выступили! Я знаю, я знаю, есть пословица, что наши слова доходят не до сознания публики, а только до ее задницы. Вы пощекочете их задницы острыми перышками глубоких мыслей.

— Ерунда.

— И полезно, чтобы иметь власть и силу. И противостоять всякой липе чем-то действительно настоящим. Вы должны заклеить Нью-Йорк. Вы должны говорить как пророк, как пришелец из другого мира.

Для этого мы должны использовать телевидение. Польза для всех и для вас — вы покончите, наконец, со своей изоляцией.

— А разве вчера в Колумбийском университете мы не покончили с ней, Фефер? Вы уже превратили меня в фигляра.

— Я думаю только о пользе, которую вы можете принести.

— Вы думаете только о том, как получше обделать свои делишки, как получить гонорар пожирней от мужа вашей Фанни и как половчее тиснуть в телепрограмму гениталии этого типа.

Мистер Сэмплер улыбался от души. Еще через минуту он начал хохотать, всецело отвлекшись от собственных неурядиц.

— Хорошо, — сказал Фефер, — мои представления о личном и общественном отличаются от ваших. Так что оставим этот разговор.

— С удовольствием.

— А теперь я отвезу вас домой в автобусе.

— Спасибо, не надо.

— Я хочу быть спокоен, что вас никто не обидит.

— Я знаю, чего вы хотите, — чтобы я его вам указал.

— Да нет, я просто знаю, что вы терпеть не можете метро.

— Не беспокойтесь об этом.

— Конечно, я не отрицаю — вы возбудили мое любопытство. Я знаю, вы в конце концов рассказали мне о нем, чтобы от меня отвязаться, а я все пристаю и пристаю. Вы, кажется, сказали, что на нем было пальто из верблюжьей шерсти.

— Так мне, во всяком случае, показалось.

— И фетровая шляпа? И очки от Диора?

— Что шляпа фетровая — я уверен, насчет Диора — могу только предполагать.

— А вы наблюдательны, так что я вам верю. Кроме того — усы, изысканная рубашка, элегантный галстук. Он что, какой-нибудь принц, или воображает себя принцем?

— Да, да, — сказал Сэмплер, — в нем несомненно есть что-то королевское.

— Я, кажется, кое-что придумал.

— Оставьте его в покое, пусть живет, как может. Мой вам совет.

— Я, собственно, и не собираюсь с ним связываться. Ни за что. Он даже и не заподозрит, что я его замечаю. Но кинокамера может выхватить любой предмет где угодно. Теперь умеют фотографировать даже зародыш в матке. Ухитряются как-то засунуть туда камеру. Я как раз купил недавно новую штуку, размером не больше зажигалки.

— Не будьте идиотом, Фефер.

— Уверяю вас, он ничего не заподозрит. Просто не заметит. А такие снимки можно дорого продать. Поймать преступника и продать всю историю в "Лук". И в то же время проработать полицию, и Линдсея, раз он плюет на свои обязанности и рвется в президенты. Три зайца одной пулей.

Вот и низкий парапет Юнион Сквер, возвышенная зеленая площадка, расчерченная сухими серыми дорожками, и стремительный поток уличного движения, ревуций, безудержный, зловонный. Сэмплер мог обойтись без помощи Фефера. Он столкнул его руку со своего локтя.

— Я спускаюсь в метро.

— В это время дня такси поймать невозможно — у них пересмена. Я отвезу вас домой.

Сэмплер, все еще держа шляпу и рукопись подмышкой, а зонтик в руке, пробирался в полутьме подземных переходов, заполненных запахом жареных сосисок. Быстрые турникеты, щелкая, заглатывали жетоны. Натужно грохотали поезда. Сэмплер предпочел бы ехать в одиночестве. Но Фефер присосался, как приявка. Он ни минуты не мог помолчать. Ему было необходимо всегда быть начеку, жить в напряжении, в азарте любопытства. И конечно, раз уж он так уважал Сэмплера, он с особым удовольствием совершал мелкие попытки озорства, непочтительности, фривольности, легкие

оскорбительные выпады то тут, то там, маленькие пробы на прочность. Мой дорогой друг, зачем так огорчаться. Всюду есть коррупция, я могу доказать.

— Эта Фанни... та девочка, что увела вас... она очень страстная, — говорил Фефер.

Он не унимался:

— Теперь девочки часто такие. Но все еще застенчивая. Не очень хороша в постели, несмотря на большие сиськи. Ну и, конечно, замужем. Муж работает по ночам. Он ведет эту программу за круглым столом, о которой я говорил. — И дальше без передышки: — Я люблю во всем иметь компаньонов. Мы часто бываем вместе. Так что когда этот страховой агент пришел...

— Какой страховой агент?

— Я потребовал компенсации за багаж, поврежденный в аэропорту. Этот парень пришел как раз, когда Фанни была у меня, и влюбился в нее по уши — бамс! Прямо с ходу! Этакий громила, с обезьяньей челюстью. Говорит, что его выгнали из Гарварда, он там учился на администратора. Роба желтая, весь потный. Ужас. Он похож на масляный фильтр, который надо было заменить пять тысяч миль назад.

— Да неужели?

— Ну, я стал подогревать его интерес к Фанни. Это было полезно для моей компенсации. Дал ли я ему ее телефон? Конечно, дал.

— С ее разрешения?

— Не думаю, чтобы она стала возражать. Ну, он позвонил ей и говорит: "Это Гэс звонит, крошка. Пойдем куда-нибудь, выпьем". Но трубку как раз снял ее муж, он же работает по ночам. И когда Гэс пришел ко мне на другой день, я сказал ему: "Слушай, парень, лучше б ты не связывался с ее мужем. От него всего можно ждать". А Гэс говорит на это...

На этой линии что ли нет станции на Восемнадцатой улице? Вот, наконец, Двадцать третья и Двадцать четвертая. На Сорок седьмой пересадка на другую линию.

— ...А Гэс говорит: "Чего мне бояться? Глянь, у меня есть пистолет". И он вытащил из кармана пистолет.

Я был изумлен. Но это был жалкий пистолет. Я сказал: "Эта штукавина? Да ею и телефонную книгу не прострелить". И не успел я опомниться, как он схватил телефонную книгу с проигрывателя, поставил и стал в нее целиться. Такой психованный сукин сын. Он был всего в трех шагах от нее, и он начал в нее палить. Шум поднял на весь дом. Я никогда в жизни не слышал такого грохота. Но я был прав. Пуля вошла только на два дюйма. Не прошла сквозь телефонную книгу Манхэттена.

— Да, жалкое оружие.

— Вы понимаете что-нибудь в оружии?

— Кое-что.

— Вообще-то ранить из этого пистолета можно. Но убить, скорей всего, нельзя, разве что стрелять прямо в голову, впритык. Ой, сколько психов вокруг.

— Да, немало.

— Но я-таки получил около двух сотен компенсации, весь мой чемодан столько не стоил. Один хлам.

— Удачный бизнес.

— На следующий день Гэс приперся опять и потребовал, чтобы я написал ему рекомендательное письмо.

— Кому?

— Его начальству в страховой конторе.

На Девяносто шестой улице они вместе поднялись в бурлящий поток на Бродвее. Фефер пошел провожать Сэммлера до дверей.

— Если вам нужна моя помощь...

— Я не приглашаю вас подняться, Лайонел. Честно говоря, я не очень хорошо себя чувствую.

— Это из-за весны. Я хотел сказать, перемена погоды, — сказал Фефер, — даже в молодости ее трудно перенести.

И вот наконец Сэммлер в лифте, вытаскивает йельский ключ из кошелька. Он протиснулся в прихожую. В честь весны Марго поставила нарциссы в Мэзонские кувшины. Он тут же опрокинул один кувшин. Пришлось принести рулон бумажных полотенец из кухни, попутно убедившись, что племянницы нет дома. Про-

мокая расплескавшуюся воду, следя за тем, как бумага, темнея, впитывает влагу, он присел на диван, покрытый цветастыми платками, поставил телефон на подлокотник и набрал номер Шулы. Никто не ответил. Может, она отключила телефон. Сэммлер уже несколько дней ее не видел. Теперь, после кражи, она вполне могла начать прятаться. А если Эйзен действительно приехал в Нью-Йорк, у нее были дополнительные причины для затворничества. Хотя Сэммлер не мог поверить, что Эйзен и впрямь намерен был приставать к Шуле. У него была другая рыбка для жарки, другое железо дляковки (как старик Сэммлер обожал подобные словечки!).

Отнеся на место бумажные полотенца, мокрые и сухие, Сэммлер отрезал себе несколько ломтей салями огромным кухонным ножом (похоже, у Марго не было в хозяйстве ножей поменьше, она даже лук резала этим огромным лезвием). Он соорудил себе бутерброд, намазал английской горчицей, до сего дня его любимой. Нацедил малокалорийного смородинового соку, который покупала Марго. Так как чистого стакана не нашлось, он прихлебывал из бумажного стаканчика. Восковой привкус стаканчика был неприятен, но ему некогда было задерживаться, чтобы мыть и сушить стакан. Он тут же поспешил на ту сторону Бродвея, к дому Шулы. Он звонил, он стучал, он кричал громким голосом: "Шула, открой, это я, папа! Шула!" В конце концов он написал записку и сунул ее под дверь. "Позвони мне немедленно". Затем, спустившись вниз в темном лифте (какой он был грязный и ржавый!), он заглянул в ее почтовый ящик, который она никогда не запирала. Ящик был полон, и он просмотрел почту. Мусор. Никаких личных писем, Значит, ее все-таки не было дома, раз она не забирала почту. Может, она поехала на электричке в Нью-Рошель. У нее был ключ от грансеровского дома. Сэммлер отказался взять ключ от ее квартиры. Он бы не хотел войти и застать ее с любовником. С таким любовником, которого она потом несомненно будет стыдиться. Ясно,

время от времени у нее кто-нибудь был. Может, для улучшения цвета лица, когда он портился. Он как-то слышал от одной женщины, что это помогает. А Шула так гордилась своей светлой кожей. Откуда можно знать, что люди — личности! — действительно делают и зачем!

Когда он пришел домой, он спросил Марго:

— Ты давно не видела Шулу?

— Давно, дядя Сэмплер, несколько дней. Но зато вам звонил ваш зять.

— Эйзен звонил мне?

— Я сказала ему, что вы в больнице.

— А чего он хотел, как ты думаешь?

— Ну, повидаться с семьей. Хотя он пожаловался, что в Израиле никто не пришел его навестить, ни вы, ни Элия. Кажется, он действительно обижен.

Рядом с сердобольной Марго, всегда готовой пожалеть и посочувствовать от души, человек чувствовал себя черствым чудищем.

— А как Элия? — спросила она.

— Боюсь, неважно.

— О, надо пойти навестить бедняжку!

— Пожалуй, и впрямь надо, но ненадолго.

— Я его не утомлю. Что касается Шулы, она боится встретиться с Эйзенем. Она думает, что поступила очень жестоко, когда вы заставили ее бросить его.

— Я не заставлял. Она сама этого хотела. По-моему, он тоже этого хотел. Что, Эйзен спрашивал о ней?

— Ни слова. Даже имени ее не упоминал. Он говорил о своей работе. О своей живописи. Он ищет мастерскую.

— Угу... Не так это просто, найти мастерскую в этом городе художников. Разве что в подвале. Впрочем, он воевал под Сталинградом, он вполне может презимовать на чердаке.

— Он хотел пойти в больницу и сделать набросок для портрета Элии.

— Этого нельзя допускать ни в коем случае.

— Дядя Сэмплер, может, съедите со мной котлету?

Я как раз поджарила.

— Спасибо, я сыт.

Он ушел в свою комнату.

Держа дрожащей длинной левой рукой увеличительную линзу, Сэмплер начал набрасывать стремительные неровные строки на листке писчей бумаги. Сверкающее световое пятно, отбрасываемое настольной лампой, следило за тем, что он писал:

''Дорогой Профессор.

Ваша рукопись в целости и сохранности. Женщина, которая унесла ее, — моя дочь. Она не хотела причинить Вам зла. Таким нелепым, неловким способом она просто стремилась помочь мне в осуществлении выдуманного ею проекта, которым она очень дорожит. Этот проект вдохновляет ее — Герберт Уэллс, научное будущее. Она верит, что он вдохновляет и меня. Меня же потрясают порой другие особенности ее деятельности. Психологически архаичная — все окаменелости абсолютно живы в ее сознании и подсознании (луна, в частности, одна из этих окаменелостей) — она полна мыслями о будущем. Ведь каждый своим собственным нелепым и изощренным способом борется с властью, с ангелом Иакова, чтобы получить в конце концов удовлетворение или славу, до сих пор ему недоданную. Во всяком случае, прошу вас, будьте любезны и попросите власти отменить поиски. Моя дочь несомненно верит, что Вы дали ей свою рукопись на время, хотя Вам может показаться странным и подозрительным, что она не оставила Вам свой адрес и фамилию. Однако, я буду счастлив принести Вам ''Будущее Луны''. Я читал его, совершенно очарованный, хотя моя научная квалификация ничтожна. Более тридцати лет назад я удостоился чести быть близким другом Герберта Уэллса, чьи лунные фантазии вам без сомнения известны, — Селениты, подводный лунный океан, и все такое. Я много лет жил в Англии в качестве корреспондента многих восточноевропейских журналов. Я жил на Вобурн Сквер. Это было прекрасное время. Я должен извиниться за свою дочь. Хорошо представляю, какое

беспокойство и тревогу она Вам причинила. У женщин какое-то совершенно отличное от нашего представление о добре и зле. В данный момент Ваша рукопись лежит на моем столе. Переплет ее цвета морской волны, а чернила коричневые с сиянием, почти под бронзу. Вы можете позвонить мне в любое время дня и ночи, мой телефон — под числом на верхней строке.

Ваш покорный слуга
Артур Сэмплер”.

— Марго! — позвал он, встав из-за стола.

Она одиноко сидела за обеденным столом в столовой под абажуром под стиль Тиффани из веселой красно-зеленой гофрированной бумаги. Вместо скатерти был расстелен набивной индонезийский платок. Все в этой нелепой комнате было слишком мрачным, слишком темным. Она сама выглядела мрачной, пока она кромсала ножом телячью котлету в желтой хлебной панировке. Ему бы следовало почаще обедать здесь с ней вместе. Бездетная вдова. Его охватила острая жаль к ней, к этому маленькому личику в обрамлении тяжелых черных прядей. Он сел.

— Слушай, Марго, у меня неприятности из-за Шулы.

— Я поставлю тарелку для вас, хорошо?

— Нет, спасибо, у меня нет аппетита. Садись, бога ради. Я боюсь, Шула украла одну штуку. Нет, нет, это не настоящая кража. Это было бы слишком нелепо. Просто она унесла одну вещь. Рукопись ученого индуса из Колумбийского университета. Конечно, она сделала это ради меня. Ты же знаешь ее идеи насчет Герберта Уэллса. Понимаешь, Марго, эта индусская книга посвящена вопросу о колонизации луны и планет. И Шула утащила единственный экземпляр.

— Посвящена луне. Это очаровательно, правда?

— Да, развитию промышленности на луне. Строительству промышленных центров на луне. Технологии строительства.

— Понятно, почему Шула хотела, чтобы вы ее прочли.

— Да, но ее надо срочно вернуть. Ты пойми, это во-

ровство, и университетские власти уже пригласили детективов. А я не могу найти Шулу. Она знает, что плохо поступила.

— О, дядя Сэмлер, разве это преступление? Уж Шула никак не преступница. Бедное создание.

— Ну да, бедное создание! Кому только не пристало бы это имя — бедное создание!

— Я бы никогда не назвала так Ашера. Или вас, например.

— Правда? Ну что ж, я принимаю твою поправку. Но в любом случае надо сообщить индусу, что все в порядке. Вот письмо, я написал ему.

— Почему не отправить телеграмму?

— Бесплезно. Телеграммы в наше время никто не доставляет.

— Ашер обычно говорил то же самое. Он утверждал, что рассыльные попросту выбрасывают телеграммы в мусорные урны.

— Отправлять письмо по почте не годится. Это займет не менее трех дней, пока оно придет. Вся местная связь в полном упадке, — сказал Сэмлер. — Даже в Кракове во времена Франца Иосифа почта работала куда лучше, чем в Соединенных Штатах. А я боюсь, что за это время полиция схватит Шулу. Может, мы пошлем швейцара в такси?

— А почему не позвонить по телефону?

— Это, пожалуй, неплохо, если быть уверенным, что можно поговорить с самим доктором Лалом. Объяснить все ему самому. Я об этом не подумал. Но как узнать его номер?

— А вы не могли бы просто отвезти ему рукопись?

— Я не уверен, поскольку я знаю, что это — единственный экземпляр. Ты пойми, Марго, я боюсь нести его по улице, особенно вечером, когда вокруг такой бандитизм. А вдруг кто-нибудь выхватит ее у меня?

— А если обратиться в полицию?

— Меньше всего я бы хотел иметь дело с полицией. Я предпочел бы обойтись без них. Я подумал было об охране Колумбийского университета и даже об этих

Пинкертонах, но лучше всего вручить рукопись прямо доктору Лалу, чтобы быть уверенным, что никто не возбудит судебного дела против Шулы. Эти индусы — такой вспльчивый народ. Если он не познакомится с кем-нибудь из нас лично, он вполне может обратиться за советом в полицию. Тогда нам может понадобиться адвокат. Только не предлагай Уоллеса. Элия всегда в случае необходимости обращался к мистеру Видику.

— Что ж, пожалуй, действительно лучше всего вручить письмо ему лично. Это лучше, чем звонить ему. Может, мне отнести ему это письмо, а, дядя? И лично отдать.

— Да, да, конечно, ты ведь женщина. Женщина все может смягчить.

— Во всяком случае, лучше, чем швейцар. Еще довольно светло. Я могу взять такси.

— У меня есть немного денег. Что-то около десяти долларов.

Затем он слышал, как Марго звонила по телефону, что-то выясняла. Он подозревал, что все она организовывала наименее деловым образом. Но все же Марго всегда была готова прийти на помощь в случае реальных трудностей. Она не затеяла долгой дискуссии о Шуле — о результате воздействия войны, или смерти Антонины, или юности в польском монастыре, или о том, как пережитый страх мог повлиять на психику юной девушки. Элия был прав, так же как и Ашер. Марго была добрая душа. Она не навязывала своего образа действий, когда сигнал бедствия достигал ее сердца. Как это делали другие, не в силах нарушить собственный стереотип. Топча собственные следы.

Сильный шум падающей воды доносился из ванной. Она принимала душ, обычный знак, что она собирается выйти из дому. Если ей приходилось выходить трижды, она принимала душ три раза в день. Вслед за этим он услышал, как она протопала в свою спальню, быстро-быстро, ноги босые, но поступь твердая, сопровождаемая стуком отворяемых и затворяемых ящичков

и дверок. Через двадцать минут, одетая во все черное, в черной соломенной шляпе, она уже стояла в его дверях и просила дать ей письмо. Все-таки она была душечка.

— Ты знаешь, где он живет? — спросил Сэммлер. — Ты говорила с ним?

— С ним не говорила, он куда-то вышел. Он остановился в Батлер Холл, и на коммутаторе мне дали его номер.

Перчатки, несмотря на теплый вечер. Сильный, резкий аромат духов. Обнаженные руки. Бруку эти руки понравились бы. В них была теплая приятная полнота. Временами она была вполне хорошенькой женщиной. И Сэммлер видел, что она рада бежать по его поручению. Оно спасало ее от пустого вечера в пустом доме. Ашер обожал поздние ночные спектакли. Марго же только изредка включала телевизор. Чаще всего он бывал неисправен. Со времени смерти Ашера он почему-то выглядел старомодным в своем деревянном ящике. Впрочем, может, это было не дерево, а просто древообразный парик из какого-то темного шероховатого заменителя.

— Если я встречу доктора Лала... Я должна ждать его в Батлер Холл? Так что, привести его сюда?

— Я собирался опять пойти в больницу. — сказал Сэммлер. — Знаешь, состояние Элии очень тревожное.

— Ох, бедный Элия! Я знаю, всегда так — одна беда к другой. Но не переутомляйтесь все же. Вы просто измотаетесь.

— Я прилягу на полчаса. Разумеется, если доктор Лал пожелает прийти, — конечно, приведи его.

Прежде, чем уйти, Марго захотела поцеловать старика. Он не отстранился, хотя чувствовал, что люди редко бывают в состоянии, подходящем для поцелуя, и если делают это, то как профанацию, как напоминание о мимолетном блаженстве. Но этот поцелуй Марго, для которого она потянулась вся вверх, встала на цыпочки, напрягая свои пухлые сильные икры, был поцелуй настоящий. Похоже, она была благодарна ему за то,

что он предпочел жить с ней, а не с Шулой, за то, что она так нравилась ему, и что он обратился к ней в беде. Кроме того, благодаря ему она сейчас встретит выдающегося человека, индийского ученого. Она благоухала духами, глаза ее были подкрашены.

Он сказал:

— Я буду дома к десяти.

— Тогда, если я его застану, я приведу его сюда, и он может тут подождать, пока вы вернетесь. Он, наверно, жаждет получить свою рукопись.

Вскоре он увидел из окна, как она бежит по улице. Оттянув сборчатую штору, он следил, как она спешит к Вест Энд Авеню, по серому полотнищу тротуара, оборачиваясь в надежде увидеть такси. Она была маленькая, сильная, в ней была особая женская стать. Она бежала слегка покачиваясь, как обычно делают женщины, когда спешат. Странно вытянувшись вперед. Что за удивительные существа! Женщины! Сквозные ветры могут гулять у них между ног. Его наблюдения исходили в основном из доброжелательной отчужденности, из прощальной отчужденности, из объективности. Человека, покинувшего эту землю.

В последних отблесках дневного света опять ярко вспыхнула реклама Спрая на том берегу Гудзона и засверкала на фоне светлозеленого неба, отраженная темной водой, асфальтовое брюхо улицы, покрытое шелухой человеческих существ, в медном отсвете светло-зеленого заката казалось слегка изувеченным, слегка деформированным. Как всегда, улица была плотно забита машинами. Механизмами для побега.

Сняв носки и ботинки, м-р Сэмлер поднял на край раковины длинную ступню. Не был ли он слишком стар для таких движений? Очевидно, нет. В уединении своей комнаты он двигался свободнее, менее скованно. Он вымыл ноги и вытер их не очень тщательно, вечер был такой теплый. Испарение облегчало ноющую боль. В процессе эволюции мы не так давно стали двуногими, и плоть ног все еще страдает, больше всего весной, когда организм особенно ослаблен. Сэм-

млер прилег отдохнуть, дыша тихо и ровно. Ноги он укрывать не стал, натянул прохладную простыню на плоскую сухощавую грудную клетку. Отвернул лампу, и теперь она освещала задернутую штору.

Роскошь бесстрашия перед судьбой — так можно было бы описать его состояние. Поскольку вся земля теперь — перрон, взлетная площадка, то об уходе можно было думать с минимальным страхом. Не отказывая другим в праве на страх (он думал об Элии с калиброванной металлической пыткой в горле). Сам он часто чувствовал себя уже почти вне жизни. Скоро-скоро все должно измениться. Люди будут ставить свои часы по каким-то другим солнцам. А может, время исчезнет вообще. Может, в том звездном будущем нам не понадобятся личные имена, там ничего не будет названо. Все будет соответствовать другим существительным. Дни и ночи станут достоянием музеев. Земля превратится в памятный парк, в увеселительное кладбище. Океаны размоют наши кости, как кварц, превращая их в песок, перемальвая в веках наш вечный покой. Что ж, это было бы прекрасно — печально, но прекрасно.

Ах! Прежде, чем он задернул штору, когда Марго скрылась из виду, прежде, чем он наклонился, чтобы снять ботинки, прежде, чем он повернулся к раковине, чтобы мыть ноги, он заметил, — теперь он вспомнил об этом, — рядом с рекламой Спряя луну, вполне близкую и круглую, как дорожный знак. Этот образ луны (или закругленная память о нем) и сейчас стоял перед его глазами. Теперь из фотографий, сделанных космонавтами, мы уже знаем, как прекрасна Земля с ее синевой и белизной, с ее руном облаков, с ее дух захватывающим сиянием. Великолепная планета. Не сделано ли было все возможное, чтобы она стала непригодной для жизни. Бессознательное сотрудничество всех душ, источающих безумие и отраву? Выплеснуть нас всех прочь? Не столько Фаустово стремление, думал м-р Сэмлер, сколько стратегия выжженной земли. Уничтожить все, — и Смерти ничего не достанется.

Все заплывать, а потом унести к благословенному забвению. Или к другим мирам.

По этим размышлениям он понял, что готовится к встрече с Говиндой Лалом. Они могли бы обсудить эти проблемы. Доктор Лал, который судя по всему был биофизик, мог, как многие специалисты, оказаться совершенно безликим, но были признаки в нем, в его рукописи, по крайней мере, что он человек широкого кругозора. После каждого технологического раздела он предлагал заметки о человеческом аспекте будущих достижений. Он, похоже, знал, что открытие Америки породило в душах грешников Старого Мира надежду найти новый Рай. "Общественная совесть, — писал Лал, — вполне может быть Новой Америкой. Доступ к механизмам, централизующим всю информацию, способен вызвать к жизни нового Адама". Пожалуй, то, чем занимался сейчас м-р Сэмmlер, лежа в своей комнате в старом нью-йоркском доме, могло показаться странным. Оседая со временем, старое здание растрескалось во многих местах, и по этим извилистым трещинам на штукатурке Сэмmlер мысленно писал свои тезисы. Первый заключал в себе утверждение, что лично он, Сэмmlер, стоит в стороне от современного развития. Его возраст, его терпимость, его хорошие манеры — да, да, он давно уяснил себе, что он вне своего времени, *hors d'usage*, непригоден к жизни. В этом нет насилия над природой, нет ничего парадоксального и демонического, нет в нем никакого стремления срывать маски и разрушать фасады. Никакого: "Я и Вселенная". Нет, просто его личное убеждение состояло в том, что каждое человеческое существо обусловлено другими человеческими существами, и в ясном понимании факта, что все ныне существующие устройства не есть *sub specie aeternitatis* истина в последней инстанции; поэтому каждый должен удовлетвориться лишь той приблизительной истиной, которой он сам сможет достигнуть. И стараться соответствовать законам общежития. С бескорыстным доброжелательством. С верой в мистические возможности человечест-

ва. С максимальным доверием к доброму началу. Ведь не случайно же стремление к добродетели.

Новые слова? Новые начинания? Нет, конечно, не так примитивно. (Сэмплер старается отвлечься от себя.) Чем занимался капитан Немо в "20 тысяч лье под водой"? Он сидел в своей подводной лодке, в "Наутилусе", и играл на органе Баха и Генделя. Хорошо, но уже устарело. А что делал уэллсовский путешественник во времени, когда его занесло на тысячи лет вперед? Он безумно влюбился в красивую элойскую девушку. Вот он, импульс: взять с собой куда угодно — в глубины времени или пространства, все равно, — нечто дорогое, и сохранять его там. Жюль Верн был прав, захватив на морское дно Генделя, а не Вагнера, хоть во времена Жюль Верна Вагнер был представителем авангарда символистов, и его имя было знаменем. Он старался слить звук и слово. Если верить Ницше, немцы, мучительно подавленные тем, что они навсегда немцы, пользовались Вагнером как опиумом. Для уха м-ра Сэмплера музыка Вагнера была фоном для погрома. А что будет у нас на луне? Электронные машины, сочиняющие музыку? М-р Сэмплер нашел бы, что возразить против этого. Против искусства, пресмыкающегося перед наукой.

Но и другие материи занимали м-ра Сэмплера, далеко не такие игривые. Фефер, желая отвлечь и развлечь его, рассказал ему байку о страховом агенте, выхватившем из кармана пистолет. Увы, эта байка не отвлекла его! Фефер сказал, что этим вшивым пистолетом можно было бы застрелить человека, только прижав его вплотную к голове. Убить в упор. Выстрел в голову был как раз тем пунктом в памяти, который Сэмплер хотел бы выбросить вон или хоть заслонить. Безнадежно. Ничем уже не отвлечься. Ему пришлось сдаться и встретить невыносимое лицом к лицу. То, что не поддавалось контролю. И что нужно было перетерпеть. Оно стало властью в нем самом, неважно, сможет он эту власть снести или нет. Для других это были картины кошмаров, ночных ужасов, для него — дневные

события, полностью осознанные. Несомненно, то, что испытал Сэмлер, не было заказано для других. И другим приходилось проходить через нечто подобное. До него и после него. Другие, особенно неевропейцы, выработали какой-то иной, более спокойный подход к таким вещам. Какой-нибудь апащ или навахо вполне мог упасть в Большой Каньон, выжить, выбраться обратно и, возможно, ничего не рассказать об этом своим соплеменникам. О чем тут говорить? Что случилось, то случилось. Вот и с Сэмлером случилось так, что в один прекрасный день он вместе со своей женой стоял раздетый догола в толпе других. Ожидая, когда его застрелят и похоронят в братской могиле. (По одной такой могиле Эйхман, по его показаниям, прошел, и свежая кровь выплеснулась наружу и замочила его башмаки. Он даже заболел и пару дней пролежал в постели.) В этот день Сэмлера уже ударили в глаз прикладом, и этот глаз ослеп. Раздетый догола и выброшенный из жизни, он уже чувствовал себя мертвецом. Но каким-то образом он, в отличие от остальных, остался в живых. Иногда он мысленно сравнивал это событие с телефонной связью: Смерть не поднимала трубку, когда раздался звонок. Иногда, когда он шагал по сегодняшнему Бродвею и слышал телефонный звонок сквозь открытую дверь магазина, он пытался представить, почувствовать тот сигнал, который посылает нам Смерть: "Алло! Это вы, наконец?" — "Алло!" И воздух улицы ощутимо наполнялся парами свинца с привкусом меди. Но если здесь были все эти живые нью-йоркские тела, топающие мимо, тогда как те, мертвые, были навалены на него кучей, если здесь вся эта толпа катилась мимо, топталась на месте, шаркая и дурачась, здесь было также достаточно пищи, чтобы прокормить всех: всевозможные печения, сырое мясо, копченое мясо, живая рыба, копченая рыба, жареные в гриле цыплята и поросята, яблоки, как снаряды, апельсины, как огненные, утоляющие голод гранаты. В сточных канавах вдоль тротуаров тоже было полно еды, и ее, как он заметил как-то в три часа

ночи, пожирали крысы. Огрызки хлеба, куриные кости, за которые он когда-то благодарил бы Бога. Когда он был партизаном в Заможском лесу, застывший от холода, с мертвым глазом, торчащим в голове, как сосулька. Тогда он завидовал упавшим стволам, так он был близок к их состоянию. В растрескавшейся от мороза лошадиной попоне, с ногами, замотанными в лохмотья. У Сэмлера было оружие. У него и у других умирающих с голоду людей, жующих кору и траву, чтобы не сдохнуть. Они выходили по ночам и следили за мостами, за заброшенными железнодорожными путями, убивая сбившихся с дороги немецких солдат.

Семмлер лично стрелял в людей. Этот сумасшедший феферовский страховой агент, который в приступе самоутверждения начал стрелять в телефонную книгу, прислоненную к проигрывателю! В этой истории было что-то комически фанатичное. Прострелить пулей миллион тесно напечатанных фамилий — салонная игра, да и только! Но Сэмлера уже вынесло из его салона и швырнуло обратно, в Заможский лес. Там он застрелил в упор человека, которого сам разоружил. Он заставил его отшвырнуть прочь свой карабин. В сторону. На целые пять футов. Карабин плоско шлепнулся и зарылся в снег. Сэммлер приказал человеку сбросить пальто, затем мундир, затем свитер и сапоги. После чего человек сказал Сэммлеру тихо: "*Nicht schies-en*". Он умолял оставить его в живых. Рыжий, с крупным подбородком, покрытым бронзовой щетиной, он еле дышал. Он был белый, как мел. С лиловыми кругами под глазами. Сэммлер уже видел, как земля рассыпалась по его лицу. Он видел могильный прах на его коже. Видел дыру рта, видел крупные лоскуты кожи, сходящей с его носа, уже покрытого грязью — для Сэмлера он был уже мертвецом. Он больше не был одет для жизни. Он был отмечен смертью, потерян для жизни. Он должен был умереть. Уже умер. "Не убивайте меня, возьмите вещи". Сэммлер не отвечал, просто стоял в стороне. "У меня дети". Сэммлер спустил курок. Тело упало в снег. Вторая пуля попала в

голову и раздробила ее. Кости взорвались. Содержимое вылилось наружу.

Сэмплер захватил с собой все, что мог: карабин, патроны, консервы, сапоги, перчатки. Два выстрела в морозном воздухе, — звук должен был быть слышен на много миль вокруг. Он так спешил, что оглянулся только один раз. Из-за кустов он разглядел только рыжие волосы и крупный нос. Как жаль, что не удалось снять рубаху. Он стащил с мертвеца вонючие шерстяные носки. Они были так ему необходимы. Он был слишком слаб, чтобы далеко тащить свою добычу. Он присел под потрескивающими от мороза деревьями и съел хлеб этого немца. Он прихватывал губами немного снега с каждым укусом, чтобы легче было глотать. Глотать было очень трудно, у него совсем не было слюны. Конечно, все было бы иначе у другого человека, у человека, который нормально ел, пил, курил, и чья кровь споро бежала по артериям, полная жира, никотина, алкоголя и половых секретов. Ничего этого не было в крови Сэмплера. Тогда он был не вполне человеком. Он был двухслойным свертком из бумаги и трепья, и каждый из этих слоев мог лопнуть, где ему вздумается, в любом месте, где расслабится стягивающий их шнурок. И никому не было до него дела. Вот до какого минимума мы дошли! Где тут услышать человеческий призыв, внять мольбе искаженного лица, увидеть набухшие сухожилия.

Когда позднее мистер Сэмплер скрывался в склепе, он прятался не от немцев, а от поляков. В Заможском лесу польские партизаны вдруг начали истреблять еврейских соратников. Уже был виден конец войны, русские приближались, и, похоже, было принято решение создать Польское государство без жидов. И началось побоище. На рассвете появились поляки с ружьями. Как только стало достаточно светло, чтобы убивать. Был тогда туман, дым. Солнце попыталось взойти. Люди начали падать один за другим, а Сэмплеру удалось убежать. Было еще двое, которым удалось спастись. Один притворился мертвым, другой, как и

Сэммлер, нашел какую-то щель и скрылся. Прячась на болоте, Сэммлер лежал под поваленным стволом, прямо в грязи, зарывшись в ряску. Ночью он выбрался из лесу. На следующий день он рискнул обратиться к Чеслякевичу. (Прошел только один день? А может, больше?) Он провел несколько летних недель на кладбище. А потом он явился в Замостье, прямо в город, дикий, изможденный, полуживой, со вздутым мертвым глазом — словно призрак. Словно приговоренный, переживший собственную смерть.

Едва ли жизнь стоила таких усилий. Бывают периоды, когда отказаться от жизни куда более прилично и разумно, чем продолжать за нее цепляться. Не идти дальше определенной черты в стремлении остаться в живых. Не напрягать излишне человеческую сущность. В этом был более благородный выбор. Так считал Аристотель.

От себя мистер Сэммлер мог бы добавить к существующим уже теориям, что он получил удовольствие, убив в лесу того человека, которого он подстерег, зарывшись в снег. Было ли это всего лишь удовольствие? Это было больше, чем удовольствие. Это была радость. Можно назвать этот поступок черным? Наоборот, он был ярким. Особенно, нестерпимо ярким. Когда Сэммлер выстрелил из ружья, он, почти труп, снова воскрес для жизни. Замерзая в Заможском лесу, он часто мечтал оказаться у костра. Что ж, это было куда великолепнее, чем костер. Словно его сердце вдруг окуталось сверкающим восторгом. Убить человека, убить без всякого сожаления, ибо он был освобожден от сожалений. Убийство — это была вспышка, всплеск ослепительной белизны. Второй раз он выстрелил не столько для того, чтобы наверняка убить, сколько для того, чтобы эта вспышка восторга повторилась вновь. Чтобы еще раз упиться блаженством. Он мог бы поблагодарить Бога за этот случай. Если бы он верил в Бога. Но в то время он не верил. На протяжении многих лет он твердо знал, что нет ему никакого судьи, кроме него самого.

В одиночестве своей постели он опять кратко вернулся к этой ярости (просто по ассоциации). Роскошь! И именно тогда, когда он сам был почти мертв. Ему пришлось распахивать трупы, чтобы выбраться. Отчаяние! О, это карабканье из могилы! О, колотящееся сердце! О, низость! А потом он узнал сам, что чувствует человек, отнимая жизнь у другого. Обнаружил, что это может быть наслаждением.

Он поднялся с постели. Здесь было уютно — в приглушенном свете настольной лампы. Он сумел создать себе очень приятную интимную обстановку. Но надо было подниматься. Он не очень отдохнул, но надо было идти в больницу. Гранер, его племянник, нуждался в нем. Эта штука застряла в его мозгу. И земля рассыпалась по его лицу. Присмотрись внимательней. Ты можешь разглядеть отдельные пылинки. Поднявшись, Сэмmlер разгладил постель, расправил покрывало. Он никогда не оставлял неубранную постель. Он натянул чистые носки. До колен.

Очень жаль! Очень жаль, если ты был лишь мячиком, который могучие игроки гоняли взад и вперед по футбольному полю. Или жертвой неожиданно взбесившихся вероятностей. Немилосердно! Спасибо, но не надо, не надо! Я не хотел падать в Большой Каньон. Прекрасно остаться в живых? Но еще прекрасней было бы не падать. Слишком много важных органов было повреждено. Правда, многие люди оценивают всякий опыт как богатство. Страдание стоит дорого. Пережитые ужасы — это целое состояние. Да. Но я-то никогда не хотел такого богатства.

Носки надеты. Теперь ботинки, — им уже десять лет; несколько раз он менял на них подметки. Они достаточно хороши, чтобы ходить по Манхэттену. Он умел заботиться о своих вещах, он набил свой лучший костюм туалетной бумагой, он вставлял на ночь деревянные распорки в ботинки, невзирая на то, что кожа их сморщилась и облезла от старости. Эти самые ботинки мистер Сэмmlер носил в Израиле, жарким летом 1967 года. Не только в Израиле, но и в Иордании, и в

Сирийской пустыне, и на сирийской территории во время Шестидневной войны. Это был его второй визит. Если можно назвать это визитом. Это была экспедиция. Как только начался Акабский кризис, он пришел в состояние крайнего возбуждения. Он не мог усидеть на месте. Он написал своему старому другу-журналисту в Лондон и заявил, что он просто обязан поехать как журналист, чтобы описать происходящее. Он был членом союза восточноевропейских журналистов. Все, чего Сэмmlер действительно хотел, было — получить нужные документы, бумаги, дающие возможность отправлять телеграммы, и журналистский пропуск, чтобы удовлетворить израильтян. Деньги ему дал Гранер. Таким образом Сэмmlер побывал во всех трех армиях, на всех фронтах. Что ж, это было любопытно. В возрасте семидесяти двух лет на поле боя, все в тех же ботинках, в пуленепробиваемом жилете и в грязной белой шапочке от Крзга. Танкисты, опознав в нем американца по белой шапочке, орали ему "Янки!". Подходя к ним, он разговаривал с ними по-польски, по-французски, по-английски. Временами он казался себе верблюдом среди моторизованных войск. М-р Сэмmlер — отнюдь не сионист, на протяжении многих лет он почти не вспоминал о еврейском вопросе. И все же с самого начала кризиса он не мог сидеть в Нью-Йорке, читая газетные сообщения. Хотя бы уже потому, что второй раз за двадцать пять лет тому же самому народу грозило уничтожение: так называемые великие державы позволяли событиям катиться в сторону катастрофы, люди вооружались для бойни. И он отказался оставаться в Манхэттене, следя за событиями по телевизору.

Безумие происходящего, вот что особенно действовало на него. Настойчивость, маниакальная живучесть некоторых идей, по сути своей заурядно тупых, тупых идей, существующих из века в век, вызывала в нем самую неожиданную реакцию. Тупой султанизм Людовика Четырнадцатого, воспроизведенный в генерале де Голле — "Наш Карл Великий", как кто-то сказал.

Или имперские претензии русских царей на Средиземном море. Они хотели во что бы то ни стало быть сильнейшей морской державой Средиземноморья, идиотский бред на протяжении двух столетий, и вот теперь под "революционной" эгидой Кремля этот бред все еще остается в силе, такой же бессмысленный, как двести лет назад! И кому какое дело до того, что очень скоро плавучие вооруженные крепости будут выглядеть таким же анахронизмом, как Ассурбанипал, таким же пережитком, как собакоголовые египетские боги? Что с того, что в Польше не осталось евреев — разве это повлияло на польский антисемитизм? Вот что значит историческая тупость. О, эти русские с их национальной цепкостью! Им только дай систему, дай ухватиться за какую-нибудь идею, и они будут проводить ее в жизнь до победного конца, будут впихивать ее насильно, а затем вымосят всю вселенную жестким идиотским материалом. В общем, так или эдак, но Сэмmlер понял, что он должен быть очевидцем событий. Он должен быть там, где вершится история, писать газетные отчеты, что-то делать, и если надо, умереть на бойне вместе со всеми. В такое время он просто не мог оставаться в Нью-Йорке. В этом городе! Во взрывоопасном, преступном, будоражащем городе — в мрачном грозном городе Фефера! Тем более, что сам Сэмmlер уже дошел там до крайности, до предела отчаяния и не мог остановиться, обдумывая дурацкие варианты со снотворными таблетками и разными ядами. Без сомнения, это была работа его никуда не годной нервной системы, его "нервоспагетти". Трепет его бывших польских нервов. Его старые страхи, его особый жизненный опыт. Он не в силах был читать сообщения второго дня об арабах Шукейри, убивающих евреев сотнями в Тель-Авиве. Он сказал это Гранеру. Гранер ответил:

"Если вы так переживаете это, значит, вы должны поехать туда".

Теперь Сэмmlер подозревал, что он тогда изрядно преувеличивал. Он просто потерял голову. И все же

это было правильно, что он поехал.

В результате привычки доверять только себе, в результате семидесяти лет единоличного обсуждения всех проблем, Сэммлер выработал свой собственный взгляд на большинство вопросов мироздания. Но даже величайшая независимость не была панацеей, ее тоже не хватало. Кроме того в его сознании были совершенно иссохшие от равнодушия, от неупотребления участки, — такие вади, кажется, так они назывались, пересохшие русла, образованные стойкой эрозией пережитого. Например, тем фактом, что он уже умер однажды. Ведь в сущности, однажды он был уже убит. Он видел собственную смерть. И сам убивал. И знал, что убивать — это роскошь. Не удивительно, что монархи так упорно цеплялись за это право — убивать безнаказанно. На самом дне общества тоже существует своего рода безнаказанность, так как всем наплевать, что там происходит. В недрах темных народных масс кровавому убийству не придают частую большого значения. А уж сливки общества — монархи и высшее дворянство — всегда пользовались правом убивать безнаказанно. Сэммлер давно решил, что именно в этом и заключена истинная причина революции. Во время революции эту привилегию отбирают у аристократии и распределяют поровну между всеми. Означает ли оно, что все люди братья? Нет, равенство состоит в том, что все принадлежат к элите. Убийство — древнейшая привилегия. Вот почему потребность в революциях так прочно засела в крови. Гильотина? Террор? Ничего особенного — хорошо только для начала. А затем пришел Наполеон — гангстер, затопивший Европу кровью. А затем пришел Сталин, для которого истинным венцом власти было неограниченное наслаждение убийством. Наслаждение заглатывать человеческое дыхание, пожирая человеческие головы, как Сатурн. Вот в чем реально состоит захват власти. Продолжая одеваться, Сэммлер завязал шнурки на ботинках. Пригладил волосы щеткой. Словно в трансе. Глянул на свое отражение, колеблю-

щееся в зеркале напротив. Да, в средних классах общества неизменно живет зависть к власти и преклонение перед привилегией убивать. Как восхищаются современные Сорели и Моррасы этой привилегией, этой рукой, которая властно хватает нож. Как им любезен человек, способный взять на себя вину за пролитую кровь! Для них способность к убийству есть доказательство принадлежности к элите. Для таких людей святой равен по духу преступнику, наслаждающемуся убийством всеми фибрами души, обожающему пролитие крови. Сверхчеловеку, который утверждает себя с помощью топора, дробящего череп старухи. Рыцарю веры, который способен перерезать горло своему Исааку на алтаре Господнем. И сегодня идея, что можно исцелиться, самоутвердиться, спасти душу через убийство, популярна наравне с другими идеями человечества, самыми великими. Среди людей есть человек, который умеет убивать. Это патриций. Средний класс не сформировал независимого критерия чести. И в результате он не смог ничего противопоставить ореолу убийцы. Средний класс оказался неспособным создать собственную духовную жизнь, и вот, — достигнув совершенства в умении пользоваться материальными благами, он очутился на грани катастрофы. К тому же мир теперь освобожден от чар; духов и демонов изгнали из воздуха и впустили внутрь. Разум начисто вымел наш человеческий дом, но не стал ли он в этом виде хуже, чем прежде? Итак, что же мы можем захватить с собой на луну?

Он почистил локтем фетровую шляпу, вышел на лестничную площадку, запер дверь и проверил надежность замка, вызвал лифт и спустился вниз. И опять прошел по улицам, теперь темно-синим в синеватых бликах уличных фонарей. Шагал торопливо, сгорбившись. У него было только два часа, если не удастся попасть на редкий автобус, идущий вдоль Восемьдесят шестой улицы, придется брать такси. Вест-Энд — унылый район. Он предпочитал ему даже бурлящий, многолюдный, пестрый, переливающийся красками, вонючий

Бродвей. Кисточки его бровей, седоватые, шелковистые, мохнатые, высоко поднимались над очками, когда он всматривался в какое-либо явление. Но вдумчивому наблюдателю, туристу (было ли место на сегодняшней земле, достаточно надежное для туризма?), праздношатающемуся философу нечего было делать на Бродвее, не во что всматриваться. Бродвей обрел какое-то собственное самосознание и самонаблюдение. Он осознал себя ареной извращенности, он способен был охватить собственное отчаяние. И собственные страхи. Ужас происходящего. Здесь можно было увидеть душу Америки в схватке с проблемами истории, в борьбе с непреодолимым, в безумном ритме, преодолевающим ограниченную неподвижность. Душу, разгаданную и пытающуюся разгадать себя самое. И действовать соответственно. И извлекать выгоду. Эта попытка извлекать выгоду и была, по мистеру Сэммлеру, главным источником безумия. Безумие извлекает выгоду. Для людей, не способных подчиниться мощной власти социальных ограничений, безумие есть попытка получить свободу от этой власти. Поиск забвения в крайностях. Безумие как основная форма религиозной жизни.

Но погодите, — Сэммлер остановил самого себя. Даже в этом безумии есть значительная доля актерства, игры, притворства. У безумия всегда есть довольно тонкое ощущение нормы в жизни человека. Соблюдаются обязательства. Сохраняются привязанности. Продолжается работа. Люди являются на службу. Даже удивительно. Они приезжают на работу на автобусах. Они открывают магазины, подметают, заворачивают товары, доставляют их, моют, стирают, чинят, считают, закладывают программы в компьютеры. Каждый день, каждую ночь. И как бы они ни были испуганы, как бы ни отчаивались, как бы ни бунтовали против общества, они все равно выполняют свой долг. Вверх и вниз в лифтах, склоняясь над письменным столом, за рулем, управляя сложными механизмами. И воистину есть великая тайна в том, что этому животному, столь

требовательному и беспокойному, столь нервозному и любопытному, столь подверженному разнообразным заболеваниям и порокам, столь склонному к пресыщению, присуща такая надежность и основательность, такая способность к постоянству, такое уважение к порядку (даже при любви к беспорядку), такая дисциплина, такое усердие. Да, именно великая тайна. Значит было бы ошибочно считать безумие единственной и главной характеристикой. Хотя, впрочем, организованные ненавидят неорганизованных до смерти, до убийства. Так, организованный рабочий класс — это огромный резервуар ненависти. Так, служащий, прикованный к рабочему месту, должен ненавидеть тех, кто пользуется безусловной свободой. И бюрократ должен радоваться, если убит человек, не подчиняющийся порядку. И еще лучше — убить всех, ему подобных. Чего только не увидишь, когда спешишь к автобусу по Бродвею! Кто только тут не представлен: чернокожие и краснокожие, щеголи с острова Фиджи и охотники на бизонов, головорезы и педерасты, садисты и индейские скво, синие чулки и принцессы, поэты и художники, старатели, трубадуры, террористы Че Гевары... Однако бизнесменов, солдат, священников и конформистов вы тут не увидите, — им не подражают. У стандартов свои эстетические нормы. Мистер Сэмплер давно подметил, что люди, если у них есть место, время, свобода и небольшой запас идей, склонны мифологизировать себя. Создавать легенду. Они пускают в ход воображение и пытаются вырваться за пределы тесных рамок обыденного существования. А в чем состоит обыденность обыденного существования? А что если какой-нибудь гений преобразует обыденную жизнь, подобно тому как Эйнштейн преобразовал материю? Найдет ее энергетический баланс, обнаружит ее радиацию. Но на сегодняшнем уровне беспощадного видения мира беспокойный дух мог вырваться из оков обыденного существования, только выделившись из среды себе подобных, отринув нормы жизни себе подобных, в надежде избежать (в каком-то особом

понимании) смертности себе подобных. Очевидно, требовалась известная театральность, чтобы изображать свои поступки особо замечательными, чтобы будоражить воображение намеками на свою исключительность. Это тоже было формой безумия. Безумие всегда было излюбленным орудием цивилизованного человека, готовящего себя к благородным свершениям. Это — самый распространенный путь к осуществлению идеалов. Многих из нас это удовлетворяет: отмеченная своего рода безумием преданность, приверженность, направленность к высшей цели. Само существование высшей цели не обязательно.

Если мы близки к тому, чтобы закончить наши земные дела, — или по крайней мере одну их великую фазу, — нам бы лучше попробовать отдать себе отчет во всем этом. Но кратко. Как можно короче.

”Главное, покороче, ради Бога, покороче!”

Итак: Безумное племя? Да, скорей всего. Хоть это безумие всего только маскарад, отражение более глубоких идей, результат страха, который мы испытываем перед вечностью и бесконечностью. Безумие — это диагноз или приговор наших величайших врачей, наших гениев, великих умов, разочаровавшихся в человеке. О, человек, парализованный ужасом перед безграничностью человеческих возможностей! А что делать? Если уж говорить о театральности, то гляньте, что натворил этот свирепый нарушитель спокойствия — Маркс, настаивая на том, что революции прошлого совершались в исторических декорациях: последователями Кромвеля — в костюмах ветхозаветных пророков, французами 1789 года — в костюмах римских патрициев. И только пролетариат, — так он говорил, так заявлял, так утверждал, — совершит первую подлинную революцию, никому не подражая. Ему не будет нужен опиум исторических ассоциаций. Из чистого невежества, от полного незнания моделей, он просто совершит переворот в чистом виде. Он был такой же чокнутый, как и все остальные, насчет оригинальности. И только рабочий класс способен был на ори-

гинальность. И только с его участием история освободится от поэзии. И тогда жизнь человечества очистится от подражательства. Она станет свободна от искусства. О, нет! Нет, нет, только не это, думал Сэмmlер. Вместо этого полно искусства, и еще больше — хаоса. Больше возможностей, больше лицедейства, больше обезьян, попугаев, подражателей, больше изобретений, больше художественных произведений, больше отчаяния. Жизнь, вышелушивая из искусства его богатство, разрушает при этом искусство, желая занять его место. Втискивая себя в картину. Насильно заставляя реальность принимать форму искусства. Вы только посмотрите (и Сэмmlер посмотрел) на поддельную анархию этих улиц — на эти революционные китайские туники, на этих детей неясно какого пола, на этих сюрреалистических военных вождей, на шоферов автобусных линий, пересекающих страну с Востока на Запад — докторов философии (Сэмmlер встречал таких и вступал с ними в изошренные дискуссии). Они искали оригинальности. Сами они, очевидно, были производными. Но производными от чего — от Мартина Лютера Кинга, от Фиделя Кастро? Нет, от голливудских массовок. Они играли в мир. Бросались в хаос — надеясь, что там, озаренные высшей святостью, они будут выброшены на берега истины. Лучше уж, думал Сэмmlер, признать неизбежность подражания и подражать чему-нибудь стоящему. Древние умели пользоваться этим правом. Величие без образцов? Непостижимо. Никто не может быть истинной реальностью. Приходится удовлетворяться символами. И превращать реальность в объект подражания, чтобы достигнуть образца и соответствовать высоким стандартам. И примириться таким образом с посредничеством и театральным представлением. Но уж, по крайней мере, пусть это будет представление высокого качества. Иначе личность должна потерпеть крушение, как терпит она его сейчас. Мистер Сэмmlер думал обо всем этом с сожалением, с глубокой печалью.

Перед взлетом, перед этим прыжком к луне, перед

этим рывком прочь из нашего мира не стоит ли внимательно посмотреть на все это? А что касается ночного путешествия через город, то в это время можно было сесть в совершенно безопасный автобус.

4

Доктора Гранера обслуживали специально нанятые медсестры. Когда Сэммлер вошел к нему, он обнаружил у его постели женщину в халате. Больной спал. Осторожно понизив голос, Сэммлер назвал свое имя. "Его дядя, — да, да, он говорил, что вы можете прийти", — сказала сестра. В ее передаче это звучало не особенно приятно. Жидкие крашенные волосы выбивались у нее из-под крахмальной форменной шапочки. Лицо под шапочкой, уже не первой молодости, было мясистое, здоровое, властное. Глаза смотрели на больного по-хозяйски. Ему придется идти заранее предначертанным путем — к выздоровлению или к смерти.

— Он уже уснул на ночь или только задремал? — спросил Сэммлер.

— Возможно, он скоро проснется, но это только предположение. Мисс Гранер ожидает в приемной.

— Я постою немного, — сказал Сэммлер, так как никто не приглашал его сесть.

Вокруг были цветы, корзины с фруктами, коробки конфет, книги. Бесшумно показывал что-то телевизор. Сестра слушала передачу, надев наушники. Блики отраженного света вздрагивали на стене над постелью. Руки Элии аккуратно лежали ладонями вниз вдоль тела, словно перед сном он постарался улечься симметрично. Это были сильные волосатые руки с крупными венами и тщательно полированными ногтями. Ногти сияли так же, как серебристое стекло стакана, из которого Гранер прихлебывал свое минеральное масло.

Тут же стоял флакон с туалетной водой, а рядом с ним лежал Бюллетень Уолл Стрита. Достоинство без прикрас. В розетку над тумбочкой была включена вилка электробритвы. Он всегда был чисто выбрит. Как жрецы Быка Аписа, которые, согласно Геродоту, начисто брили головы и волосы на всем теле. Его губы скривились во сне, словно Элия, любивший рассказывать, что он вырос в нищем районе среди хулиганов, видел сейчас во сне налетчиков и бандитов. Перевязка под его подбородком выглядела, как солдатский воротник. Сэммлер вдруг подумал, что этот человек остро, может быть даже отчаянно, нуждался в поддержке, в участии, в прикосновении. Он по природе своей был склонен к прикосновениям. Обычно, даже проходя через комнату, он старался коснуться, взять кого-нибудь под руку; возможно, таким способом он собирал медицинские сведения о мускулах и glandax, о состоянии мышц и кожи. Так он внедрял свои взгляды, свои мнения в другие сердца, а затем спрашивал: "Ну, разве я не прав?", и выходило, что он действительно прав. Он как бы вел логическую артподготовку, как современный генерал типа Эйзенхауэра. Все его хитрости были детскими и вполне простительными. Особенно сейчас, в такой момент. Как он может спать в такой момент?

Сэммлер осторожно попятился к двери и вышел в приемную. Там сидела Анджела, она курила, но не так чувственно и элегантно, как всегда. Видно было, что она недавно плакала, лицо у нее было бледное и горячее. Фигура вдруг стала тяжелой, груди повисли, колени вздулись желваками под туго натянутым шелком чулок. Только ли об отце она плакала? Сэммлеру почудилось, что причина этих слез была более сложной. Он сел напротив, положив на колени дымчато-серую шляпу а-ля Огастес Джон.

— Все еще спит?

— Спит, — ответил Сэммлер.

Анджела дышала ртом, ее крупные губы были широко открыты, как бы для внутреннего охлаждения.

Горячее округлое лицо с туго натянутой кожей словно осунулось. Даже белки ее глаз, казалось, излучали жар.

— Как вы думаете, он сам понимает, что с ним?

— Хотел бы я знать. Но ведь он врач, должен бы понимать.

Анджела опять заплакала, и Сэмплер еще ясней ощутил, что у нее была не только эта причина для слез.

— И ведь больше ничего, ничего... все остальное у него в полном порядке, — сказала Анджела. — Подумать только, все в полном порядке, кроме этой штуки, одной крошечной проклятой жилки. И вы думаете, он понимает, дядя?

— Да, возможно...

— Но он ведет себя так естественно. Говорит о семейных делах. Он был так рад, что вы приходили, и очень хотел, чтобы вы вечером пришли опять. И он все еще беспокоится из-за Уоллеса.

— Вполне можно его понять.

— Ох, этот Уоллес, — вечное беспокойство! Лет в шесть-семь он был таким одаренным, таким хорошеньким мальчиком. Был очень способным математиком. Мы думали, что у нас растет второй Эйнштейн. Отец отправил его учиться в Эм Ай Ти. И вскоре нам сообщили, что он работает буфетчиком в Кембридже и избивает пьяных до полусмерти.

— Я знаю эту историю.

— А теперь он пытается вынудить папу купить ему самолет. Нашел время! Лучше б уж просил летающую тарелку! Конечно, я тоже виновата, что Уоллес вырос таким.

Сэмплер уже понял, что разговор принимает утомительный психиатрически-педиатрический оборот, и ему придется вытерпеть изрядный поток саморазоблачения.

— Конечно, я была обижена, когда они привезли его из больницы. Я даже попросила маму поставить его колыбельку в гараже. И я уверена, с самого начала он чувствовал мою неприязнь. Он был всегда слишком хмурый. Совсем не такой, как другие дети. У него

случались ужасные приступы ярости.

— Ну, у каждого есть что-нибудь в прошлом.

— Знаете, в ранней юности я решила, что мой братец должен стать педерастом. Понимаете, я думала, что это по моей вине, я была такой негодяйкой, что он просто начал бояться девчонок.

— Такой уж ты была плохой? Я помню твою батмицву, ты была очень прилежной ученицей, — сказал Сэмmlер. — На меня произвело большое впечатление, что ты изучала иврит.

— Одно притворство, дядя. Я была гнусной маленькой сучкой.

— Интересно, почему в ретроспекции люди так склонны к преувеличению?

— Ни я, ни отец — мы никогда не любили Уоллеса. Мы скинули его на маму, и этим будто прокляли его на всю жизнь. У него ведь это шло одно за другим — полоса обжорства, полоса запоя. А теперь, вы уже слышали? Он уверен, что где-то в доме спрятаны деньги.

— Ты что, тоже так думаешь?

— Я не уверена. Были какие-то намеки. Отец вроде давал понять. И мама тоже, незадолго перед смертью. Похоже, что она подозревала папу, — что время от времени он преступал черту, как она любила выражаться.

— Ты имеешь в виду — выручал девиц из знатных семей, как говорит Уоллес?

— Это он так говорит? Нет, дядя, я слышала совсем другое — будто папа оказывал услуги кое-кому из мафии, он ведь знал их с детства. Людям из Синдиката. Он ведь хорошо знаком с Лаки Лучано. Вы, небось, никогда имени его не слышали?

— Смутно что-то знаю.

— Время от времени Лучано появлялся в Нью-Рошели. И если папа действительно оказывал им услуги, а они за это платили, то это и вправду не очень ему удобно. Он, возможно, просто не знает, как ему быть с этими деньгами. Но не это сейчас меня угнетает.

— Нет, конечно. Кстати, о Нью-Рошели, ты не видела Шулу?

— Нет, не видела. А что она натворила?

— Она принесла мне очень интересную книжку. Но оказалось, что эта книжка ей не принадлежит.

— Я думаю, что она прячется от Эйзена. Ей кажется, что он приехал специально за ней.

— Она себе мстит. Если бы только он был способен на это! Если б он хоть не бил ее! Все могло бы устроиться. Это было бы просто благословением Божиим. Но, увы! — по-моему, она ему вовсе ни к чему. Ему не нравится ее увлечение католичеством. Во всяком случае, он придрался к этому. Хотя, впрочем, он утверждает, что отлично поладил с папой Пием в Замке Гандольфо. Но сегодня Эйзен не друг папы, а художник. Я бы не сказал, что у него есть истинный талант, но он достаточно безумен, чтобы жаждать великой славы.

Но Андже́ла не была склонна сейчас выслушивать его соображения. По всей вероятности, она подозревала, что Сэмплер пытается сменить тему и свернуть на теоретические рельсы: обсудить психические отклонения творческой личности.

— Кстати, он был здесь.

— Ты видела Эйзена? Он не потревожил Элию? Он заходил в палату?

— Он хотел сделать набросок — для портрета.

— Не нравится мне это. Мне бы не хотелось, чтобы он беспокоил Элию. Какого черта ему надо? Не впускай его к отцу.

— Пожалуй, мне и вправду не следовало его впускать. Я подумала, может, это развлечет папу.

Сэмплер уже готов был ответить, но тут кое-какие новые соображения промелькнули в его мозгу и заставили его посмотреть иначе на всю эту историю. Конечно. Да, да, так и есть! У Анджели́ны были свои неприятности с отцом. Андже́ла ведь не была из великих плакальщиц, не то, что Марго, у которой был весьма высокий годичный уровень слезных осадков. Если уж Андже́ла выглядела такой подавленной, что даже ее обесцвеченные перекисью волосы, обычно

столь пышные и блестящие, топорщились сегодня ломкими прядями и были черны у корней, то можно было не сомневаться, что она сильно повздорила с д-ром Гранером. Сэмплер считал, что под напряжением все разрушается и составные части (например, черные корни волос) начинают назойливо лезть в глаза. Таков, во всяком случае, был его жизненный опыт. Элия, вероятно, очень за что-то рассердился на нее, и она рада была отвлечь его внимание. Посетителями. Вот почему она была рада тут же впустить Эйзена к отцу. Но вряд ли Эйзен мог кого-нибудь развлечь. Он был улыбочивый унылый маньяк. Ужасно, слишком унылый. Нагоняющий тоску. Из элегантного шелкового костюма, который был на нем, когда он десять лет назад отправился с тестем в хайфское кафе обсудить ситуацию с Шулой, получилась бы превосходная обивка для гроба. Эйзен без сомнения заслужил, чтобы кто-то его любил. Израиль был полезен еще и тем, что мог приютить убогих. Но сейчас Эйзен вырвался оттуда, услышал бесноватую веселую музыку Америки и возжелал попасть в такт. Он шмелем начал кружить вокруг медоносно-богатого дядюшки. Богатый дядюшка слег в больницу, в горле его торчала затычка. Поразительно, какой инстинкт гонит их всех морочить голову умирающему.

— И что, Элия нашел Эйзена забавным? Что-то не верится.

На Анджеле была игривая шапочка, в тон черно-белым туфлям. Сейчас, когда она наклонила голову, он заметил в центре, где сходились складки, большой лайковый помпон.

— На некоторое время, я думаю, да, — сказала она, — пока Эйзен рисовал папу. Но потом он попытался продать папе этот портрет. Папа едва на него взглянул.

— Это не удивительно. Я так и не мог понять, откуда Эйзен взял деньги на билет до Америки.

— Ну, я не знаю, может, он накопил. Он в обиде на вас, дядя.

— Не сомневаюсь.

— За то, что вы не заехали повидать его, когда были в Израиле. Когда вы там были во время войны. Он утверждает, что вы от него отrekliсь.

— Это мало меня трогает. Я туда ездил не для того, чтобы наносить светские визиты своему бывшему зятю.

— Он пожаловался на вас папе.

— Ужас! — сказал Сэмплер. — Каждый лезет к нему со своими глупостями. В такую минуту!

— Но папа всем-всем интересуется. И всегда интересовался. Если люди вдруг перестанут лезть к нему со своими глупостями, это будет странно. Конечно, нельзя его нервировать. Вот сейчас, например, он рассердился на меня.

— Боюсь, что это Элии действительно сейчас ни к чему.

— Я только сказала, что ему не следует столько разговаривать с Видиком. Вы знаете Видика — этого толстяка, его адвоката.

— Конечно, я его встречал.

— Он звонит не меньше четырех—пяти раз в день. И папа требует, чтобы я вышла из комнаты. Они все время что-то продают и покупают, играют на бирже. Кроме того, я полагаю, они обсуждают папино завещание, иначе он не выставил бы меня из комнаты.

— Слушай, Анджела, по-моему, кроме этой ссоры из-за Видика, папа рассердился на тебя еще за что-то, что ты натворила. Ты что, хочешь меня о чем-то спросить?

— Я хотела бы рассказать вам, в чем дело.

— Похоже, рассказ не предвещает ничего хорошего.

— Уж это точно. Это случилось, когда мы с Уортоном Хоррикером ездили в Мексику.

— По-моему, Элия симпатизирует Хоррикеру. Он не стал бы против этого возражать.

— Нет, он надеялся, что мы с Уортоном поженимся.

— А вы не собираетесь?

Анджела поднесла ко рту зажженную сигарету,

стиснутую между пальцами. Движением, обычно грациозным, а сегодня обезоруживающе неуклюжим. Она покачала головой, глаза ее покраснели, налились слезами. Ах, вот оно, неприятности с Хоррикером, Сэмлер предполагал что-то в этом роде. Он не совсем понимал, почему у нее всегда столько неприятностей. Может, он внушил себе, что раз у нее в жизни такая уйма преимуществ и привилегий, так ей нечего больше желать? Она жила на доход от суммы в полмиллиона, причем не облагаемой налогом, как любил повторять Элия. У нее была эта ее плоть, эта ее женская привлекательность, ее сексапил — у нее была *volupté*. Она вернула Сэмлеру его позабытый эротический лексикон, который он приобрел когда-то в Краковском университете, читая Эмиля Золя. Кажется, книгу об овощном рынке. Чрево Парижа. *Le Ventre de Paris. Les Halles* — рынок. И там эта аппетитная женщина, которую прямо-таки хотелось съесть, эдакий фруктовый сад. *Volupté, seins, épaules, hanches. Sur un lit de feuilles. Cet tièdeur satinée de femme**. Отлично, Эмиль! И — ничего не поделаешь! — фруктовые сады, пострадавшие от подземных толчков, могут растерять все свои персики, с этим печальным фактом Сэмлер мог примириться, соболезнуя. Но Анджела вечно была вынуждена выпутываться из мучительного хитросплетения трудностей и бед, на каждом шагу у нее возникали непостижимые препятствия и непредвиденные осложнения, и мистер Сэмлер начал подозревать, наконец, что эта самая *volupté* ложится горьким беспощадным бременем на женскую душу. Ему приходилось наблюдать эту женщину (в результате ее откровенных эротических признаний) так пристально, словно он сам побывал в ее спальне по приглашению, в роли озадаченного свидетеля. Очевидно, она желала познакомиться его со всем, происходящим сегодня в Америке. Он вовсе не нуждался в столь подробной информации. Но лучше уж

* Сладострастис, груди, плечи, бедра. На ложе из листьев. Это атласное женское тепло.

избыточная информация, чем невежество. Соединенные Штаты Америки, как, впрочем, и Советский Союз, были, по убеждению Сэмлера, утопическим проектом. Там, на Востоке, основной упор делался на товары низкого качества — всякие туфли, шапки, унитазаы, умывальники и краны для рабочих и крестьян. Здесь в центре внимания оказались некоторые радости и привилегии. Нечто вроде удовольствия бродить нагишом по райским кушам. И всегда необходимый привкус отчаяния — приправа, умножающая наслаждение, смерть в облатке, тьма, подмигивающая с золотого утопического солнца.

— Выходит, ты поссорилась с Уортоном Хоррикером?

— Он на меня сердится.

— А ты на него — нет?

— Я бы не сказала. Похоже, что я действительно виновата.

— Где он теперь?

— Он должен быть в Вашингтоне. Делает какие-то статистические расчеты для антибаллистических ракет. Для сенатской группировки, что против Ай Би Эм. Толком я не понимаю.

— Да, сейчас это совсем ни к чему, — мало тебе огорчений.

— Боюсь, папа что-то узнал об этом.

У Анджелы, как и у Уоллеса, было в лице что-то мягкое, инфантильное, младенчески мечтательное. Словно родители своей преувеличенно-страстной любовью к младенцам наложили какой-то отпечаток на цикл развития детей. Глаза Анджелы перед тем, как она бурно зарыдала, поразили Сэмлера. Лицо обмякло, губы полуоткрыты, лоб наморщен — младенец! С этим лицом она родилась. Но глаза по-прежнему сохраняли выражение эротической умудренности.

— О чем — об этом?

— О том, что случилось в Акапулько. Я не думала, что это так серьезно. Да и Уортон не думал. Мы просто хотели повеселиться. Я хотела сказать — развлечься.

Мы устроили вечеринку еще с одной парой.

— Что за вечеринка?

— Ну, знаете, такая сексуальная штука — на четверых.

— С какими-то чужими людьми? Кто они такие?

— Ну, вполне приличные люди. Мы познакомились на пляже. И жена предложила сделать это...

— Что, обмен?

— Ну да, вроде. О, дядя, теперь многие так делают.

— Я слышал.

— Я теперь вам противна, да, дядя?

— Мне? Да нет, что я маленький, что ли? Просто я глубоко сожалею, когда происходят такие глупости, это правда. Мне грустно, что гадости, которыми раньше занимались профессиональные проститутки для заработка, разыгрывая оргии на холостяцких вечеринках или в кабаре для туристов на Пляс Пигаль, теперь проделывают обыкновенные люди — домохозяйки, банковские служащие, студенты — просто, чтобы быть как все. И я, в сущности, понимаю ради чего. Может, это какая-то коллективная попытка победить отвращение? Или способ доказать, что все отвратные штучки в истории человечества не были столь отвратными? Не знаю. Или это попытка "освобождения" человечества, попытка показать, что ничто, происходящее между людьми, не может быть отвратительно? Утверждение великого братства всех людей? Ох, прости... — Сэмmlер остановил себя. Он вовсе не хотел входить в подробное обсуждение деталей случившегося в Акапулько, не хотел слушать рассказ о том, что муж из той пары был судьей при муниципалитете из Чикаго, или костопраром из Сиэтла, или торговцем наркотиками, или специалистом по изготовлению духов или формальдегида.

— Уортон участвовал наравне со всеми, но потом почему-то вдруг надулся. А по дороге домой, уже в самолете, он сообщил мне, как он сердит из-за всего этого.

— Что ж, он разборчив, этот молодой человек. Видно даже по его рубашкам. Я полагаю, он получил хорошее воспитание.

— Он вел себя ничуть не лучше, чем все остальные.

— Если ты собиралась замуж за Уортона, это все было, без сомнения, чрезвычайно неразумно.

Сэмплеру мучительно хотелось прекратить этот разговор. Элия сказал, чтобы он не беспокоился о будущем, то есть намекнул, что он будет обеспечен, но все же оставалась уйма практических соображений, которых не следовало забывать. А что, если ему с Шулой придется зависеть от Анджелы? Анджела всегда была щедра — она легко тратила деньги. Если они вместе отправлялись на выставку или в ресторан, она, естественно, платила по счету, платила за такси, давала чаевые, все-все. Однако, лучше было бы не входить сейчас в интимные подробности ее жизни. Факты этой жизни выглядели грязными, отвратительными, прискорбными. Ее поведение до известной степени основывалось на некой теории, на идеологии ее поколения, возникшей в результате либерального воспитания, и потому было скорее типично, чем индивидуально. И все же, если Анджела впоследствии пожалеет о своей откровенности, она не простит его за то, что он ее порицал. Обычно он старался выслушивать ее признания, не принимая их близко к сердцу. Не то, чтобы он не сочувствовал, не сопереживал, но он судил ее (так она сама говорила) объективно, как бы со стороны. Перед лицом надвигающейся кончины Элии он решил, что ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах, ему не следует продолжать эту противоестественную дружбу, при которой он должен был выслушивать признания в благодарность за ужин. Нет, его объективность не станет частью ее комфорта, предметом обихода, мебелировкой ее жизни. Даже его беспокойство за будущее Шулы не вынудит его на такое унижение. Мусорная урна для нечистот? Его тошнило при одной мысли об этом.

— Папа задавал мне очень острые вопросы об Уортоне.

— Он что-нибудь слышал об этой истории?

— Думаю, что да, дядя.

— Кто мог рассказать ему об этом? Ведь это ужасно жестоко.

— Я не знаю, поняли ли вы из моих слов, что такое этот жирный Видик, его адвокат. У него какие-то свои отношения с Уортоном. Он негодяй.

— Он не показался мне негодяем. Обыкновенный плут, но это, по-моему, нормально для делового человека.

— Он — дерьмо. Папа думает о нем бог знает что. Он выиграл для папы большое дело против страховой компании. Я вам говорю, они разговаривают по телефону пять—шесть раз в день. Этот Видик меня ненавидит.

— Откуда ты знаешь?

— Я чувствую. Он считает меня балованной дрянью. Вокруг папы всю жизнь крутятся людишки, которые пытаются убедить его, что он зря сделал меня материально независимой, это мне вредно. Вы знаете эту песню: слишком баловал и совсем распустил.

— Может, он и вправду был слишком снисходителен?

— Если и был, то больше ради себя, дядя. Вы совершаете действия не только ради себя, а папа жил как бы через меня. Вы можете это понять.

Мужчины, думал Сэмmlер, часто грешат в одиночку; женщины редко грешат без партнера. И хотя, возможно, Анджела не вполне добросовестно объясняла таким образом отцовскую щедрость, может, и была у Элии некоторая склонность к тайной похоти? И не Сэмmlеру было отрицать такую возможность. Положение было отчаянное. Это артериальное вздутие в мозгу у Элии, может быть, давно уже влияло на его сознание — отдельные капли падают до начала ливня. Сэмmlер верил в предчувствия, а что могло стимулировать эротические мечты сильнее предчувствия смерти? Собственные сэмmlеровские сексуальные импульсы (даже и сегодня не вполне исчезнувшие) были, впрочем, совершенно иными. Но он умел уважать разницу в склонностях. Он не судил о других по себе.

Вот хотя бы Шула — в ней нет *volupté*. Но в ней есть что-то другое. Конечно, она не была дочерью богача, а ведь деньги, доллары, имеют несомненную сексуальную притягательность. Но даже Шула, хоть она и побирушка, и чокнутая, раньше все же ничего не воровала. И вдруг она совершила нечто, похожее на штуки негра-карманника. Сильные течения захлестывали всех с черной стороны. Дитя, негр, краснокожий — простодушный Семинола, — противопоставлялся развращенному Белому человеку. Миллионы цивилизованных людей жаждали бесконечного, стихийного, примитивного, раскрепощенного благородства, в них вдруг высвобождались незнакомые галопирующие импульсы, и они достигали своей странной цели — повальной сексуальной негризации. Человечество позабыло о былом терпении. Оно требовало все возрастающего нагнетания страстей, немедленно отвергая действительность, не чреватую драматизмом — как в эпосе, трагедиях, комедиях и фильмах. У Сэмлера даже зародилось предположение, что возросшее, по сравнению с восемнадцатым веком, значение тюремного заключения было каким-то образом связано со все большей нетерпимостью к любому ограничению свободы. Наказание должно соответствовать состоянию духа, оно должно быть скроено по мерке души, применительно к ее насущным потребностям. Именно там, где была обещана наиболее безграничная свобода, было больше всего тюрем. Все же очень интересно знать: действительно ли Элия делал аборты, чтобы услужить своим старым друзьям из мафии? На этот счет Сэмлер не имел мнения. Ему просто нечего было сказать. Он знал, что Элия не стремился быть врачом. Он терпеть не мог свою врачебную практику. Но он выполнял свой долг. А ведь даже врачи сегодня не свободны от сексуальных связей со своими пациентками. Прижимаются к женщинам чувствительными частями. Врачи, нарушающие клятву, чтобы не отстать от своей Эпохи. И Шула тоже, — совершая кражу, Шула шагала в ногу с беззакониями Эпохи. И вовлекала в эти без-

закония отца. И, возможно, Элия, с зажимом в горле, не хотел отставать от эпохи; он высылал вместо себя Анджелу, чтобы она испытала все, что положено.

Принимай все, как оно есть, — твоя жизнь уже однажды почти закончилась. Кто-то впереди, несущий свет, споткнулся, закачался, и Сэмmlер подумал, что все кончено. Однако, он до сих пор был жив. Нельзя сказать, что он "выпутался", ибо выражение "выпутался" подразумевает некое действие — а действия было очень мало. Его унесло сначала из Кракова в Лондон, затем из Лондона в Заможский лес, и в конце концов в Нью-Йорк. В результате всего этого он приобрел привычку обобщать увиденное. Он стал специалистом по кратким выводам. Кратким выводом из рассказа Анджелы было то, что она оскорбила своего умирающего отца. Он рассердился, и она хотела, чтобы Сэмmlер замолвил за нее словечко. Она боялась, что Элия выбросит ее из завещания и отдаст свои деньги на благотворительность. В свое время он дал много денег на Вейцмановский институт. На этот мысле-танк, как они называют его, в Реховоте. А может, она опасалась, что отец оставит все деньги ему, дяде Сэмmlеру, ведь он был так близок Элии.

— Вы поговорите с папой, дядя?

— Насчет этого... этой твоей истории? Это зависит только от него. Сам я эту тему затрагивать не стану. Я не думаю, что он только сейчас понял, какой образ жизни ты ведешь. Не знаю, что он извлекал из этого для себя, — соучаствуя, как ты предполагаешь. Он не так глуп, чтобы не понимать, что если дать молодой женщине вроде тебя полмиллиона долларов на жизнь в Нью-Йорке, то она будет развлекаться, как может.

Большие города — всегда блудницы. Разве это не общеизвестная истина? Вавилон, например, был блудницей. *Ô la Reine aux fesses cascadantes*. С помощью пенициллина Нью-Йорк выглядит почище. Не встретишь лиц, источенных сифилисом, с провалившимися носами, как в древние времена.

— Папа так вас уважает.

— И ты хочешь использовать это уважение?

— Сейчас против меня ополчились все старейшие, злейшие, глубочайшие сексуальные предрассудки.

— Бог знает, что у него на уме, — сказал Сэмmlер. — Может, это всего лишь одна его мука среди многих других.

— Он наговорил мне ужасных вещей.

— Но ведь твое мексиканское приключение не первое? — сказал Сэмmlер. — Конечно же, твой отец многое знал и прежде. Он надеялся, что ты выйдешь замуж за Хоррикера и прекратишь этот эротический балаган.

— Пойду, гляну, может, он проснулся, — сказала Анджела. Ее тяжелое тело было облечено в наряд. Ноги, открытые до верхнего предела ляжек, были, пожалуй, чересчур полны, почти что неуклюжие. Лицо под маленькой кожаной шапочкой в эту минуту было бледное, припухлое. Когда она поднялась с пластикового кресла, в теплом вечернем воздухе за ней взметнулась волна ее запаха. Какое сочетание низкой комедии и высокого драматизма! Богиня и потаскушка! Великая грешница! Как это должно раздражать несчастного Элию. Какая переоценка ценностей! Какая невыносимая путаница чувств и мыслей! Анджела явно была недовольна Сэмmlером. Недовольная, она удалилась.

Пока она шла к дверям, он вспомнил, когда он в последний раз видел такую шляпку. Это было в Израиле, во время Шестидневной войны, которую он видел.

Именно — видел.

Это было так, будто он присутствовал на спектакле — в толпе других зрителей. Они примчались в мощных автомобилях, он и другие представители пресс-группы, и наблюдали танковый бой внизу с какой-то точки на горе Хермон — внизу, в плоской долине, словно в обзорной чаше. Там, где они стояли, мистер Сэмmlер и другие израильские и неизраильские корреспонденты, они были в безопасности. Битва разворачивалась в двух, а то и более милях от них. Танковые колонны маневрировали в облаках пыли. Бомбы срыва-

лись с далеких самолетов, крохотных, как насекомые. Можно было видеть, как посверкивали на свету их крылья при развороте, потом раздавался взрыв и стремительно вырастали кусты дыма. Издали доносился рев моторов — тяжелая поступь танков. Можно было слышать мельчайшие голоса войны. Затем еще две машины взобрались к ним снизу, припарковались рядом с другими, и оттуда выскочили кинооператоры. Это были итальянцы, *paparazzi*, как кто-то объяснил, они привезли с собой трех девиц в модных нарядах. Эти девицы вполне могли явиться прямо с Карнаби Стрит или с Кингс Род в своих фальшивых ресницах, мини-юбках и туфлях на платформе. Они были настоящие англичанки, мистер Сэмmlер слышал, как они разговаривали, и на одной была в точности такая шляпка, как сейчас на Анджеle, с узором, похожим на след от зубов гончей собаки. Девушки не имели ни малейшего представления, куда они попали, и что здесь происходит, они продолжали ссориться со своими возлюбленными, которые улеглись прямо в дорожную пыль со своими кинокамерами. Они снимали битву, рубахи вздернулись у них на спинах. Девушки были в ярости. Вполне возможно, что их умыкнули с Виа Венето, даже не объяснив толком, куда летит самолет. Затем швейцарский корреспондент, низкорослый, но мускулистый, с кустистой кудрявой белокурой бородкой, сплошь увешанный кино- и фотокамерами, начал, просто чтобы убить время, жаловаться израильскому капитану, что этим девушкам совсем не место на фронте. Сэмmlер слышал, как он выкрикивал свой протест сквозь зубы, которые были у него мелкие и гнилые. Место, где они расположились, раньше подверглось бомбардировке. Не совсем ясно было, почему. Похоже, для этого не было никаких военных резонансов. Однако земля вокруг была вся изрыта большими воронками, все еще черными от копоти разрывов.

— Пусть, по крайней мере, спрячутся в воронки, — настаивал швейцарец.

— Что?

— В эти лисьи норы, в норы. Ведь сюда может залезть другой снаряд. Нельзя же им слоняться по дороге! Просто нельзя, понимаете? — Это был несносный маленький человечек. Его война разрушалась от присутствия этих глупых девиц в модных нарядах. Израильскому офицеру пришлось сдаться. Он загнал девиц в обожженные взрывом воронки. Оттуда торчали только их головы и плечи. Они еще недостаточно испугались, чтобы перестать сердиться, но постепенно начинали пугаться все больше. Слегка ошеломленные всем происшедшим, размалеванные для любовных приключений, они начали задыхаться и краснеть под гримом; одна из них тихо заплакала, на глазах превращаясь в пожилую женщину. Вокруг девиц топорщилась блестящая черная бахрома, — стебли травы, забрызганные порохом.

Происходили и другие события, не менее странные. Среди корреспондентов был Отец Невилл, корреспондент иезуитской газеты. На нем был маскировочный костюм из вьетнамских джунглей — весь в желтых, черных, зеленых полосах и разводах. Для кого-то он писал — то ли для газеты Тулсы, штат Оклахома, то ли Линкольна, штат Небраска? Сэммлер до сих пор должен ему десять долларов, его долю за такси, которое они наняли, чтобы от Тель-Авива добраться до Сирийского фронта. Но он не взял адреса Отца Невилла. Может, следовало настойчивее искать этот адрес? По дороге с Дальнего Востока Отец Невилл заехал в Афины, посмотреть на Акрополь, и там до него дошли сведения о новой войне, куда он немедленно отправился. Его большие болотные ботинки были просторны, как галоши. Отец Невилл сильно потел в своем брезентовом боевом наряде. У него были зеленые глаза, волосы, коротко стриженные по-флотски, и багрово-красные щеки. Далеко внизу сновали танки и клубы желтого дыма заволакивали землю. Оттуда доносились обрывки взрывов.

Сейчас в приемной мистер Сэммлер зашевелился и поднялся со стула. К нему обращался Уоллес, кото-

рый вошел из ровного света коридора в освещенный лампой квадрат приемной.

— Анджела говорит, что папа еще спит. У вас, конечно, не было случая поговорить с ним насчет чердака?

— Нет, не было.

Уоллес был не один. За его спиной стоял Эйзен.

Уоллес и Эйзен были знакомы. Насколько хорошо? Любопытный вопрос. Во всяком случае, знакомы довольно давно. Они познакомились, когда Уоллес, после его неудачной попытки конного путешествия по Центральной Азии и после его ареста русскими властями отправился в Израиль, где он жил у кузена Эйзена. Там Уоллес подготовил подборку материалов (чтобы сразу же приступить к работе) для эссе, доказывающего, что скоропалительная модернизация Израиля разрушительна для Ближнего Востока, ибо арабы к ней не подготовлены. Пагубна. Уоллесу, несомненно, необходимо было противостоять сионизму Элии. Однако Эйзен, не очень вдумчивый, нисколько не подозревал о стремительно разраставшейся (и столь же быстро угасшей) страсти Уоллеса к арабам, подавал ему кофе в постель, поскольку тот был занят работой. Уоллес был только что освобожден из советской тюрьмы, благодаря Гранеру и сенатору Джавитцу, а Эйзен побывал в руках у русских и хорошо знал, что это такое. Он хотел, чтобы Уоллес отдохнул, он был рад прислуживать ему. Он научился проворно передвигаться, несмотря на искалеченные ноги. Довольно ловко приспособился. Шарканье его беспалых ступней по полу хайфской квартиры когда-то безумно раздражало Сэмлера. Он не мог бы выдержать и двух часов в обществе кудрявого улыбчивого красавчика — Эйзена. А вот Уоллес, глядя мимо Эйзена, спокойно протягивал худощавую волосатую руку за поданным в постель кофе. И десять дней провалялся в постели Эйзена после освобождения из советской тюрьмы. Русские выслали его в Турцию, из Турции он прилетел в Афины. А из Афин он, как впоследствии Отец Невилл, прибыл в Израиль. Там его ждал Эйзен, чтобы ухаживать за

ним преданно и нежно.

— Кого я вижу! Мой дорогой тесть!

Отчего Эйзен так сиял — от удовольствия при виде Сэмлера или само пребывание в Нью-Йорке (впервые в жизни) делало его счастливым? Он был весело возбужден, но скован в движениях — его новый американский костюм слегка жал ему подмышками и в шагу. Уоллес, по всей видимости, таскал его уже по этим отворотным магазинам мужских мод, типа Варни. А может, водил в один из магазинов, где торгуют одеждой "Унисекс". Этот псих уже напялил карминно-алую рубашу и повязал вокруг шеи ядовито-оранжевый галстук толщиной с бычий язык. Нескончаемо звучал его наводящий тоску смех, ярко сверкали его отличные зубы, не поврежденные сталинградской осадой, не тронутые голодом, пока он пробирался по Карпатам и Альпам. Такие зубы заслуживали более разумной головы.

— Как приятно опять с вами встретиться, — сказал Эйзен Сэмлеру по-русски.

Сэмлер спросил по-польски:

— Как вы поживаете, Эйзен?

— Вы не захотели навестить меня в моей стране, так я приехал повидать вас в вашей, — сказал Эйзен.

Так начать разговор, типично по-еврейски, с упрека, мог любой нормальный человек. Дальше пошло хуже. "Я приехал в Америку, чтобы начать новую карьеру". Он сказал это по-русски: карьера. Затянутый в тесные джинсы, — несомненно, пользуясь его неопытностью, ему всучили какую-то старую заваль, — сверкая переливами карминно-алым, ядовито-оранжевым и томатно-бурым (на ногах красные английские башмаки до щиколоток), с гривой давно не стриженных кудрей, стекающих на плечи и нахально сводящих на нет шею, он несомненно стремился приобрести новый облик, переосмыслить свое бывшее Я. Он больше не был жертвой гитлеровского и сталинского режимов; умирающим от голода костлявым существом, не имевшим ничего, кроме хромоты, безумия и лихорадки, кото-

рого когда-то вывезли из лагеря на Кипре, выбросили в израильские пески, а затем обучили языку и ремеслу. Но кто может указать выздоравливающему, где ему следует остановиться? Теперь он стремился стать художником. Избежав уничтожения, перестав быть пушечным мясом, а то и просто объектом для удара по голове киркой или ломом (Эйзен рассказывал, что сам видел это прежде, чем перебрался с территории, оккупированной нацистами, в русскую зону: людей незначительных, не стоящих того, чтоб на них тратить пулю, убивали просто ударом лопаты), он желал подняться выше — к господству над миром. С помощью своего искусства. Он хотел вдохновенно обратиться к человечеству. Указать ему путь на универсальном языке цветов и красок. Ура, слава Эйзену, порхающему с вершины на вершину! Пусть краски его палитры были серее свинца, чернее угля и краснее scarlatinной сыпи, пусть его наброски с природы были дважды мертвы, все равно автобус, который привез его из аэропорта Кеннеди, казался ему лимузином, толпы на шоссе приветствовали его как славного астронавта, и он созерцал свою Карьеру, сверкая влажной многозубой улыбкой, полыхая в отчаянном экстазе. (Ибо, что может быть лучшей парой русской Карьере, чем истинно русский Экстаз?)

Они с Уоллесом уже затеяли какой-то совместный бизнес. Эйзен начал рисовать ярлыки для кустов и деревьев. Они показали Сэммлеру образцы ярлыков: "*Quercus*" и "*Ulmus*", выведенные жирным витиеватым готическим шрифтом. Другие надписи, сделанные с иностранным наклоном, которому Эйзен научился в гимназии, выглядели аккуратнее. Эйзен был школьником, когда началась война, и высшего образования не получил. Сэммлер постарался сказать что-нибудь безобидное и соответствующее, хотя мазня Эйзена вызвала у него отвращение.

— Все это еще нужно подправлять и переделывать, — сказал Уоллес, — но идея сама по себе удивительно хороша. Как раз для зелени, правда?

— Ты что, всерьез собираешься этим заняться?

Уоллес ответил решительно, с некоторой даже язвительностью (показав при этом ямочку на щеке) по поводу сомнений старика:

— Очень даже всерьез, дядя. Более того, завтра я собираюсь попробовать несколько самолетов в Вестчестере. Я возвращаюсь сегодня ночью на старую квартиру.

— А твои права пилота все еще действительны?

— А чего им быть недействительными?

— Что ж, это должно быть очень увлекательно и приятно — начинать новое дело с друзьями и родственниками. А что у вас здесь, Эйзен?

На запястье Эйзена, прикрученная шнуром, болталась тяжелая сумка из зеленой парусины.

— Здесь? Некоторые мои работы в разной стадии завершенности, — ответил Эйзен. Он опустил сумку с размаху на стеклянную крышку стола, сумка забренчала, загрохотала и опала.

— Ты что, делаешь пресс-папье?

— Это не пресс-папье. Конечно, вы можете употреблять их для этой цели, уважаемый тесть, но вообще-то это медальоны.

Обидеть Эйзена было невозможно, он получал такое удовольствие, говоря о своих творениях. Он начал закатывать глаза и показывать свои несравненные зубы, словно вдыхал какое-то ароматическое снадобье, приглаживая ладонями рук кудри над ушами.

— Я изобрел кое-что для улучшения процесса литья, — сказал он.

Он пустился было в технологические объяснения на русском языке, но Сэмплер перебил его:

— Ты напрасно тратишь время, Эйзен. Я не знаю этой терминологии.

Металл был шероховатый, цвета бронзы с примесью бледной желтизны, подцвеченный сульфидами под фальшивое золото. Эйзен сделал обычный израильский набор: звезды Давида, ветвистые семисвечники, свитки и бараньи рога, или кричащие надписи на иврите:

"Нахаму!"*, или заповедь Бога Иисусу Навину: "Хазак!"** С некоторым интересом Сэмплер разглядывал шероховатые матово поблескивающие куски металла, которые Эйзен выкладывал перед ним на стол. И после каждого куска — напряженная пауза: глаза бегают по лицам зрителей в расчете на немедленный восторг. Восторг от вида этих металлических осколков, место которым на дне Мертвого моря.

— А это что, Эйзен, танк, что ли? Шермановский танк?

— Это метафора танка. Я не признаю в своей работе никакого реализма.

— Кто же нынче бредит попросту! — сказал мистер Сэмплер по-польски. Это замечание прошло незамеченным.

— Может, надо было отполировать получше? — сказал Уоллес. — А что значит это слово?

— "Хазак, хазак", — сказал Сэмплер. — Это приказ, который Бог отдал Иисусу Навину под Иерихо: "Мужайся!"

— "Хазак, ве-эмац", — сказал Эйзен.

— А, ну да... А зачем Богу понадобилось говорить таким забавным языком? — сказал Уоллес.

— Я принес эти медальоны кузену Элии — пусть посмотрит.

— Глупости, — сказал Сэмплер. — Элия болен. Ему не удержать эти тяжелые металлические штуки.

— Нет, нет. Я буду сам показывать, по одному. Я хочу, чтобы он увидел, чего я достиг. Двадцать пять лет назад я приехал в Эрец полным ничтожеством. Но я не могу так умереть. Я не мог позволить себе закрыть глаза, пока я не создам чего-нибудь, достойного человека, чего-нибудь важного и значительного.

Сэмплер не решился возражать. В конце концов, он не был таким уж бессердечным. Более того, он был

* "Утешайте!"

** "Мужайся!"

воспитан в старинных принципах вежливости. Почти так же, как женщины некогда воспитывались в чистоте и благонравии. Приученный издавать одобрительные звуки при виде хлама, который Шула откапывала на свалках, он и тут пробормотал нечто неопределенное и сделал жест рукой, но все же добавил, что Элия очень-очень болен. Эти медальоны могут утомить его.

— Я не согласен, — сказал Эйзен. — Напротив. Какой может быть вред от искусства?

Он стал складывать звякающие штучки обратно в сумку.

Уоллес сказал, обращаясь к кому-то за спиной Сэмлера: "Он здесь". В приемную вошла медсестра.

— Кто — он?

— Вы, дядя. Это мистер Сэмлер.

— Что, Элия спрашивает обо мне?

— Вас вызывают к телефону. Вы — дядя Сэмлер?

— Простите? Я — Артур Сэмлер.

— Некая миссис Эркин просит вас с ней связаться.

— А, Марго! Она что, позвонила в палату к Элии?

Я надеюсь, она не разбудила его?

— Она позвонила не в палату, а дежурной сестре.

— Благодарю вас. А где здесь телефон-автомат?

— Вам нужны монеты, дядя?

Сэмлер взял с ладони Уоллеса две теплые монетки. Вероятно, Уоллес все время стискивал деньги в кулаке.

Марго изо всех сил старалась говорить спокойно.

— Дядя? Послушайте. Где вы оставили рукопись доктора Лала?

— У себя на письменном столе.

— Вы уверены?

— Конечно, уверен. Она у меня на столе.

— Может, вы положили ее куда-то в другое место?

Я знаю, что вы не рассеянный, но ведь вы очень разволновались.

— А что, ее нет на столе? А где доктор Лал?

— Он сидит у меня в гостиной.

Вот это номер! Что должен чувствовать этот бедняга Лал!

— Он знает, что рукопись пропала?

— Я не сумела солгать правдоподобно. И мне в конце концов пришлось сознаться. Он хочет дождаться вас здесь. Мы мчались сюда из Батлер Холл как угорелые. Ему не терпелось увидеть рукопись.

— Марго, нельзя терять голову!

— Он просто в отчаянии. Дядя, никто не имеет права так издеваться над человеком!

— Извинись за меня перед доктором Лалом. Я сожалею, я не могу выразить, как я сожалею... Могу себе представить, как он огорчен. Но, Марго, только один человек в мире мог взять эту злосчастную рукопись. Ты можешь выяснить у лифтера, не приходила ли Шула?

— Родригес впускает ее как члена семьи. Она ведь действительно член семьи.

У Родригеса была огромная связка ключей от всех квартир. В случае необходимости он приносил ее из подвала, где она висела на гвозде, вбитом в кирпичную стену.

— Шула, действительно, глупа сверх меры. Это уже чересчур. Я был к ней слишком снисходителен. Как неловко, как нехорошо! Быть отцом этой сумасшедшей идиотки, подстерегающей этого несчастного индуса! Ты говорила с Родригесом?

— Да, Шула приходила.

— О, Господи!

— Доктор Лал получил отчет от детектива, который посетил ее сегодня в полдень. Я думаю, этот человек угрожал ей.

— То, чего я опасался.

— Он заявил, что рукопись должна быть возвращена завтра, не позже десяти утра, в противном случае он придет с ордером на что-то.

— На что? На обыск? На арест?

— Понятия не имею. Доктор Лал тоже не знает. Но она ужасно испугалась. Она сказала, что посоветуется со своим исповедником. Что она пойдет к патеру Роблесу и подаст жалобу Церкви.

— Марго, ты бы навела справки у этого патера Роблеса. Неужели ордер на обыск ее квартиры? Двенадцать лет она сносила туда всякий хлам. Если полицейские положат там свои шляпы, они больше никогда не смогут их разыскать. Ты не думаешь, что она сбежала в Нью-Рошель?

— Вам кажется, это возможно?

— Если ее нет у патера Роблеса, она скорей всего прячется в Нью-Рошели. — Сэмплер знал ее привычки; знал их так же хорошо, как эскимосы знают привычки тюленей. Знают их тайные лежбища. — Сейчас она спасает меня, поскольку я соучаствую в сокрытии краденного. Она, наверно, здорово струсила после угроз детектива, бедняжка, и дождалась, пока мы с тобой оба ушли из квартиры. (Шпионила под моей дверью, как тот чернокожий. Подавленная сознанием, что ее отец не включил ее в круг его важнейших забот. И полная решимости вернуть себе утраченную роль в его жизни.) Я слишком долго позволял ей тешить себя этой ерундой насчет Герберта Уэллса. А теперь кто-нибудь из-за этого пострадает.

Этот бедняга, доктор Лал, которому, наверно, изрядно надоели земные невзгоды, если он возлагает такие надежды на луну.

А частично он, конечно, прав, ибо человечество продолжает повторять снова и снова одни и те же дурацкие трюки. Все ту же трагикомическую бессмыслицу. Все те же эмоциональные мотивы. Все те же невыполнимые желания. Все новые и новые попытки дать выход все тем же страстям, дать волю все тем же чувствам. Возможен ли хоть какой-то положительный результат? Или вся эта ожесточенная борьба совершенно напрасна? Все же существовал энергетический запас благородных побуждений. Наряду с лаем, шипением, обезьяньим лопотанием и плевками. И все же были времена, когда Любовь казалась величайшим архитектором человечества. Разве это не случалось? Даже ту-пость порой превращалась в золотой фонд для великих деяний. Разве это было невозможно? Но существуют

ли целебные средства против этих приступов слабости, против этих цепких болезней? Временами сама идея исцеления казалась мистеру Сэммлеру порочной. Что, собственно, подлежало исцелению? Можно было изменить течение болезни, как-то иначе преобразовать общий беспорядок: Но исцелить Чушь. Переименовать Грех в Болезнь, переобозначить понятия (Фефер был прав), а потом просвещенные доктора просто вычеркнут болезнь из списка. О, да! И в конце концов блестящие мыслители, люди науки, все ясней и ясней понимая это, будут вынуждены подать на развод со всеми возможными человеческими поступками. И тогда они устремятся прочь, к луне, в своих металлических летающих гусеницах.

— Придется поехать с Уоллесом в Нью-Рошель, — сказал Сэммлер. — Не сомневаюсь, что она там. На всякий случай, все же надо позвонить патеру Роблесу. Если б только он знал, где она... Я позвоню еще раз.

Он чувствовал некоторую солидарность с Марго, потому что она тоже не была коренной американкой. От нее не нужно было скрывать свою приниженность чужеземца. Тем более, что она проявила деликатность, не позвонив прямо в палату Элии.

— А что мне делать с доктором Лалом?

— Извиниться, — сказал Сэммлер. — Успокоить. Как-то утешить его, Марго. Скажи ему, я уверен, что рукописи ничего не угрожает. Разъясни ему, что Шула преклоняется перед трудом писателя. И пожалуйста, попроси его избавиться от детектива.

— Подождите минуточку. Я позову его. Может, он захочет сказать вам пару слов.

В трубке переливчато зарокотал восточный голос:

— Это мистер Сэммлер?

— Да, это я.

— Говорит доктор Лал. Это уже вторая кража. Это становится невыносимо. Поскольку миссис Эркин умоляет меня потерпеть немного, я согласен подождать еще некоторое время. Но очень, очень недолго. А затем я буду требовать, чтобы полиция задержала вашу дочь.

— Вряд ли это вам поможет! Поверьте, я сожалею сильнее, чем могу выразить словами. Но я совершенно уверен, что рукопись в безопасности. Как я понимаю, это у вас единственный экземпляр?

— Плод трехлетнего труда.

— Это действительно печально. Я бы подумал, что у вас ушло на это не более полугода. Ну, конечно, потребовались годы для тщательной подготовки материалов. — Обычно Сэмплер терпеть не мог лести, но теперь у него не было другого выхода. Влага выступала на черном инструменте у его уха, на щеках появились красные пятка: кровяное давление! — Воистину блестящий труд.

— Я рад, что вы так думаете. Представляете, как я убит?

Конечно, представляю. Любого можно подстеречь, захватить врасплох и вывернуть наизнанку. Ничтожество может заставить самого достойного плясать под его дудку. Мудрец может быть вынужден кружиться в хороводе дураков!

— Постарайтесь не слишком беспокоиться. Я могу добыть вашу рукопись, и я получу ее сегодня вечером. Я не слишком часто использую свой авторитет. Поверьте, я могу заставить мою дочь слушаться, и я добьюсь этого.

— Я мечтал опубликовать его в канун первой высадки на луне, — сказал Лал. — Представляете, сколько чуши будет опубликовано в этот день? Чтобы сбить людей с толку. Скудоумие!

— Конечно.

Сэмплер чувствовал, что индус, несмотря на свой темперамент и на сильное внутреннее напряжение, в конце концов вел себя достойно, снисходя к его старческой слабости, понимая всю нелепость случившегося. Он подумал: "Все же этот парень — настоящий джентльмен." Склонив голову внутри звуконепроницаемого металлического каркаса, этого зарешеченного символа изоляции, Сэмплер взмолился в восточном духе: "Пусть солнце осветит твое лицо. Будь

выделен среди множества (индусы представлялись ему только в виде толпы: как косяки макрели, идущие на нерест) на многие годы.” Сэммлер решил, что на этот раз Шула нанесет вред только ему, Сэммлеру, и больше никому. Ему приходится мириться с ее причудами, но другие вовсе не обязаны.

— Мне было бы очень интересно потолковать с вами о моем эссе.

— Без сомнения, — сказал Сэммлер, — мы потолкуем об этом. А сейчас прошу вас подождать. Я позвоню вам немедленно, как только что-нибудь узнаю. Спасибо за вашу снисходительность.

Оба повесили трубки.

— Уоллес, — сказал Сэммлер, — похоже, мне придется поехать с тобой в Нью-Рошель.

— Да ну? Неужели отец сказал вам что-нибудь насчет чердака?

— При чем тут чердак?

— А тогда зачем? Или это что-то связанное с Шулой? Ведь правда?

— Да, честно говоря, все из-за Шулы. Скоро мы можем ехать?

— Там Эмиль с роллс-ройсом. Можем воспользоваться его услугами. А что Шула опять натворила? Она мне звонила.

— Давно?

— Нет, недавно. Она хотела спрятать что-то в папин стеной сейф. Спрашивала, знаю ли я комбинацию. Естественно, я не мог сознаться, что знаю. Ведь считается, что я не должен знать.

— Откуда она звонила?

— Я не спросил. Вы, конечно, видели, как Шула шепчется с цветами в саду? — сказал Уоллес. Уоллес был не очень наблюдателен и мало интересовался поведением других людей. Именно по этой причине он очень высоко ценил те немногие вещи, которые замечал. Он нежно любил все, что замечал. Он всегда был добр и мягок с Шулой. — Интересно, на каком языке она разговаривает с ними, по-польски?

Скорей всего на языке шизофрении.

— Когда-то я читал ей "Алису в стране чудес". Ты помнишь этот сад говорящих цветов? Сад живых цветов?

Сэмплер приоткрыл матово застекленную дверь и увидел, что доктор Гранер сидит в одиночестве. Надев большие черные очки он изучал, или делал вид, что изучает, какой-то контракт или другой юридический документ. Иногда он говорил, что ему бы следовало быть адвокатом, а не врачом. Медицинское образование он получил не по собственному выбору, то была воля его матери. Он сделал очень немного в жизни по собственному выбору. Учитывая характер его жены.

— Войдите, дядя, и закройте за собой дверь. Пусть это будет только совет отцов. Сегодня мне не хочется видеть детей.

— Мне это понятно. Я часто тоже не хочу.

— Бедняжка Шула, я всегда жалею ее. Но она ведь только чокнутая, и все. А моя дочь — грязная шлюха.

— Другое поколение, другое поколение.

— А мой сын просто кретин с высоким I.Q.

— Он еще может исправиться, Элия.

— Вы ни на секунду не верите в это, дядя. Что, совсем ничего не остается, действительно? Я часто спрашиваю себя, на что я растратил свою жизнь. Я, должно быть, верил в то, что рассказывала мне Америка. Я платил за все лучшее. Я никогда не подозревал, что я не получаю лучшего за свои деньги.

Если бы Элия говорил это в волнении, Сэмплер постарался бы его успокоить. Однако он просто констатировал факт, и голос его звучал ровно. В своих огромных очках он выглядел особенно рассудительным. Словно председатель сенатской комиссии, разбирающий скандальные показания, но сохраняющий самообладание.

— Где Анджела?

— Спряталась в уборной, чтобы поплакать, я полагаю. А может, занимается французской любовью с санитаром или валяется где-нибудь сразу с тремя подон-

ками. Стоит ей завернуть за угол, и ты уже не знаешь, что она там делает.

— Да, это ужасно. Но все же не стоило с ней ссориться.

— Мы и не ссорились. Просто кое-что выясняли, поставили точки над "и". Я-то воображал, что она выйдет замуж за Хоррикера, а он теперь ни за что на ней не женится.

— Что, это точно?

— Она рассказала вам, что случилось в Мексике?

— Вкратце.

— Что ж, это лучше: вам ни к чему знать подробности. Вы помните вашу шуточку насчет биллиарда в аду, — речь шла о чем-то зеленом и горячем? Вы попали прямо в точку.

— Я не имел в виду Анджелу.

— Конечно, я не сомневался, что моя дочь не скучает, имея в год двадцать пять тысяч, не облагаемых налогом. Я предполагал это, но пока она вела себя как взрослый разумный человек, я не возражал. Стоит употребить слова "взрослый и разумный", и ты уже удовлетворен. А потом, когда присмотришься повнимательней, ты видишь еще кое-что. Ты видишь женщину, которая делает это слишком разнообразно и со слишком большим количеством мужчин. Порой она даже не знает, как зовут мужчину у нее промеж ног. А ее взгляд... Ее глаза — глаза проститутки...

— Мне так жаль...

Что-то странное появилось в лице Элии. Где-то совсем близко закипали слезы, но достоинство не разрешало ему заплакать. А может, это было не достоинство, а строгость к себе. Но слезы так и не пролились. Они были подавлены где-то внутри, подменены рыдающей ноткой. Они проявились в звуке голоса, в румянце, в полыхании глаз.

— Мне пора идти, Элия. Я возьму с собой Уоллеса. Я приду опять завтра утром.

Похоже было, что Эмиль вел в этом роллс-ройсе завидную жизнь. Серебристый лимузин был для него, как водопроводный кран: один поворот — и он вводил в действие всю эту огромную мощь. А кроме того, он всегда был вне жалкого соперничества, мелкой злобы, ненависти и вражды ординарного мира водителей менее могучих машин. Если он парковался параллельно ряду машин, стоящих вдоль обочины, полицейские к нему не приставали. Когда он стоял рядом со своим великолепным автомобилем, его зад, выглядевший совершенно квадратным благодаря форменным брюкам, был основательней и ближе к земле, чем у большинства других людей. Выглядел он человеком спокойным и серьезным: лицо в тяжелых грубых складках, губы всегда слегка втянуты внутрь, так что зубов никогда не видно; волосы, разделенные прямым пробором, капюшоном спускаются на уши; тяжелый нос Савонаролы. На номерных табличках роллс-ройса все еще был знак Д.М.

— Эмиль возил Костелло и Лаки Лучано, — улыбаясь, сказал Уоллес.

В сероватом мягком полумраке лимузина борода Уоллеса казалась выгравированной на его лице. Большие темные глаза светились желанием приятно развлечь собеседника. Если принять во внимание, насколько Уоллес был увлечен и поглощен собственными делами, проблемами своего круга, вопросами жизни и смерти, следовало признать, какой щедрости и каких усилий это требовало, — какого труда, какой траты душевных сил, какой богатой гаммы эмоций, какого усердия. Подарить нежную улыбку старику дяде.

— Лучано? Друга Элии? Да, знаменитого мафиозо. Анджела мне рассказывала.

— Давние, старинные отношения.

Они уже выехали на Западное Шоссе и мчались вдоль Гудзона. Внизу сверкала вода — великолепная,

грязная, в радужных переливах! А вдоль воды — кусты и деревья, прикрытие для сексуальных преступлений, для грабежей с применением оружия, для перестрелок и убийств. Отсвет луны и блики фонарей над мостами зеркально стелились по воде, весело переливаясь. Что же будет, если оторваться от всего этого и отправить человека куда-то в космос? Мистер Сэммлер склонен был считать, что это подействует отрезвляюще на человеческую природу в момент невыносимых невзгод. Это должно приглушить насилие, возродить благородные идеалы. Поскольку мы, наконец, освободимся от гнета земных условий.

Внутри роллс-ройса был элегантный бар, он слабо светился в глубине своего зеркального нутра. Уоллес предложил старику ликер или виски, но Сэммлер отказался. Пристроив зонтик поудобней между острых коленок, он пытался освежить в сознании некоторые факты. Путешествия в космос стали возможны благодаря сотрудничеству со специалистами. Почему же на земле чувствительные невежды все еще мечтают сохранить свою цельность и независимость? Целостность? Что это такое — целостность? Ребяческая чушь! Именно она и ведет ко всему этому безумию, к сумасшедшим религиям, к наркотикам, к самоубийствам и преступлениям.

Он закрыл глаза. Хорошо бы выдохнуть из глубин души всякую дрянь и вдохнуть что-то свежее, чистое. Нет, нет, спасибо, Уоллес, не надо виски. Уоллес налил немного себе.

Откуда невежественному непрофессионалу взять достаточно сил, чтобы противостоять на равных всем этим техническим чудесам, которые низводят его до уровня дикаря из Конго? Из наитий, из старинной докнижной чистоты, из естественной силы и благородной целостности? Дети поджигают библиотеки и надевают персидские шаровары и отращивают бакенбарды. Таковы символы их целостности. Грядет плеяда технократов, инженеров, людей, управляющих грандиозными машинами, бесконечно более изощренными, чем

этот автомобиль, она будет править обширными труппами, набитыми богемой — подростками, которые отравляются наркотиками, украшаются цветами и гордятся своей целостностью. Сам он лишь осколок жизни, это он сознавал прекрасно. И был счастлив этим. Универсальность была ему не под силу, все равно, как сделать роллс-ройс, деталь за деталью, собственными руками. Что вполне возможно, колонизация луны пригасит лихорадку и надрыв здесь, и тогда тоска по целостности и безграничности найдет более материальное удовлетворение. О, человечество, пьяное от ужаса, протрезвься, приди в себя, успокойся!

Пьяное от ужаса? Да, именно так, и осколки (такие, как мистер Сэмплер) поняли давно: земля — это могила, наша жизнь дана была ей в долг по частицам и должна быть возвращена в положенный срок; пришло уже время, когда каждая частица столь страстно жаждет освободиться от сложных форм жизни, когда каждая клетка вопит "Хватит с меня!". Эта планета была нашей матерью и нашим погребальным покровом. Не удивительно, что человеческий дух жаждет вырваться отсюда. Покинуть это плодовитое чрево. И заодно этот грандиозный склеп. Стремление к бесконечности, вызванное страхом смерти, *timor mortis*, нуждается в материальном удовлетворении. *Timor mortis conturbat me. Dies irae. Quid sum miser tunc dicturus**.

Луна в этот вечер была такая огромная, что даже Уоллес, потягивая виски на заднем сиденье среди роскошных ковров и гобеленов, обратил на нее внимание. Скрестив ноги, откинувшись на сиденьи, он указал рукой, пересекающей спину Эмиля, на луну, повисшую над укатанным шоссе, убегающем на север к мосту Джорджа Вашингтона.

— Ну и луна сегодня! Чудо! Они жужжат вокруг нее, как мухи, — сказал он.

— Кто?

* Страх смерти приводит меня в смущение. День Гнева. Как меня, несчастного, тогда назовут (лат.).

— Космические устройства.

— А, да, я читал в газетах. Ты бы полетел?

— Еще бы! В любой момент! — сказал Уоллес. — Прочь отсюда? Что за вопрос. Немедленно полетел бы! Я уже и так записался в Панамерикэн.

— Куда записался?

— Ну, в этой авиакомпании. Кажется, я был пятьсот двенадцатый. Из тех, кто позвонил, чтобы забронировать место.

— А они уже записывают на экскурсии на луну?

— Конечно, записывают. Сотни тысяч людей хотят полететь. И на Марс и на Венеру, куда можно будет взлететь с Луны.

— Невероятно!

— Что тут невероятного? Что хотят лететь? Вполне естественно. Я вам говорю, авиакомпании уже составляют списки желающих. А вы, дядя, вы бы отправились в такое путешествие?

— Нет.

— Из-за возраста, да?

— Возможно, из-за возраста. Мои странствия уже закончены.

— Но на луну, дядя! Конечно, физически вам будет это трудно, но такой человек, как вы! Я не могу поверить, что такой человек не умирает от желания полететь.

— На луну? Да мне даже в Европу съездить не хочется! — сказал мистер Сэммлер. — Кроме того, если б уж выбирать, я бы предпочел океанское дно. В батисфере доктора Пикара. Я скорей человек глубин, чем человек высот. Лично мне совсем ни к чему беспредельность. Океан, как он ни глубок, всегда имеет верх и низ, тогда как у неба нет потолка. Я думаю, я — человек Востока, Уоллес, ибо евреи, если вдуматься, все же дети Востока. Я согласен сидеть здесь, в западном Нью-Йорке, и с восхищением наблюдать эти великолепные фаустианские отбытия к другим мирам. Лично мне нужен потолок, правда, предпочтительно высокий. Да, я предпочитаю потолок над собой, и притом лучше

высокий, чем низкий. В литературе есть немало шедевров с низкими потолками — "Преступление и наказание", например, и шедевров с высокими потолками — как "В поисках утраченного времени".

Клаустрофобия? Ведь смерть и есть заточение.

Хоть Уоллес, продолжая улыбаться, мягко, но решительно не согласился, однако слушал рассуждения дяди Сэмлера с некоторым интересом.

— Конечно, — сказал он, — мир для вас выглядит несколько необычно. В прямом смысле слова. Из-за ваших глаз. Насколько хорошо вы видите?

— Ты прав, я вижу только частично.

— И все же вы умудрились подробно описать этого черного с его членом.

— Ага, Фефер успел уже тебе рассказать. Твой компаньон. Мне бы следовало знать, что ему не терпится разболтать всем. Я надеюсь, это несерьезно насчет фотографий скрытой камерой в автобусе?

— Я думаю, он собирается сделать — у него замечательная камера. Он ведь немножко чокнутый. Я заметил, что пока человек молод и полон энтузиазма, что бы он ни откалывал, о нем говорят "это — молодость"; а когда он становится постарше, о тех же самых вещах говорят "он чокнутый". Ваше приключение ужасно его взволновало. Что, собственно, этот негр сделал, дядя? Он что — спустил штаны и показал вам эту штуку?

— Нет.

— А что, просто расстегнул молнию? И вытащил оттуда свой член? И как это выглядело? Интересно знать... Он хоть заметил, что у вас не самое лучшее зрение?

— Понятия не имею, что он заметил. Он мне не рассказывал.

— Ну, так расскажите мне про его член. Он ведь не был совершенно черный, или был? Я думаю, он должен быть шоколадный с малиновым оттенком или, может, цвета его ладоней?

О, эта научная объективность Уоллеса!

— Послушай, мне не хочется об этом говорить.

— Ну, дядя, представьте, что я зоолог, который никогда не видел живого левиафана, а вы встречали самого Моби Дика во время плавания на китобойном судне. Он был длинный — дюймов шестнадцать, восемнадцать?

— Не могу сказать.

— А как вы думаете, сколько он весил: два фунта, три фунта, четыре?

— Как я мог это оценить? Да ведь и ты не зоолог. Ты стал им только две минуты назад.

— Он был обрезанный?

— Мне показалось, что нет.

— Интересно, это правда, что женщины предпочитают негров?

— Я предполагаю, кроме этого, у них есть еще и другие интересы.

— Так они говорят во всяком случае. Но знаете, я не стал бы им верить. Они ведь животные, правда?

— Временами у всех проступают черты животных.

— Я не из тех, кого можно обмануть их изящно-изысканным дамским видом. Женщины ужасно похотливы. По-моему, они гораздо развращенней мужчин. В этой области я не очень-то склонен полагаться на ваше мнение, несмотря на все мое уважение к вашим знаниям и к вашему жизненному опыту. Анджела любит говорить, что главное, чтоб у мужика был толстый хер... простите за выражение, дядя.

— Возможно, Анджела — особый случай.

— Ну да, вам приятней думать, что она исключение из правила. А если это не так?

— Может, сменим тему, Уоллес?

— Ни за что, это так интересно. Это ведь не грязное любопытство, — мы будем исключительно объективны, ладно? Послушайте, Анджела забавно описывает Уортона Хоррикера. Ведь он, на вид, такой высокий, стройный малый. Она, однако, утверждает, что он слишком много занимается спортом, что он слишком мускулист. И что не так-то просто добиться нежных эмоций от мужика со стальными канатами вместо

рук и с грудными мышцами штангиста. Он железный человек. Она говорит, это здорово мешает потоку нежных чувств.

— Никогда не думал об этом.

— Что она может знать о нежности? Она понимает просто — чтоб промеж ног сунуть мужика. Любой может стать ее любовником... нет, каждый. Говорят, что парень, который накачивает свои мышцы до такой степени, знаете: "Я раньше был хилый, весил девяносто фунтов!" — что такой парень нарцисс и гомик. Я никого ни за что не осуждаю. Ну и что, если человек гомосексуалист? Что в этом предосудительного? Я не думаю, что гомосексуальность — это другой способ проявления человеческих желаний, нет, я думаю — это действительно болезнь. Я не понимаю, зачем гомосексуалисты поднимают такой шум и объявляют себя вполне нормальными. Прямо-таки джентльменами. Они указывают на нас, а мы и сами не слишком хороши. Я думаю, главная причина этого бума педерастов заключается в постоянной угрозе войны. Одно из последствий 1914, этой бойни в окопах. Мужчин разносило на куски. Быть женщиной оказалось гораздо безопасней. А еще лучше навсегда оставаться ребенком. А лучше всего стать художником — этаким комбинацией женщины, ребенка и дервиша. Я сказал — дервиша? Может, лучше — шамана? Нет, я имел в виду чародея, волшебника. Плюс к тому — миллионера. Многие миллионеры хотят быть художниками, т. е. ребенком, или женщиной — и волшебником одновременно. А о чем, собственно, я говорил? Да, да, о Хоррикере. Я говорил, что несмотря на всю эту физическую культуру и поднятие тяжестей, он не стал педерастом. Но он действительно выглядит замечательным образчиком мужской силы. Личностью, способной на заранее заданную самодисциплину. Похоже, Анджела старалась спустить его с высот. Сегодня она его оплакивает, но это ведь настоящая свинья, завтра она его забудет. По моему, моя сестра — свинья. Если у него слишком много мускулов, у нее слишком много жира. А этот ее

пышный бюст, он не мешает проявлениям нежности? Вы что-то сказали?

— Ни слова.

— Иногда по ночам, перед тем, как заснуть, я просматриваю полный список своих знакомых и выясняю, что все они — свиньи. Оказывается, это замечательная терапия. Таким образом я очищаю свой мозг перед сном. Если б вы были в этот момент в комнате, вы бы только и слышали, как я повторяю: "Свинья, свинья, свинья." Я не называю имен. В каждом имени что-то есть. А вам не кажется, что она забудет Хоррикера завтра же?

— Вполне возможно. Но все же я не думаю, что она совсем пропащая.

— Она — женщина-вампир, роковая женщина. У каждого мифа есть естественные противники. Противником мифа о настоящем мужчине выступает роковая женщина. Мужское представление о себе попросту подвергается уничтожению между ее ляжками. Если он воображает, что в нем есть что-то особенное, она ставит его на место. Ни в ком нет ничего особенного. Анджела просто представляет реализм, по которому мудрость, красота, доблесть и слава мужчины — чепуха, суета, тщеславие; ее задача — свести на нет мужскую легенду о себе самом. Вот почему все кончено между ней и Хоррикером, вот почему она позволила этому хаму в Мексике трахать ее сзади и спереди на глазах у Хоррикера и еще какой-то твари, которую она сама ему подсунула. В атмосфере соучастия.

— Я не знал, что Хоррикер создал такую сногшибательную легенду о себе.

— Но давайте вернемся к нашей теме. Что еще он вам сделал, спустил на вас?

— Ничего подобного. Но мне неприятно говорить об этом. Он пригрозил мне, чтоб я не вступался в автобусе за старика, которого он ограбил. Чтобы я не сообщал о нем в полицию. Но я к тому времени уже пытался сообщить в полицию.

— Естественно, вы пожалели людей, которых он грабил.

— Дело совсем не в том, что у меня такое необыкновенно отзывчивое сердце. Просто это отвратительно.

— Наверно, дело в том, что вы слишком много пережили. Вас, кажется, вызывали свидетелем на процесс Эйхмана?

— Ко мне обращались. Но я не захотел.

— Вы ведь написали статью об этом сумасшедшем из Лодзи — как его, царь Румковский?

— Да.

— Мне всегда казалось, что мужские половые члены выглядят очень впечатляюще. Впрочем, и женские тоже. Вроде, они хотят нам что-то важное сообщить через заросли своих бакенбардов.

На это Сэмплер ничего не ответил. Уоллес прихлебывал виски, как мальчишка прихлебывает кока-колу.

— Конечно, — продолжал Уоллес, — черные говорят на каком-то другом языке. Этот паренек умолял сохранить ему жизнь...

— Какой паренек?

— А в газетах. Паренек, которого окружила чернокожая банда четырнадцатилетних. Он умолял их не стрелять, но они просто не понимали ни слова. Это в прямом смысле слова другой язык. Выражает совсем другие чувства. Никакого взаимопонимания. Никаких общих взглядов. Вне пределов досягаемости.

Меня тоже умоляли. Однако этого Сэмплер не сказал вслух.

— Паренек погиб?

— Паренек? Через несколько дней он умер от раны. Но мальчишки даже не знали, что он им говорил.

— Есть такая сцена в "Войне и мире", которую я часто вспоминаю, — сказал Сэмплер. — Французский генерал Даву, человек исключительной жестокости, о котором известно, что он с мясом вырвал чьи-то бакенбарды, посылает группу людей в Москве на расстрел, но когда Пьер Безухов подошел к нему, они посмотрели друг другу в глаза. Они просто обменялись человеческим взглядом, и это спасло Пьеру жизнь. Толстой говорит, что вы не можете убить другое че-

ловеческое существо, с которым вы обменялись таким взглядом.

— О, это потрясающе! А что вы думаете?

— Я отношусь с симпатией к желанию в это верить.

— Всего лишь относитесь с симпатией!

— Нет, отношусь с глубокой симпатией. С глубокой печалью. Когда гениальные мыслители думают о человечестве, они почти что вынуждены верить в такого рода психологическое единение. Хотел бы я, чтобы это было так.

— Потому что они отказываются считать себя абсолютными исключениями. Я понимаю это. Но вам не кажется, что такой обмен взглядами действительно может сработать? Ведь иногда это случается?

— О, наверно, время от времени что-то подобное случается. Пьеру Безухову здорово повезло. Конечно, он всего лишь герой из книги. И, конечно, жизнь для каждой личности — это уже удача. Как в книге. Но Пьер был особенно удачлив, раз его взгляд остановил на себе взгляд палача. Мне никогда не выпадала такая удача. Нет, я никогда не видел, чтобы такое случилось. О таком стоит молиться. И, конечно, на чем-то это основано. Это не просто отвлеченная идея. Это основано на вере в то, что в сердце каждого человека живет та же правда, тот же отблеск истинно Божественного духа, и что это и есть величайшее богатство, которым человечество располагает сообща. И я готов согласиться с этим до известной степени. Но хоть это и не отвлеченная идея, я бы не стал на нее особенно рассчитывать.

— Говорят, вы уже однажды побывали в могиле.

— Кто говорит?

— Как это было?

— Как это было. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Мы уже на загородном шоссе. Эмиль гонит быстро.

— В это время ночи движение маленькое. Знаете, я тоже однажды спасся чудом. Это было до Нью-Рошели. Я удрал из школы и слонялся по парку. Озеро замерз-

ло, но я умудрился провалиться под лед. Там был японский мостик, и я пытался карабкаться по сваям, снизу, и сорвался. Это было в декабре, лед был серый. А снег — белый. А вода — черная. Я цеплялся за лед, от страха я напустил полные штаны, а моя душа, как мраморный шарик катилась, катилась прочь. Пришел мальчик постарше и спас меня. Он тоже был прогульщик, он подполз ко мне по льду с веткой в руке. Я схватился за ветку и он вытащил меня. Потом мы пошли в мужскую уборную и там я разделся. Он растирал меня своей замшевой курткой. Я положил свои одежды на батарею, но они никак не высыхали. Он сказал: "Слушай, парень, тебе здорово влетит!" И мне-таки влетело от матери. Она надрала мне уши за то, что я пришел в мокрой одежде.

— Отлично. Ей бы следовало делать это почаще.

— Сказать вам что-то? Я согласен. Вы правы. Это воспоминание бесценно. Оно куда живее в памяти, чем шоколадные пирожные, и куда богаче красками. Но знаете, дядя Сэмmlер, когда на следующий день в школе я встретил того парня, я решил отдать ему свои карманные деньги, что составляло десять центов.

— Он взял их?

— Конечно, взял.

— Обожаю такие истории. Что он сказал?

— Ни слова. Он просто кивнул головой и взял монету. Он сунул ее в карман и вернулся в своим взрослым друзьям. Он, как я понял, чувствовал, что заработал эти деньги там, на льду. Это было заслуженное вознаграждение.

— Я вижу, тебе тоже есть что вспомнить.

— И это очень важно. Каждому нужны воспоминания. Они не впускают в дверь серого волка незначительности.

И все это будет продолжаться. Просто продолжаться, как раньше. Еще шесть миллиардов лет, пока солнце не взорвется. Еще шесть миллиардов лет жизни человечества. Дух захватывает при мысли об этой фантастической цифре. Шесть миллиардов лет! Что станет

с нами? И с другими существами тоже, но главное, — с нами? Как мы справимся со своей задачей? И когда придет время покинуть эту землю и сменить нашу солнечную систему на какую-нибудь другую, какой это будет знаменательный день. Но человечество к этому времени станет совсем другим. Эволюция продолжается. Олаф Стэплдон утверждает, что в будущем каждый человек будет жить не менее тысячи лет. Человек будущего, грандиозная личность красивого зеленого цвета, с рукой, развившейся в набор универсальных инструментов, приборов точных и тонких, с указательным и большим пальцем, способными передать тысячи фунтов давления. Каждый разум превратится в часть замечательного аналитического организма, для которого решение проблем физики и математики и будет лишь частью великолепного целого. Раса полубессмертных гигантов, наших зеленых потомков, нашего рода и племени, неизбежно несущих в себе обрывки и остатки наших огорчительных странностей, так же, как и силу нашего духа. Сейчас научной революции всего триста лет. Представьте, что ей миллион, что ей миллиард лет. А Бог? По-прежнему непознанный, даже этим мощным братством мыслителей, по-прежнему недостижимый?

Роллс-ройс уже ехал по проселочным дорогам. Можно было слышать шелест и шорох свежей весенней листвы над проносившейся под деревьями машиной.

После стольких лет Сэммлер все еще не помнил дороги к дому Элии, петляющей проселками среди пригородных лесов. И вот, наконец, этот дом, наполовину деревянный, в стиле Тюдор, где почтенный хирург со своей хозяйственной женой растил двух детей и играл в бадминтон на тщательно стриженной траве. В 1947 году беженец Сэммлер был удивлен их любовью к играм — взрослые люди с ракетками и воланами. Сейчас лужайка была освещена луной, которая показала Сэммлеру свежесбрившей; гравий на дороге, белый и мелкий, приветливо шуршал под колесами. Вокруг стояли густолистые вязы — старые, старше,

чем все Гранеры, вместе взятые. В свете фар замелькали глаза животных, словно лучи прожекторов, наклонно расположенных вдоль обочины дороги: мышь, крот, сурок, кошка или просто осколки стекла, сверкающие сквозь заросли травы и кустов. Ни в одном окне не было света. Эмиль направил свет фар на входную дверь. Уоллес поспешно рванул дверцу, расплескивая виски на ковер. Сэммлер подхватил налету стакан и протянул его шоферу, объясняя: "это упало". Потом он поспешил вслед за Уоллесом по шуршащему гравию.

Как только за Сэммлером закрылась дверь, Эмиль задним ходом направил машину в гараж. Комнаты были освещены только лунным светом. Это был дом, который неправильно понял свою задачу, так, во всяком случае, казалось Сэммлеру; здесь, по сути, хорошо работали только бытовые приборы. Хотя Элия всегда заботился о нем, особенно после смерти жены, как бы выполняя ее волю. Так же, как Марго выполняла волю Ашера Эркина. На подъездной дорожке всегда был разглажен свежий гравий. Как только кончалась зима, Гранер заказывал свежий гравий. Лунный свет сочился сквозь шторы и пенился, как пергидроль, на шелковистой поверхности белых ковров.

— Уоллес? — Сэммлеру показалось, что он слышит его шаги внизу, в подвале. Если он не включил в доме свет, значит, он не хотел, чтобы Сэммлер мог проследить за его перемещениями по дому. Бедный парень слегка рехнулся. Мистер Сэммлер, вынужденный жизнью, или судьбой, — как хочешь, так и называй, — не соваться в чужие дела и воспринимать увиденное по мере сил в абстрактных категориях, и не собирался подглядывать за Уоллесом в доме его отца, чтобы помешать ему шарить в поисках денег — этих вымышленных, а может, и настоящих, преступных долларов, вырванных за аборты.

Обследование кухни не давало повода думать, что кто-нибудь недавно здесь побывал. Буфетные дверцы были закрыты, раковина из нержавеющей стали и по-

верхность кухонного стола были сухими. Как на выставке кухонной утвари. Все чашки на своих крючках, все на месте. Но на дне мусорного ведра, внутри пакета из коричневой оберточной бумаги валялась пустая консервная банка — туец в собственном соку, сорт Гейша, хранящая свежий запах рыбы. Сэмmlер поднес банку к носу. Ага! Похоже, кто-то здесь обедал. Кто бы это мог быть — не шофер ли, Эмиль? А может, сам Уоллес глотал прямо из банки, без уксуса или заправки? Нет, Уоллес оставил бы крошки на кухонном столе, или грязную вилку, или какие-нибудь другие следы поспешного обеда. Сэмmlер положил обратно испорченную консервную жестянку, опустил педаль ведра и направился в гостиную. Там он пощупал кольцо электрокамина, так как знал, что Шула любит тепло. Камин был холодный. Но вечер был необычайно теплым, так что это ничего не доказывало.

После этого он поднялся на второй этаж, вспоминая по пути, как он, бывало, играл с Шулой в прятки, — в Лондоне, тридцать пять лет назад. Он был очень хорош тогда, повторяя громко вслух: "А где Шула? Уж не в кладовке ли? Сейчас мы посмотрим. Нет, ее нет в кладовке. Где же она может быть? Совершенно непонятно. Может, она под кроватью? Нет, и там нет. Какая умная девочка! Как она замечательно спряталась! Ее просто невозможно найти!" А в это время девочка, тогда пятилетняя, вся дрожа от возбуждения и азарта, бледная от напряжения, скорчившись сидела за медным ведром для угля, прямо попой на полу, а он притворялся, что не замечает ее — ее крупной лобастой головы с маленькой краснотубой улыбкой, — господи, это было в другой жизни! Как печально. Даже если бы не было войны.

А вот теперь, — кража! Это уже серьезно. Притом кража интеллектуальной собственности, что еще хуже. И в темноте он ссылался на свое старческое бессилие. Он слишком стар для этого. Карабкаться вверх, цепляясь за перила, путаясь в утомительно роскошном ворсе ковра. Ему место в больнице. В качестве старого

родственника, ожидающего в приемной. Это для него более подходящее место. На втором этаже были спальни. Он осторожно пробрался в темноте. В такой домашней атмосфере, наполненной застоявшимися запахами мыла и туалетной воды. Этот дом давно никто не проветривал.

До него вдруг донесся всплеск воды, легкое движение воды в полной ванне. Шлепок по поверхности воды. Он протянул руку, растопырив пальцы, и заскользил ладонью по кафелю в поисках выключателя. Во вспыхнувшем свете он увидел Шулу, она пыталась прикрыть нагую грудь полотенцем. Огромная ванна была лишь наполовину заполнена ее небольшим телом. Он увидел подошвы ее белых ног, черный женский треугольник и два тяжелых белых шара с крупными пурпурно-коричневыми пятнами вокруг сосков. Да, да, она принадлежала к некому клубу. Объединявшему по признаку пола. Есть пол мужской, есть женский. Но ему это все до лампочки.

— Папа, пожалуйста, выключи свет.

— Глупости. Я подожду в спальне. Одевайся. И побыстрей.

Он присел на кровать в спальне Анджелы. В комнате, где она жила, когда она была маленькой девочкой. Или начинающей шлюхой. Что ж, люди уходят на войну. Они берут с собой то оружие, которое у них есть, и отправляются на фронт.

Он пересел в будуарное кресло, обтянутое кретеном. Из ванной не доносилось ни звука, он напомнил: "Я жду!" и услышал, как она поспешно зашлепала по полу. Он прислушался к ее шагам, быстрым, тяжелым. На ходу она всегда задевала своим телом разные предметы. Она никогда не ходила, просто передвигая ноги по полу. Она касалась предметов, как бы заявляя свои права на них. И вот, наконец, она вышла из ванной, поспешно кутаясь в мужской шерстяной халат, обернув волосы махровым полотенцем. Она слегка задыхалась, неприятно травмированная тем, что отец увидел ее обнаженной.

— Ну, где же она?

— Папочка!

— Нет уж, это я — пострадавший, а не ты! Где эта несчастная рукопись, которую ты украла уже два раза?

— Это не была кража.

— Возможно, некоторые люди способны создавать новые правила и следовать им, но я не из них, и тебе не удастся меня переубедить. Я уже устроил все, чтобы вернуть рукопись доктору Лалу, но ты унесла ее с моего стола. Это все равно, как если б ты унесла ее прямо из рук доктора Лала. Никакой разницы.

— Зачем толковать это таким образом? И вообще не перевозбуждайся из-за этого.

— После всего, что случилось, не притворяйся, что ты заботаешься о моем сердце и не намекай, что я — старик, который может умереть от апоплексического удара. Тебе это все равно не поможет. Ну, так где этот злополучный предмет?

— Он в полной безопасности. — Она заговорила по-польски. В ярости он запротестовал против этого. Она нарочно старалась напомнить ему о том ужасном времени, когда она скрывалась от немцев, — втянуть в это дело монастырь и больницу, инфекционную палату, куда нацисты явились с обыском.

— Нет уж, оставь. Отвечай по-английски. Ты привезла ее сюда?

— Я сняла копию, папочка. Я пошла в контору мистера Видика...

Сэмплер подавил свой гнев. Раз уж ей не разрешили говорить по-польски, она пустилась на другую уловку, прикинулась ребенком. С ужимкой маленькой девочки, она склонила набок свое вполне взрослое, даже немолодое лицо. Она теперь смотрела на него сбоку, одним прищуренным детским глазом, а подбородок ее застенчиво терся о шерстяной воротник халата.

— Ах, вот как? Что же ты делала в конторе мистера Видика?

— У него там есть копировальная машина. Я иногда делала там копии для кузена Элии. И я знаю, что мис-

тер Видик никогда не уходит домой. Наверно, он ненавидит свой дом. Он всегда сидит в своей конторе, так я ему позвонила и спросила, можно ли воспользоваться машиной, и он сказал: "Конечно, можно." Ну, тогда я поехала туда и сняла копию...

— Для меня?

— Или для доктора Лала.

— Ты что, думала, что я предпочту оригинал?

— Мне казалось, для тебя это будет удобней.

— А что же ты сделала с рукописью и с копией?

— Я спрятала их в камере хранения на Центральном вокзале.

— О господи, на Центральном вокзале! У тебя есть ключи или ты их потеряла?

— Конечно, есть, отец.

— Где они?

У Шулы все было приготовлено. Она протянула ему два запечатанных конверта с наклеенными марками. Один был адресован ему, другой — доктору Лалу.

— Ты что, собиралась отправить их почтой? Ты же знаешь, что в камере хранения можно хранить вещи только двадцать четыре часа. А конверты могли идти по почте целую неделю. Что бы тогда было? Ты хоть записала номера ящиков в камере хранения? Нет, конечно. Тогда, как бы можно было их отыскать, если бы конверты затерялись? Тебе пришлось бы писать заявления, заполнять анкеты и доказывать свои права на собственность. С ума сойти можно!

— Ну, папочка, не бранись так, Я сделала это все ради тебя. Ведь краденое имущество находилось в твоей квартире. Детектив сказал, что это краденое имущество, и всякий, у кого оно находится, является укрывателем краденого.

— Больше никогда не делай мне таких одолжений. Да что с тобой говорить! Ты ведь даже не понимаешь смысла того, что ты натворила!

— Я принесла тебе эту рукопись, чтобы доказать мою преданность твоей работе. Я хотела напомнить, какой это важный труд. Потому что ты сам часто об этом

забываешь. И ведешь себя так, будто Герберт Уэллс — это так, ничего особенного. Может быть, для тебя Герберт Уэллс ничего не значит, но для очень многих людей он представляет огромный интерес! Я все жду, жду, когда ты закончишь свой труд, и рецензии, наконец, появятся в газетах. Я мечтаю увидеть в витринах книжных магазинов портрет своего отца, вместо всех этих дурацких рож с их дурацкими незначительными книжонками.

В конвертах лежали нечищенные, захватанные сотнями рук ключи. Мистер Сэмплер задумчиво смотрел на них. Да, кроме раздражения и беспокойства, она, несомненно, вызывала в нем грустное восхищение. Если, конечно, она сунула в ящик камеры хранения рукопись, а не стопку обесцвеченной бумаги. Нет, он надеялся, что с рукописью все в порядке. Она ведь только слегка тронутая. Его бедное дитя. Существо, им зарожденное и уплывающее в бесформенный беспредельный мир. Как она стала такой? Может быть, всякая внутренняя, интимная, единственно ценная пружинка жизни — та самая сущность, которая и есть "Я" с самого зарождения, с первых дней, — часто теряет рассудок, осознав неотвратимость смерти. Тут могут помочь, утешить, примирить с неизбежным только некие магические силы, и для женщины эти магические силы чаще всего связаны с мужчиной. Так, когда Антоний умирал, Клеопатра кричала, рыдая, что она не желает оставаться в этом скучном мире, который "без тебя хуже хлева!". И что же? Хлев, так что же? Сегодня он вспомнил конец монолога, так подходящий к этой ночи: "Ничего не осталось достойного внимания под мимолетным светом луны". И от него она ожидала, что он окажется достойным внимания, он, сидящий перед ней в кресле, покрытом глянцеvitым чехлом, нагоняющим тоску россыпью красных роз на персиковом фоне. Такие чехлы, словно специально созданные, чтобы угнетать и утомлять душу. Неплохо справлялись со своей задачей. Он, значит, все еще уязвим, все еще чувствителен к мелочам.

И все еще воспринимает подсознательные импульсы. И сиюминутный главный импульс сообщал ему, что этой женщине с ее очевидно женскими формами, столь явственно обрисованными эластичной тканью шерстяного халата (особенно ниже пояса, где было нечто, предназначенное для того, чтобы у любовника захватывало дух), что этой вполне зрелой женщине не следует сейчас требовать от своего папочки, чтобы он сделал подлунный мир достойным внимания. Во-первых потому, что он никогда не был властелином этого мира. Колоссом, посылающим в бой армию и флот, роняющим короны из карманов. Он всего только старый еврей, которому выбили глаз, которого расстреляли, но как-то умудрились не добить до конца, в то время, как все остальные погибли. Убийцы были преобразены особым образом: они были переодеты в униформу, замаскированы одинаковой армейской одеждой, обезличены шлемами, они пришли с оружием, чтобы убивать мальчиков и девочек, мужчин и женщин, проливать кровь, хоронить, а затем выкапывать из земли и сжигать разложившиеся трупы. Человек по природе своей убийца. Природа человека — моральна. Это противоречие можно разрешить только безумием, безумными галлюцинациями, при которых заблуждения совести поддерживаются с помощью организации, в государствах, где взбесившийся строй скрывается за личиной делового администрирования. Там это — дело правительства. И все в таком роде. И вот в этом-то мире он — именно он, о Великий Боже! — должен обеспечить свою нравственно-неустойчивую и умственно-неуравновешенную дочь какими-нибудь высшими целями. Конечно, с Шулиной точки зрения, он слишком деликатен для земной жизни, слишком поглощен своими, исключаящими ее, вселенными. Она жаждала вернуть его себе, связать с собой и сохранить его в своем мире, и все годилось для этого: экстравагантность, нелепая театральность поведения, кража чужих бумаг, бестолковая суета с хозяйственной сумкой, неврастеническая беготня по

свалкам и даже экзотическая, вызывающая изжогу стряпня. О Боже, ее мир! Она сама! Чтобы его высокие идеалы были их общими высокими идеалами. Она вернет его себе, и он, наконец, завершит свой замечательный труд, новый вклад в историю культуры. Ибо она была Культурная. Шула была такая Культурная! Только это мещанское русское слово и годилось тут. К у л ь т у р н а я. И сколько бы она ни простаивала на коленях, сколько бы ни похвалялась перед отцом своим христианством, сколько бы ни бегала по темным исповедальням, сколько бы ни просила патера Роблеса, чтобы христиане защитили ее от гнева ее еврейского отца, — ее безумная приверженность к культуре была истинно и неоспоримо еврейской.

— Прекрасно, значит — мои портреты в витринах книжных магазинов? Отличная идея. Потрясающе. Но при чем тут воровство...

— Это по сути не было воровство.

— А какое слово для этого предпочитаешь ты и что это меняет? Это напоминает мне старую шутку: что нового я узнаю о лошади, если выучу, что по-латыни она называется *equus*?

— Но я не воровка.

— Отлично. Ты не воровка в своем представлении. Только в реальной жизни.

— Я-то думала, ты серьезно относишься к своей работе об Узлесе и тебе будет интересно узнать, правильно ли он предсказал насчет Луны или Марса, и что ты готов заплатить, что угодно, чтобы получить самые последние, самые современные научные данные об этом. Творческая личность не должна останавливаться ни перед чем. Преступление ради творчества — это не преступление. Или ты не творческая личность?

Сэмплеру начало мерещиться, что где-то в нем *faute de mieux**, в его воображении было поле, где множество охотников с противоречивыми намерениями

* Досл. — за неимением лучшего (франц.).

стреляли в оперенный призрак, принятый ими за настоящую птицу. Шула была намерена устроить ему настоящий тест. Был ли он тем, за кого она его принимает? Был ли он созидателем, оригинальным мыслителем, или не был? Да, это был американский тест, и Шула вела себя вполне по-американски. Существует ли американец с недидактическим мышлением? Совершалось ли в Америке когда-либо преступление, жертва которого не была бы наказана ради высших идеалов? Встречался ли там когда-либо грешник, который не грешил бы *pro bono publico***? Так велико было зло полезности и так всеобъемлющ вольный дух объяснения всего сущего. И к тому же такова была психопатология обучения в Соединенных Штатах. Итак, возникал вопрос — был ли Папа действительно творческой личностью, способной на кражу ради Герберта Уэллса? Способен ли он был рискнуть всем ради мемуаров?

— Скажи мне честно, дочка, читала ли ты хоть одну книгу Герберта Уэллса?

— Читала.

— Ты скажи честно — между нами, действительно, читала?

— Одну книжку читала.

— Одну? Прочешь одну книгу Уэллса — все равно, что поплавать в одной волне океана. Что это была за книга?

— Что-то насчет Бога.

— "Бог и невидимый Король"?

— Да, эта.

— Ты дочитала ее до конца?

— Нет.

— Я тоже.

— О, папа, и ты?

— Я просто не мог ее читать. Эволюция человечества с Богом в качестве интеллекта. Я понял суть очень

** Для общего блага (лат.).

быстро, а остальное было так скучно и банально.

— Но все там так умно! Я прочла несколько страниц и была совершенно потрясена. Я ведь понимаю, что он великий человек, даже если я не способна дочитать книгу до конца. Ты же знаешь, я никогда ничего не могу дочитать до конца. Я слишком нервная. Но ты-то читал все остальные его книги.

— Никто не способен прочесть все его книги. Но я прочел многие. Пожалуй, слишком много.

Улыбаясь, Сэммлер вскрыл конверты, вытряхнул из них содержимое и выбросил скомканные бумажные шарики в мусорную корзинку Анджели, изящную вещицу из золоченной флорентийской кожи. Купленную ее матерью во время путешествия. Ключи он опустил в карман, сильно склонившись на бок в кресле, чтобы засунуть их поглубже.

Шула, молча наблюдавшая за ним, тоже улыбнулась, цепко сплетя пальцы вокруг кистей и прижав локтями отвороты шерстяного халата, чтобы он не распахивался на груди, несмотря на полотенце. Сэммлер видел в ванной пурпурно-коричневые соски, заплетенные узором выпуклых вен. А сейчас, после этой выходки, в уголках ее губ таилось простодушное удовольствие от победы. Ее жидкие вьющиеся волосы были туго стянуты, скрыты полотенцем, и только пейсы, как обычно, курчавились над ушами. Она улыбалась так, словно ей довелось отведать запретной волшебной похлебки, и приходилось примириться с тем, что так оно и было. Затылок у нее белый, крепкий. Биологическая сила. Пониже шеи начинался мощный спинной бугор. Спина зрелой женщины. Но руки и ноги не были пропорциональны телу. Единственное зачатое им дитя. Он никогда не сомневался, что ее поступки были продиктованы импульсами из далекого прошлого, наказами предков, хранящимися в подсознании. Он признавал, что то же можно было сказать и о его поступках. Особенно в религиозных вопросах. Она была помешана на молитвах, но ведь и он, если сознаться честно, тоже молился, он тоже нередко обращался к

Богу. Вот только что он спрашивал Бога, за что он так любит эту глупую женщину с плотной, бесполезно чувственной, кремовой кожей, с накрашенным ртом и с дурацким тюрбаном из полотенца на голове.

— Шула, я понимаю, ты сделала это ради меня...

— Ты для меня важнее, чем этот человек, папа. И тебе это нужно.

— Но с этого дня не пользуйся мной как оправданием. Для своих штук...

— Мы чуть не потеряли тебя в Израиле во время этой войны. Я так боялась, что ты не завершишь труд своей жизни...

— Глупости, Шула! Какой еще труд жизни? А быть убитым? Там? Да это лучший конец, который можно себе вообразить! Кроме того, там не было ни малейшей опасности. Смешно!

Шула встала.

— Я слышу, шины шуршат, — сказала она. — Кто-то подъехал.

Он ничего не слышал. У нее было чуткое ухо. Глупое животное, дитя природы, у нее был слух, как у лисы. Вот пожалуйста: вскочила и стоит, напряженно вслушиваясь, — полоумная королева, воплощенная тревога. И эти белые ноги. Ноги, не изувеченные модной обувью.

— Наверно, это Эмиль.

— Нет, это не Эмиль. Придется пойти одеться.

Она выбежала из комнаты.

Сэмплер спустился вниз, недоумевая, куда подевался Уоллес. Звонок в дверь звонит и звонит. Марго никогда не умела звонить, никогда не знала, когда следует оторвать палец от кнопки. Сквозь длинную узкую стеклянную панель он увидел ее: на ней была соломенная шляпа, рядом с ней стоял профессор Г. Лал.

— Мы взяли машину напрокат, — сказала она. — Профессор больше не мог ждать. Мы поговорили по телефону с патером Роблесом. Он не видел Шулу несколько дней.

— Профессор Лал. Империял Колледж. Биофизика.

— Я — отец Шулы.

За этим последовали легкие поклоны, рукопожатия.

— Можно пройти в гостиную. Приготовить кофе? Шула здесь? — сказала Марго.

— Здесь.

— А моя рукопись? — сказал Лал. — "Будущее Луны"?

— В целости и сохранности, — сказал Сэмплер. — Она не здесь, но заперта в надежном месте. Ключи у меня. Профессор Лал, пожалуйста, примите мои извинения. Моя дочь поступила очень плохо. Причинила вам столько неприятностей.

В неярком свете прихожей Сэмплер разглядывал встревоженное и огорченное лицо доктора Лала, — коричневые щеки, черные волосы, аккуратно разделенные элегантно прической, огромная веерообразная борода. Как не адекватны слова — как необходимы несколько одновременно употребляемых языков, обращенных к различным участкам мозга в одно и то же время, особенно к участкам, не вступающим в заурядное общение и яростно функционирующим вне связи с остальными. Вместо того, чтобы выкуривать десятки сигарет, при этом потягивая виски, при этом вступая в сексуальные отношения с тремя-четырьмя присутствующими, при этом слушая всплески джазовой музыки, при этом получая научную информацию, — и так до полного насыщения... вот как беспредельны сегодняшние требования.

Лал воскликнул:

— Это невыносимо! Невыносимо! За что мне послано такое наказание?

— Принеси брэнди доктору Лалу, Марго.

— Я не пью! Я не пью!

Зубы его были стиснуты где-то в черной гуще бороды. Затем, осознав, что кричит, он сказал более спокойным голосом:

— Обычно я не пью.

— Но, доктор Лал, вы сами рекомендуете пить пиво

на Луне. Впрочем, я нелогичен. Давай, давай, Марго, не смотри так озабоченно. Иди и принеси брэнди. Если он не захочет, я выпью один. Принеси два стакана. А теперь, профессор, ваша тревога скоро пройдет.

В гостиную нужно было, так сказать, "погружаться", как в колодец, пруд, бассейн, заполненный ковром. Она была меблирована и убрана с профессиональной полнотой, не оставлявшей места ни для чего другого. С такой полнотой, что если дать себе волю, то сидеть тут становилось невыносимо. Сэммлер был знаком с декоратором покойной миссис Гранер. Крозе был маленький человечек, но он принадлежал к людям искусства, и в том была его сила. У него была осанка дрозда. Его маленькое брюшко выступало далеко вперед и приподнимало его брюки гораздо выше щиколоток. У него был очаровательный цвет лица, волосы, складно уложенные вокруг небольшой головки, рот — бутон розы; после его рукопожатия ваша собственная рука целый день пахла духами. Он был творческой личностью. Вероятно, вполне способной на преступления. Вся здешняя обстановка — его творчество. Много скучных часов протекло в этой гостиной, особенно после семейных обедов. Было бы, пожалуй, неплохо перенять у древних египтян их обычай — отправлять в склеп вместе с покойником всю его мебель. Однако, она осталась здесь — все эти отбросы шелка, стекла, кожи и старинного дерева. Сюда мистер Сэммлер и привел волосатого доктора Лала, маленького, очень темного человечка. Не совсем черного, остроногого долихоцефала дравидического типа, но с округлыми чертами лица. Похоже, он родом из Пенджаба. Тонкие волосатые кисти, щиколотки, лодыжки. Он франт. Макаронник (Сэммлер не мог удержаться от употребления старых выражений, он когда-то в Кракове получал такое удовольствие, отыскивая их в книгах восемнадцатого века). Да, Говинда щеголь. Но он при всем при том — человек чуткий, интеллигентный, умный, нервный, — красивая, элегантная птица в человеческом облике. Главное не-

соответствие — круглое лицо, сильно увеличенное мягкой густой бородой, и острые лопатки торчат сзади, оттопыривая ткань холщового пиджака. Он сутул.

— Разрешите спросить — где ваша дочь?

— Сейчас придет. Я попросил Марго привести ее. Ваш детектив испугал ее.

— Он молодец, что сумел найти ее. Нелегкая работа — он хорошо знает свое дело.

— Не сомневаюсь, но к моей дочери пинкертоновские методы неприменимы. Потому что в Польше, знаете, во время войны — ну, полиция... Ей пришлось прятаться. Поэтому она так испугалась. Это ужасно, что вам причинили такие огорчения. Но что поделаешь, если она слегка...

— Психопатична?

— Это, пожалуй, слишком сильно. Нельзя сказать, что она полностью неконтактна. Она сняла копию с вашей рукописи, а потом заперла копию и оригинал в двух отдельных ящиках камеры хранения на Центральном вокзале. Вот ключи.

Ключи исчезли в тонкой продолговатой ладони Лала.

— Откуда я знаю, что моя книга действительно там? — сказал он.

— Доктор Лал, я знаю свою дочь. И я совершенно уверен. Надежно, как за каменной стеной. Честно говоря, я даже рад, что она не потащила рукопись с собой в поезде. Она ведь могла и потерять ее — например, забыть на скамье. Центральный вокзал хорошо освещен, его охраняет полиция, и если даже один ящик взломают воры, всегда остается второй. Так что нет никаких оснований для тревоги. Я вижу, что ваши нервы на пределе. Вы можете считать, что с этим неприятным происшествием покончено. Рукопись в полной безопасности.

— Сэр, я хочу надеяться, что это так.

— Выпьем брэнди. Нам обоим пришлось пережить нелегкие дни.

— Ужасные. Знаете, у меня было предчувствие ка-

ких-то ужасов в Америке. Ведь я в Америке первый раз. Мне сердце подсказывало что-то.

— И что, все в Америке показалось вам ужасным?

— Не все, но многое.

Марго с грохотом орудовала на кухне: открывала консервные банки, звонко ставила на стол тарелки, хлопала дверцей холодильника, лязгала ножами и вилками. Хозяйничанье Марго всегда напоминало затянувшуюся радиопередачу.

— Я бы мог поехать поездом до Нью-Йорка, — сказал Лал.

— Но Марго не водит машину. Как же быть с этим автомобилем?

— О, черт побери! Совсем забыл! Проклятые машины!

— Мне очень жаль, что я не умею водить машину, — сказал Сэмплер. — Говорят, что не уметь править — это крайний снобизм. Но я в снобизме не повинен. Все дело в моем зрении.

— Мне придется приехать за миссис Эркин.

— Вы можете вернуть машину в Нью-Рошели, но я думаю, что по ночам там закрыто. Где-то, наверно, есть расписание поездов до Пенсильванского вокзала. Но, в любом случае, скоро полночь. Можно, конечно, попросить Уоллеса подвезти вас на станцию, если он не улизнул от нас через заднюю дверь. Уоллеса Гранера, — объяснил он. — Мы сейчас в доме Гранера. Это мой родственник — племянник, сын сводной сестры. Но сначала давайте поужинаем, Марго там уже что-то стряпает. Меня очень заинтересовало то, что вы только что сказали, насчет вашего впечатления от Соединенных Штатов. Когда двадцать два года назад я приехал сюда, это было большим облегчением.

— Конечно, в каком-то смысле, весь мир сейчас — это Соединенные Штаты. Это неизбежно, — сказал Говинда Лал. — Они словно большая ворона, котораяхватила наше будущее из гнезда, а мы, все остальные, как маленькие зяблики, гоняемся за ней, стараясь хоть разок клюнуть. Как бы то ни было, полеты Апполо —

это достижение Америки. Я приглашен работать в НАСА¹. Над другими исследованиями. Это — единственное место, где могут пригодиться мои идеи, если они, конечно, чего-то стоят... Если я говорю сбивчиво, простите. Я действительно очень расстроен.

— У вас были для этого все основания. Моя дочь нанесла вам жестокий удар.

— Сейчас мне уже легче. Я надеюсь, — все это скоро забудется и горечь пройдет.

Разглядывая гостя сквозь затененные стекла очков, затуманенные парами брэнди, мистер Сэмплер все больше проникался симпатией к нему, ибо что-то в нем напоминало Ашера Эркина. Очень часто, гораздо чаще, чем он сам это осознавал, он представлял себе Ашера там, под землей, в той или иной позе, в том или ином цвете различных физических состояний. Так, как он представлял себе иногда Антонину, свою жену. В той огромной могиле, которую, по-видимому, никто не тронул. Из которой он, почти захлебнувшись в крови, выполз когда-то на брюхе, продираясь через грязь, расталкивая трупы. Стоит ли удивляться, что он так часто думает о могиле.

Сейчас Марго на кухне резала лук в большой деревянной площадке. Еда. Жизнь в своих капельных, наполненных светом клетках, продолжает функционировать. Бедный Ашер, оказавшийся в этом самолете в аэропорту Цинциннати. Сэмплеру очень недоставало его, и он признавался себе, что поселился в квартире Марго, только чтобы не потерять окончательно связь с Ашером.

Однако он заметил Ашеровские черты у этого, совсем не похожего на Ашера, Лала — у этого смуглого, бородатого, низкорослого Лала, с узкими, как линейки, запястьями.

И вот, наконец, на лестнице появилась Шула-Слава. На лице Лала, который увидел ее первым, появилось

¹ НАСА — Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (США).

такое выражение, что Сэммлер немедленно обернулся. Она была одета в сари, или в некоторое подобие сари, — отыскала, видно, в шкафу кусок индийской ткани. Но она не смогла обернуть ее вокруг тела надлежащим образом. Частью этой же ткани она обернула голову. Главный непорядок был в области бюста. (Сегодня вечером Сэммлера почему-то особенно заботила чувствительность этой области — вдруг откроется, вдруг заболит? — и страх немедленно отзывался во всем теле). Он не был уверен, что на ней было нижнее белье. Нет, конечно, бюстгальтера она не надела. Какая она белая — плотная, как кожура лимона, кожа, кремовые щеки, а губы ее, сегодня более полные и мягкие, чем обычно, были покрашены какой-то необычной оранжевой помадой. Цвета Неаполитанского цикламена, которым Сэммлер восхищался как-то в ботаническом саду. Кроме того, она наклеила искусственные ресницы. На лбу она намалевала губной помадой индийский кастовый знак. Точно на том месте, где когда-то был синяк от молитв. Главной задачей было — обворожить и успокоить этого сердитого Лала. Глаза ее, когда она торопливо, не глядя, спускалась в колодец гостиницы, уже горели, выдавая (так старик определил это для себя) ее безумие, ее чувственную покорность. У нее были хорошие манеры, но все-таки она слишком много жестикулировала, слишком торопилась, слишком много спешила сказать сразу.

— Профессор Лал.

— Моя дочь.

— Ну да, так я и думал.

— Мне очень жаль. Мне ужасно жаль, доктор Лал.

Произошло недоразумение. Вас окружало столько людей. Вы, наверно, подумали, что я прошу рукопись на минутку, чтобы что-то посмотреть. А я подумала, что вы разрешили мне взять ее домой, чтобы показать отцу. Как я у вас просила, вы помните? Помните, я вам сказала, что он пишет книгу о Герберте Уэллсе?

— Об Уэллсе? Нет, не помню. Но мне кажется, что Уэллс уже сильно устарел.

— И все-таки во имя науки, — да, да, науки! — во имя литературы и истории, поскольку то, что мой отец пишет — исключительно важно для истории, а я помогаю ему выполнить его интеллектуальную и культурную миссию. У него нет больше никого, кто бы мог ему помочь. Я совершенно не намеревалась причинить вам неприятность.

Нет, нет, никакой неприятности. Всего лишь вырыть яму, покрыть ее ветвями, а когда человек в нее свалится, лечь на землю у края этой ямы и завести с ним нежный разговор. Ибо только сейчас Сэммлер начал подозревать, что она утащила "Будущее Луны" специально, чтобы создать обстоятельства, способствующие этой встрече. Выходит, он и Герберт Уэллс были не столь существенны? Было ли все это сделано просто, чтобы привлечь к себе внимание? Не было ли это испробованной стратегией? Раньше когда-то, вспомнил он, некоторые женщины вели себя с ним вызывающе, чтобы вызвать его интерес, и говорили ему всякие колкости в надежде, что это придаст им больше очарования. Не с этой ли целью Шула убежала с чужой рукописью? Чтобы привлечь к себе внимание мужчины? Люди — это один род, но представители разного пола — как два совершенно непохожих диких племени. В полной боевой раскраске подстерегают друг друга в засаде, чтобы удивить и поразить. Этот Говинда, этот хрупкий, проворный, чернобородый живчик, своего рода летающий человек — интеллектual. А она всегда была без ума от интеллектualов. Только они и достойны внимания под мимолетным светом луны. Только они и способны воспламенить ее чресла. Даже Эйзен, вероятно, бросил свое литейное ремесло и превратился в художника среди многих других причины для того, чтобы вернуть ее уважение. Он и сам, возможно, подозревает о своих истинных мотивах, но ему понадобилось доказать, что и он — служитель культуры, как ее отец. И вот он стал художником. Бедный Эйзен!

Шула села на диван почти вплотную к Лалу, почти касаясь его рукой, ладонью, локтем, плечом, слегка на-

клоняясь вперед, чтобы тронуть его коленом. Она уверяла его, что сняла копию с его труда с огромной тщательностью. Она беспокоилась сначала, как бы копировальная машина не стерла тушь со страниц, не обесцветила их. Она ожидала первой копии в безумной тревоге. "Ведь вы пользовались какой-то специальной тушью, и я боялась, что произойдет какая-нибудь вредная реакция. Я бы просто умерла от этого". Но копия получилась отличная. Мистер Видик говорит, что у него отличная машина. А теперь все спрятано в два ящика в камере хранения. Копию она положила в конторский скоросшиватель. Мистер Видик говорит, что на Центральном вокзале можно оставлять что угодно, даже деньги за выкуп. Это очень надежно. Шула хотела бы, чтобы Говинда Лал заметил, как похож оранжевый кружок у нее между бровями на лунный знак. Она все время наклоняла голову, открывая лоб для обозрения.

— А теперь, Шула, дорогая, отправляйся на кухню, — сказал Сэмmlер. — Марго нужна твоя помощь.

— О, папа! — Она попыталась тихим голосом польски объяснить ему, как ей хочется остаться в гостиной.

— Шула! Сейчас же иди. Немедленно!

Она послушалась, щеки ее вспыхнули румянцем обиды. Перед Лалом она хотела проявить дочернюю почитательность, но зад ее выражал раздражение, когда она выходила из комнаты.

— Я ни за что не узнал бы ее, она совершенно преобразилась, — сказал Лал.

— Неужели? Все дело в парике. Она часто носит парик.

Он запнулся. Говинда о чем-то задумался. Скорей всего о том, как он будет вынимать свою рукопись из ящика в камере хранения. Украдкой он пощупал карман пиджака, проверяя, на месте ли ключи.

— Вы поляк? — спросил он.

— Был поляком.

— Артур?

— Да. В честь Шопенгауэра, которым зачитывалась

моя мать. В то время Артур было лучшим из всех имен, которое можно было дать мальчику: вполне интернациональное, отнюдь не еврейское, культурное имя. Одинаково звучащее на всех языках. Хотя сам Шопенгауэр не любил евреев. Он называл их вульгарными оптимистами. Оптимисты? Когда живешь неподалеку от кратера Везувия, лучше быть оптимистом. Когда мне исполнилось шестнадцать, моя мать подарила мне "Мир как воля или представление". Естественно, в этом было лестное предположение, что я уже достаточно серьезен и глубокомыслен. Как великий Артур. Так что я изучил его систему и помню ее до сих пор. Я узнал, что только представления не подчиняются воле — космической силе, воле, которая определяет порядок вещей. Воля — это ослепительная мощь. Внутренняя созидательная ярость вселенной. Все, что мы видим, — это только ее проявление. Как в индийской философии: Майя — покров видимого, который составляет суть человеческого опыта. Да, помнится, согласно Шопенгауэру, вместилище воли находится в человеческих существах...

— А где именно?

-- Вместилище воли находится в половых органах.

Вор в парадном был согласен с этим определением. Он вытащил орудие воли. Он отдернул не покров Майя, а только один из его слоев и показал Сэмплеру свое метафизическое полномочие.

— И вы действительно были другом знаменитого Герберта Уэллса, — это-то, по крайней мере, правда?

— Я бы не хотел декларировать свою дружбу с человеком, которого нет в живых, чтобы подтвердить или опровергнуть это, но было время, когда мы с ним часто встречались, ему тогда было за семьдесят.

— Значит, вы жили в Лондоне?

— Так оно и было. Мы жили в Лондоне, на Вобурн Сквер, возле Британского музея. Мы часто гуляли со стариком. В то время у меня было не слишком много собственных идей, я больше слушал его. Научный гуманизм, вера в независимое будущее, в активное доб-

рожелательство, в разум, в цивилизацию. Идеи в наши дни скорее не популярные. Конечно, мы пользуемся цивилизацией, но мы ее не любим. Я думаю, вы понимаете, что я имею в виду, профессор Лал.

— Надеюсь, что понимаю.

— И все-таки, пожалуй, Шопенгауэр не назвал бы Уэллса вульгарным оптимистом. У Уэллса было много мрачных предвидений. Возьмите к примеру книгу "Война миров". Там марсиане являются на Землю, чтобы покончить с людьми. Они обращаются с людьми, как американцы обращались с бизонами, с разными другими животными, да, собственно говоря, и с индейцами. Уничтожают.

— Ну да, уничтожение. Я предполагаю, вы лично познакомились с этим явлением.

— В некотором роде, да.

— Правда? — сказал Лал. — Я тоже видел кое-что в этом роде. Как пенджабец.

— Так вы — пенджабец?

— Да, и в тысяча девятьсот сорок седьмом году я был студентом университета в Калькутте и свидетелем чудовищной резни, когда мусульмане и индуисты убивали друг друга. С тех пор это так и зовут — великой Калькуттской резней. Я думаю, я насмотрелся на маниакальных убийц.

— О!

— Да-да, раскалывающих черепа дубинками и пропарывающих животы острыми железными прутьями. И на горы трупов. И на насилие, поджоги, грабежи.

— Представляю себе.

Сэмплер разглядывал его. Интеллигентный и отзывчивый человек с выразительным лицом. Конечно, такого рода выразительность может быть признаком повышенной субъективности и некоторой странности ума. Но не опережающего разум воображения. Ему все больше и больше казалось, что этот Лал, как покойный Ашер Эркин, был человеком, с которым можно поговорить.

— Значит для вас это не теоретический вопрос. Как

и для меня. Но эти прекрасные доброжелательные джентльмены — мистер Арнольд Беннет, мистер Герберт Уэллс, обедающие в "Савое"... Олимпийцы, вышедшие из низших классов. Такие милые. Такие серьезные. Настоящие англичане. Я был польщен, что мистер Уэллс избрал меня слушателем его монологов. К тому же я был в него влюблен. Конечно, со времен Польши тысяча девятьсот тридцать девятого года мои представления сильно изменились. Стали совсем другими. Как и мое зрение. Я вижу, вы стараетесь разглядеть, что скрывается за этими темными стеклами. Не беспокойтесь, там все в порядке. Один глаз выполняет свои функции. Как в поговорке: среди слепых кривой — король. Уэллс написал рассказ на эту тему. Не очень хороший рассказ. Во всяком случае, я нахожусь не среди слепых, я просто крив на один глаз. Что же касается Уэллса... он был писатель. Он писал, писал, писал.

Сэмплеру показалось, что Говинда Лал хочет что-то сказать. Когда он остановился, между ними пробежало несколько молчаливых волн, содержащих невысказанные вопросы: Вы? Нет, вы, сэр. Вы говорите! Лал внимательно слушал. Была чуткость в этом волосатом создании, в животном блеске его карих глаз, в благовоспитанности его полной внимания позы.

— Вы хотели, чтобы я рассказал побольше об Уэллсе, раз уж Уэллс стоит за всем этим?

— Это было бы очень любезно с вашей стороны, — сказал Лал. — Я вижу, вы сомневаетесь в ценности того, что Уэллс писал.

— Конечно, сомневаюсь. Seriously сомневаюсь. Всеобщее образование вкупе с дешевым книгопечатанием превращает бедных мальчиков в богатых и могущественных. Диккенс стал богат. Шоу хвастал, что стал человеком после того, как прочел Карла Маркса. Не знаю, правда ли это, но марксизм для широкой публики сделал его миллионером. Если вы пишете для элиты, как Пруст, вы не станете богатым, но если ваша тема — социальная справедливость, а ваши идеи радикальны, вы будете вознаграждены богатством, почес-

тями и влиянием.

— Чрезвычайно интересно.

— Вы находите? Простите меня, но сегодня у меня тяжело на сердце. Сегодня я мрачен и болтлив. А когда я встречаю кого-либо, кто мне приятен, я становлюсь прямо несносно болтливым.

— Нет, нет, пожалуйста, продолжайте свое объяснение.

— Объяснение? Я категорически возражаю против развернутых объяснений. Их стало слишком много. Это делает интеллектуальную жизнь человека неуправляемой. Но я много думал о проблеме Уэллса — Шоу, и о людях типа Маркса, Жан-Жака Руссо, Марата, Сен-Жюста, о замечательных ораторах, о писателях, начавших без всякого капитала, кроме капитала разума, и достигших колоссального влияния. И обо всех остальных — о мелких адвокатах, о читателях, очковтирателях, фельетонистах, об ученых-любителях, прожигателях жизни, свободных художниках, либреттистах, предсказателях судьбы, о шарлатанах и изгоях. О сумасшедшем провинциальном адвокате, который потребовал голову короля и эту голову получил. Во имя народа. Или о Марксе — студенте, университетском парнишке, писавшем книги, которые покорили мир. Он действительно был замечательный журналист и публицист. Как журналист я в состоянии судить о мере его одаренности. Как многие журналисты, он черпал материал из газетных статей, из европейской прессы, но делал это исключительно здорово и писал об Индии или о гражданской войне в Америке, не имея ни о том, ни о другом никакого представления. Зато он был необычайно проницателен, пророчески догадлив, он великолепно владел оружием полемики и риторики. Его идеологический гашиш обладал мощным обаянием. Словом, вы понимаете, что я имею в виду: люди завоевывают авторитет, гении из плебеев поднимаются сперва до дворянских привилегий, а затем — до всемирной славы, и все это благодаря тем благам, которые они, как все бедные дети, приобрели в результате

образования — благодаря азбуке, словарю и учебнику грамматики, благодаря классикам. Наконец, воспарив над своими трущобами и мелкобуржуазными гостиницами, они обращаются к многомиллионным массам. Они то и задают условия; они произносят речи, а затем история следует за их речами. Подумайте о войнах и революциях, на которые нас заранее подписали.

— Несомненно, газеты Индии несут огромную ответственность за все эти бунты, — сказал Лал.

— Можно сказать одну вещь в пользу Уэллса: он, по крайней мере, не потребовал, чтобы цивилизацию принесли в жертву его личным разочарованиям. Он не превратился в объект культа, в особу королевского ранга, в великого героя и вождя масс. Он не стыдился слов, а многие стыдятся.

— Как это понять, сэр?

— Видите ли, — сказал мистер Сэмплер, — в великие буржуазные периоды писатели стали аристократами. Но, став однажды аристократом благодаря своему искусству слагать слова, они чувствуют себя обязанными перейти от слов к делам, к поступкам. Очевидно, для настоящей аристократии заменять поступки словами постыдно. Посмотрите на карьеру мосье Мальро или мосье Сартра. А еще раньше? Вспомните, как Гамлет, почувствовавший свое унижение, восклицает: как шляха, отвожу словами душу...

— И упражняюсь в ругани, как баба, как судомойка.

— Да, это конец цитаты. Или к Полонию: "Слова, слова, слова". Слова нужны старикам или юношам с рано состарившимся сердцем. Что ж, это естественно для принца, отец которого был убит. Но когда люди из презрения к бессильной и бесполезной болтовне шаркают к благородным деяниям, ведают ли они, что творят? Когда они призывают к кровопролитию и защищают террор, когда они предлагают разбить все яйца, чтобы состряпать великий исторический омлет, понимают ли они, к чему призывают? Когда они разбивают зеркало молотком, воображая, что это способ его починить, смогут ли они собрать воедино осколки?

Мне не совсем ясно, какую пользу можно извлечь из моего разоблачительного рассуждения. Ведь я не могу утверждать, что человека во всей его сложности можно объяснить и проконтролировать. Я бы не поручился, что человек — существо управляемое. Но вот Уэллс склонен был верить, что это так. Он долго считал, что цивилизацию меньшинства можно сделать доступной для многомиллионных народных масс, и что это можно осуществить в нормальных условиях. В пристойных, благородно-английских, Викторианских, Эдвардианских, благоразумных, благодарных условиях. Но Вторая мировая война привела его в отчаяние. Он начал сравнивать человечество с крысами в клетке, которые ожесточенно кусают и грызут друг друга. Действительно, все напоминало крысиные клетки. Очень напоминало. Вот и все, что я мог бы сказать об Уэллсе. Да и вам он уже надоел, доктор Лал, мне кажется.

— О, я вижу, вы хорошо знаете этого человека, — сказал Лал. — И как ясно вы все изложили. У вас дар — выражаться сжато. Хотел бы я обладать вашим талантом. Мне так этого не хватало, когда я писал свою книгу.

— Та часть вашей книги, которую я успел прочесть, написана очень ясно.

— Я надеюсь, вы дочитаете ее до конца. Простите меня, мистер Сэмплер, но я совершенно сбит с толку. Я ведь не знаю, куда миссис Эркин привезла меня и где мы находимся. Вы что-то объясняли, но я не понял.

— Мы в округе Уэтчестер, неподалеку от Нью-Рочелли, дом этот принадлежит моему племяннику доктору Арнольду Эли Гранеру. Он в настоящий момент лежит в больнице.

— Ах, вот как. Он что, очень болен?

— У него кровоизлияние в мозг.

— Аневризма? Оперативное вмешательство невозможно?

— Невозможно.

— О господи! Вы, конечно, ужасно обеспокоены.

— Он может умереть завтра—послезавтра. Он умира-

ет. Очень хороший человек. Он вывез нас из депортационного лагеря, меня и Шулу, и все эти двадцать два года он заботился о нас с большой теплотой. Двадцать два года, ни на день не забывая о нас, ни разу, ни словом не попрекнув.

— Настоящий джентльмен.

— Да, настоящий джентльмен. Вы понимаете, ни я, ни моя дочь не можем заработать на жизнь. Я немного подрабатывал журналистикой, но вот уже пятнадцать лет, как это кончилось. Да это и был ничтожный заработок. За последнее время я написал только статью по-польски о Шестидневной войне в Израиле. Но мой проезд в Израиль оплатил доктор Гранер.

— Он просто дал вам возможность быть философом?

— Если можно считать меня философом. Я знаю много объяснений для разных вещей. Честно говоря, большинство из них мне надоели.

— Значит, вы придерживаетесь эсхатологической концепции? Это чрезвычайно интересно.

Сэмплер, которому не очень нравилось слово "эсхатологический", пожал плечами.

— Вы считаете, нам надо вырваться в космос, доктор Лал?

— Вы очень опечалены из-за своего племянника. Может быть, вы не хотели бы разговаривать?

— Если уж разговор завязался и разум получил толчок к коловращению, он продолжает коловращаться и углубляется в проблемы, несмотря ни на что. И может быть, это делает жизнь более сносной, если позволить разуму заниматься своим делом. Хотя я не вижу, с какой стати жизнь должна быть сносной. Мы живем в критические дни. Но что поделаешь? Разум продолжает крутить колесо мыслей.

— Чертово колесо, — сказал хрупкий чернобородый Лал. — Надо сказать, что мне пришлось сделать одну работу для Всемирного технологического института в Коннектикуте. Это крайне изощренное теоретическое исследование, связанное с параметрами порядка в био-

логических системах, на тему о самовоспроизводимости сложных механизмов. Хотя для вас это значит не много, но я сторонник концепции "сигнал-отзыв", связанной с возбуждением одновременных импульсов, и атомных теорий клеточной проводимости. Поскольку вы упомянули Руссо, вам ясно, что человек мог родиться свободным, а мог и не родиться свободным. Но я могу с уверенностью утверждать, что он не мог бы существовать без своих атомных цепей. Надеюсь, вам понравилась моя шутка. Ваше остроумие доставляет мне большое удовольствие. Если это не взаимно, это ужасно огорчительно. Я имею в виду цепную структуру мозговых клеток. Именно они ответственны за порядок, мистер Сэмлер. Однако у меня еще нет чертежей, чтобы вам все это показать. Я еще не такой универсальный гений. Ха-ха-ха! Но, говоря серьезно, надо признать, что биологическая наука развивается сейчас необычайно стремительно. Она так прекрасна, так стройна! Быть участником этого развития — привилегия! Химическая структура, лежащая в основе жизненных процессов, так прекрасна! Это — истинная красота. Да, это очень большая привилегия. Я вдруг осознал, пока вы говорили, что желание жить беспорядочно — это желание отвергнуть основной принцип биологического управления. Который, как уже повсеместно признано, является единственным орудием нашего освобождения, отправной точкой всех импульсов. Да что мы — с ума сошли, что ли? От порядка, от руководящих принципов человек мечтает оторваться, чтобы заполучить необъятное преимущество бесконечной свободы или независимость от импульса. Биологические основы — как крестьянство, но каждый представитель человечества считает себя принцем. Все те же стрекоза и муравей. Когда-то героем наших мифов был муравей, а теперь им стал кузнечик. Мой отец обучил меня математике и французскому языку. Самым главным страхом в жизни моего отца был страх, что его студенты будут вырезать бритвой страницы Британской энциклопедии и уносить их домой для внимательного

прочтения. Он был простой человек. Благодаря ему я полюбил французскую литературу. Я изучал ее сначала в Калькутте, а затем в Манчестере, пока не осознал своих научных склонностей. А теперь о вашем вопросе насчет космоса. Существует, конечно, много возражений против этих концепций. Кричат, что эти деньги лучше тратить на школы или на уничтожение трущоб. Так же, как и ассигнования Пентагону; это, дескать, растрата средств, предназначенных на социальные нужды. Ерунда! Та же бюрократическая пропаганда, но с научно-социальным уклоном. Они сами не прочь бы присвоить эти денежки! Не говоря уже о том, что деньги сами по себе погоды не делают, не так ли? По-моему, не делают. Американцы всегда сорили деньгами. Это, конечно, нехорошо, но есть такое понятие — плодотворный *gaspillage**. Оправданием расточительности может служить поощрение изобретательности, оригинальности, смелости. К сожалению, результаты обычно способствуют только обогащению отдельных лиц, принося неслыханные прибыли, расходуемые на веселую жизнь и создание нечистых состояний. Что касается Вашингтона, то лунная экспедиция — без сомнения, превосходное капиталовложение. Это же зрелищное мероприятие, шоу. Не знаю, насколько точен мой жаргон.

Его глубокий восточный голос звучал необыкновенно приятно.

— Я ведь тоже не судья.

— Но я думаю, вы поняли, что я хотел сказать. Блеск огней. Соединенные Штаты становятся крупнейшим антрепренером научно-фантастических зрелищ. Перед организаторами производства и инженерами открываются большие возможности, но научно-теоретическая ценность их — никакая. Зато тут будет кое-что серьезное для человеческой души. Душа наверняка должна ощущать величие достигнутого. Не полететь туда, куда есть возможность полететь, — это ущемление. Я верю, что человеческая душа чувствует именно

* Расточительство (франц.).

так, а значит — это становится для нее необходимостью. В результате может наступить некоторое отрезвление. Естественно, что технология произведет на умы большее впечатление, чем личности участников. Астронавты могут показаться не героями, а некими супер-шимпанзе. Особенно, если они неспособны выступить с красивыми речами. Но ведь в конце концов речи — это дело поэтов. Если они нужны вообще. Но даже технари, я смею думать, к тому времени облагородятся. А вы, сэр, согласны с тем, что надо полететь в космос?

— А почему бы нет? В некотором смысле это неплохо, хотя я и не думаю, что это может быть рационально оправдано.

— Почему бы нет? Я могу придумать множество оправданий. Я понимаю это как разумную необходимость. Вам следует дочитать мою книгу.

— И что, там я найду неопровержимые доказательства? — Сэмплер улыбнулся сквозь дымчатые очки, даже слепой глаз пытался внести свою лепту в эту улыбку. В аккуратном черном костюме, сухощавый, подтянутый, он сидел очень прямо и трясущимися от напряжения пальцами слегка придерживал колени. Между волосатыми костяшками пальцев дымилась сигарета (он позволял себе выкурить три—четыре сигареты в день).

— Я просто хотел сказать, что вы познакомитесь с моими аргументами; некоторые основаны на истории Соединенных Штатов. После 1776 года у американцев оказался целый континент для экспансии, и это пространство поглотило все их ошибки. Разумеется, я не историк. Но если не позволять себе смелых предположений, то во всем придется полагаться на экспертов. Европа после 1789 года не имела пространства для своих ошибок. И вот результат — войны и революции, причем в конце революций власть оказывалась в руках сумасшедших.

— Так говорил де Местр.

— Разве? Я не очень хорошо его знаю.

— Может быть, достаточно знать, что он с вами со-

гласен. В конце революций у власти действительно оказываются сумасшедшие. Конечно, всегда найдется достаточно безумцев для любого дела. Кроме того, если власть достаточно велика, она сможет породить собственных безумцев с помощью собственного давления. Власть наверняка развращает, но это утверждение по-человечески несовершенно, оно слишком абстрактно. В любом случае необходимо добавить, что по сути обладание властью разрушает разум властителя. Власть позволяет всему, что в нем есть иррационального, покинуть область подсознательного и вторгнуться в реальность. Здесь я прошу прощения — я не психолог. Но, как вы сказали, каждому дозволены смелые предположения.

— Нетрудно понять, почему индусы сверхчувствительны ко всем явлениям перенаселения. Калькутта кишит людьми, это вулкан. Я думаю, китайцы не менее чувствительны к этой проблеме. Да и любая нация с многомиллионным населением. Наш мир так перенаселен, так переполнен, что каждое человеческое существо должно чувствовать: есть какой-то выход, сила разума и профессиональное умение ему подобных может открыть для него дверь. Приглашение к путешествию, бодлеровское стремление вырваться прочь, вырваться из пут земного существования, — как желание превратиться в пьяный корабль, стремление души прорваться в запечатанную доселе вселенную, — все это живо и сейчас, только не следует приписывать этот импульс усталости и тщете жизни, — так же, как не следует планировать такое путешествие как подвиг смертников. Главная проблема в том, что принять участие в такой экспедиции могут только хорошо подготовленные специалисты. Просто тоскующая душа не может полететь, руководствуясь только прямым позывом интеллекта, бездушной потребностью вырваться или невыносимостью земных страданий. Необходимо будет получить образование инженера, необходимо будет надеть всю эту специально сконструированную одежду и примириться с рядом личных органических неудобств. Возможно,

проблемы облучения окажутся непреодолимыми, возможно, в других мирах люди будут подвержены неизвестным заболеваниям. И все же у нас есть вселенная, куда можно сбежать. Уже очевидно, что нам недостаточно нашей единственной планеты. Нельзя отвергать возможность испробовать другие варианты. Нам следует признать экстремизм и фанатизм человеческой природы. Если мы не воспользуемся этой возможностью, наша земля все больше и больше будет казаться тюрьмой. Если мы можем вырваться отсюда и не сделаем этого, мы потом проклянем себя. Земля и земная жизнь будут раздражать нас все больше и больше. Уже при нынешнем положении вещей люди пожирают сами себя. Особенно теперь, когда Тот Свет уже разверзся над нами и только ждет, когда туда полетят обломки, оставшиеся после взрыва. Уж лучше на луну, чем туда.

Сэмплер не был уверен, что это должно случиться обязательно.

— Вы думаете, что живое не хочет больше жить? — спросил он.

— Многие желают покончить с этим, — ответил Лал.

— Что ж, если, как вы полагаете, люди — это существа, обязанные завершить все то, на что они способны, то отсюда следует, что мы должны сами истребить себя. Нам ли это решать? А может быть, следует признать, что с этой точки зрения политика — не что иное, как биология? В России, в Китае, да и здесь очень посредственные люди облечены властью покончить с земной жизнью. Эти наши представители — но не лучшие из нас, а сброд, Калибаны — будут решать за нас, жить нам или умирать. Сейчас человек носится с мыслью о трагедии всеобщей смерти. Не следует ли нам умереть всем вместе свободно, одновременно, выразив этим все человеческие страсти по поводу своей судьбы? Многие говорят, что хотели бы со всем этим покончить. Но ведь очень может быть, что это всего лишь риторика.

— Мистер Сэмплер, -- сказал Лал, — я верю, что вы подразумеваете некую мораль, заложенную в воле к

жизни, в результате которой посредственности, правящие нами, выполняют свой долг положенным образом. Но в этом я не уверен. В биологии нет понятия долга. Нет никаких высших обязательств по отношению к собственному роду. Когда биологическая обязанность воспроизвести свой род выполнена, часто возникает желание умереть. Мы утешаем себя, стараясь извлечь идею долга из биологии. Но долг некрасив. Долг отвратителен, это ничтожность, это угнетение.

— Разве? — сказал Сэмплер, сомневаясь. — Если вы знаете, что такое боль, вы согласитесь, что лучше было вовсе не родиться. Но будучи рожденным, человек уважает власть Создателя, он подчиняется Божьей воле — с теми внутренними оговорками, которых требует от него истина. Что касается долга, — я думаю, вы неправы. Муки долга заставляют человека распрямиться, и этим результатом не следует пренебрегать. Нет, я настаиваю на том, что я сказал вначале. Все же существует инстинкт, противящийся прыжку на Тот Свет.

Обстановка гостиной была забавной декорацией для этой беседы — все эти зеленые ковры, огромные вазы и шелковые драпировки, подобранные покойной Хильдой Гранер. Здесь сам Говинда Лал, — маленький, сутулый, с золотисто-коричневой кожей круглого лица в рамке кудрявой черной бороды, выглядел как восточное украшение, как произведение живописи. Да и Сэмплер сам постепенно, под влиянием окружающей обстановки начал превращаться в часть декорации — розовые щеки, взъерошенные белые волосы на затылке, темные круги очков и ореол сигаретного дыма вокруг головы. Он только что убеждал Уоллеса, что он — восточный человек, и теперь он чувствовал себя таковым.

— Что же касается современной ситуации в мире, — сказал Лал, — я вижу, как личная неудовлетворенность, которая так велика в наши дни, может дать энергетический импульс для величайшей задачи, тайно предназначенной нам судьбой — для разлуки с Землей. Может быть, это просто давление, предшествующее новым свершениям. Чтобы побудить человека к рывку

к луне, необходима равная, противоположно направленная сила инерции. Глубина инерции — примерно двести пятьдесят тысяч миль. Или больше. Похоже, у нас она есть. Кто знает, что из этого может получиться? Помните знаменитого Обломова? Он не мог встать с постели. Это признак инерции или паралича. Противоположность этому — суперактивность, когда бросают бомбы, затевают гражданскую войну, обожают терроризм. Да вы уже упоминали об этом. Не правда ли, мы всегда бежим вперед до изнеможения? Стремимся к цели до полного истощения сил? Похоже, что всегда. Например, я сам, с моим темпераментом. Я могу признаться вам (вы знаете, я просто счастлив, что, благодаря причудам вашей дочери, нам пришлось встретиться — я чувствую, мы сможем стать друзьями) ... Я могу признаться, что я по сути, — понимаете, по самой своей сути, — подвержен депрессиям, меланхолии. Когда я был ребенком, я не мог выдержать расставаний с матерью. Как и с отцом, который был, как я уже вам рассказывал, учителем математики и французского языка. А также разлуки со своим домом, со своими друзьями. Когда гостям приходило время прощаться, я устраивал чудовищные сцены. В детстве я был настоящим плаксом. Каждое расставание было для меня столь тяжелой мукой, что я просто заболел. Должно быть, я переживал разлуку каждым атомом своего существа, так что каждая клеточка из миллиардов клеток моего тела трепетала самостоятельно. Гипербола, думаете? Возможно, гипербола, мой дорогой Сэмлер. Но со времени моих ранних работ в области сосудистой системы я убедился, что природа — не столько инженер, сколько художник. Я не стану утомлять вас деталями моих исследований. Наше поведение — это поэзия, это — метафорический строй, это — великая метафизическая тайна. Начиная от миллиардов высокочастотных приемников мозга в сети кортикоталамуса до грандиозных экологических явлений, где все это отпечатано, записано с помощью мистического кода, в виде сублимированной метафоры. Я говорю о страстях

моего детства, а ведь тело каждого индивидуума насыщено электронами гуще, чем тропические джунгли живыми организмами. И все эти существа ведут и проявляют себя, как образцы поэзии. Я даже не стараюсь преодолеть это впечатление универсальной поэзии, возникшее во мне. Но если вернуться к проблемам моей собственной личности, я вижу, что я решал тогда задачу удаления объектов моей нежнейшей привязанности. Чему полностью противоположна задача удаления в космос — так сказать, эмоциональный плюс. Каждый появляется на свет между ног своей матери, и впоследствии рвется прочь. Одно дело, — видеть издали архипелаги других миров, совсем другое — вырваться туда, устремиться вглубь вселенной без дней и ночей, одно это превращает моря в мелкие лужи, а Левиафана в головастика.

Вошла Марго — невысокая, плотная, стремительная, на крепких ножках, вытирая руки не только о фартук, но и о бока юбки; вошла со словами:

— Нам всем станет лучше, если мы немного перекусим. Для вас, дядя, есть салат из омара, черный хлеб с маслом, луковый суп и кофе. Доктор Лал, как я понимаю, не ест мяса. А как насчет соленого сыра?

— Все, что угодно, только не рыбу.

— А где же Уоллес? — сказал Сэмmlер.

— Отправился с инструментами чинить что-то на чердаке.

Выходя из комнаты, она улыбнулась, улыбка предназначалась доктору Лалу.

Лал сказал:

— Мне очень понравилась миссис Эркин.

Она, подумал Сэмmlер, именно так все и устроила, чтобы тебе понравиться. Я мог бы поручиться, что с нею ты будешь счастлив. Возможно, в результате я лишусь своего прибежища, но я готов примириться с потерей, если все это серьезно. Допустим, что все сиюминутные эгоистические побуждения меркнут в свете возможного полета к другим мирам; тогда и брак мо-

жет стать дружеским союзом — *sub specie aeternitatis*¹. Кроме того, несмотря на малый рост, Говинда был чем-то похож на Ашера Эркина. Ведь женщины не склонны к кардинальным переменам.

— Марго — прекрасный человек, — сказал Сэмmlер.

— Мне так и показалось. И кроме того — она исключительно привлекательна. Давно умер ее муж?

— Вот уже три года.

— Какое несчастье умереть таким молодым, оставив столь очаровательную жену.

— Идемте, я проголодался, — сказал Сэмmlер. Он уже обдумывал, как вытащить из этой новой переделки Шулу. Похоже, что она влюбилась в этого индуса. У нее свои страсти. Свои потребности. Что можно сделать для женщины? Очень немного. Или для Элии, с маленьким фонтанчиком крови в мозгу? Ужасно. Элия периодически возникал в сознании, со странным постоянством, словно его лицо вращалось по орбите вокруг Сэмmlера, — словно он стал его вечным спутником.

Они уселись вокруг стола в кухне Элии и продолжали свою беседу. Теперь, когда Сэмmlер был совершенно очарован Говиндой и видел или воображал в нем сходство с Ашером Эркиным, и от этого проникался к индусу еще большей нежностью, какая-то игра ума вынуждала его время от времени представлять его в совершенно ином свете — этаким восточной диковинкой, таким маленьким, помешанным на космосе, восточным демоном, пытающимся мысленно вырваться из положенных пределов, как шмель с жужжанием пытается вырваться из стакана. Он спрашивал себя, может ли этот парень оказаться в некотором смысле шарлатаном. Нет, нет, только не это. Нет, не следует поддаваться соблазну и подмечать забавные пустячки; на это не осталось времени, — лучше решительно доверять своему чутью. Лал был настоящий человек. Его разговор был разговором, а не просто набором слов. В нем не

¹ С точки зрения вечности (досл.: лат.).

было шарлатанства, просто необычность. Он был прекрасный, надежный человек. Его единственной, бросающейся в глаза слабостью было желание сразу показать свою значительность. Он непрерывно сыпал именами и титулами — Империял колледж, его близкий друг профессор Вэддингтон, его положение прогнозиста-консультанта при профессоре Хойле, его связи с доктором Фельштейном из НАСА, его участие во всемирном симпозиуме по теоретической биологии. Это можно было простить маленькому иностранцу. Все остальное было безукоризненно. Конечно, Сэммлера забавляло, что они беседуют на совершенно различных вариантах английского языка, да еще при этом так подчеркнуто непохожи: верста и коротышка. Для Сэммлера слишком высокий рост означал гипофизарную суперактивность и, возможно, разбазаривание жизненных сил. Очень часто высокие люди отличаются куцыми мозгами, словно усилия при росте истощают мозговые ресурсы. Но самым странным для него после восьми десятилетий протекшей жизни было это неожиданно возникшее чувство дружбы. В его-то годы? Это для молодых, все еще мечтающих о любви и о встрече с особью противоположного пола, которая исцелит все сердечные и душевные раны, которая и сама нуждается в таком исцелении. Потому они и способны к вдруг возникающим склонностям, к внезапным привязанностям, что можно наблюдать сейчас у Марго, у Шулы и у Лала. Для него, в его годы, при том, что он когда-то вернулся с того света, такие внезапные душевные связи были невозможны. Его нормальная, привычная способность к привязанностям уже израсходована. Его некогда человеческая, некогда драгоценная жизнь давно выжжена до тла. Новая зеленая поросль, пробившаяся сквозь черный пепел, — это не более чем естественная настойчивость неутомимой Жизненной Силы, пытающейся начать все сначала.

И все же, пока продолжается этот маленький ужин на чужой кухне (приготовленный Марго со свойственной ей неловкой щедростью), он, невеселый старик,

испытывал особое наслаждение. И ему казалось, что остальные разделяли его радость: и Шула-Слава в своем неудачном сари, которая с выражением восторга в глазах следила за разговором, склонив голову на руки, и повторяла каждое слово мягкими оранжево-алыми губами. И Марго в полном восторге — она была увлечена этим индусом, беседа была высокоинтеллектуальной, и к тому же она, Марго, всех кормила. Чего еще ей можно было желать? Все эти женские слабости согревали старое сердце Сэмлера.

Доктор Лал говорил, что мы, по сути, используем очень малую часть того, что представляет собой наш мозг как счетно-решающее устройство, с его миллиардами немедленных включений.

— Все, что происходит в голове человека, — сказал он, — конечно, для него непостижимо. В каком-то смысле человек, как крыса, ящерица или птица, не в состоянии осознать, что за штука его организм. Но человек, благодаря некоторым проблескам сознания, способен все же ощутить свое сходство с крысой, живущей в храме. В своем внешнем развитии, как существо, как творение природы, он, благодаря мозговой электронике, умеет приспособиться к внешним условиям, но это умение заставляет его особенно остро ощущать ограниченность своих личных возможностей. Вот вам, в худшем случае, крыса в храме. В лучшем случае, — нелепое создание со смутным пониманием своей тонкой внутренней организации, используемой слишком грубо.

— Да, — сказал мистер Сэмлер, — это очень образно сказано, хотя я не вполне уверен, что на свете найдется много людей, организованных достаточно тонко, чтобы ощутить легчайший груз своих огромных, неведомых разуму резервов.

— Мне было бы чрезвычайно интересно узнать вашу точку зрения, — сказал Лал.

— Мою точку зрения?

— О да, папа!

— Да, дорогой дядя Сэмлер!

— Моя точка зрения.

И тут случилось нечто странное. Он вдруг почувствовал, что готов высказаться в полную силу. Вслух. Это было самым поразительным открытием. Не привычное общение с самим собой, естественное для пожилого чудака. Да, он был готов высказаться в полный голос.

— Шула обожает лекции. Я нет, — сказал он. — Я с большим сомнением отношусь к объяснениям и к реалистическим построениям. Мне неприятен современный культ пустых категорий, равно как и люди, делающие вид, что обладают знанием.

— Считайте, что это не лекция, а концерт, — сказал Лал. — Взгляните на предмет с музыкальной точки зрения.

— Концерт. Это больше подходит вам, доктор Лал, у вас такой музыкальный голос. Но концерт — это более соблазнительно, — сказал Сэмплер, опуская стакан на стол. — Концерты — дело профессиональных исполнителей. А я не очень гожусь для сцены. Но времени у нас немного. И готов я или нет... Я слишком долго хранил свои мысли в себе, и мне трудно отказаться от соблазна поделиться кое-какими соображениями. Или впечатлениями. Конечно, старики всегда боятся, что они незаметно для себя выжили из ума. Откуда я знаю, что это не так? Конечно, Шула, которая считает своего папу великим мыслителем, и Марго, которая обожает абстрактные рассуждения, будут это опровергать.

— Конечно, — сказала Марго, — потому что это не так.

— Я так часто наблюдал это в других, почему это не может случиться со мной? Приходится принимать во внимание все комбинации фактов. Я вспоминаю известный анекдот про сумасшедшего. Ему говорят: "Дорогой друг, у вас мания преследования", а он отвечает: "Возможно, но это не мешает другим злоумышлять против меня". Это весьма важный луч света из темного источника. Не могу сказать, что сам замечаю ослабление своих мыслительных способностей, но это ничего не значит. К счастью, мои взгляды можно выразить

кратко. Я думаю, доктор Лал, что вы правы. Биологически и химически организму недоступно понимание собственной сложности и утонченности. У нас есть некое смутное ощущение этого, мы чувствуем, как хаотичны наши внутренние состояния, неразбериха *odi et amo* — любви и ненависти. Говорят, наша протоплазма подобна морской воде. Наша кровь имеет средиземноморскую основу. Но теперь мы живем в социальном мире человеческого общества. Идеи и изобретения омывают наши мозги, которые зачастую, как губки, вынуждены впитывать все, что приносят им течения, и переваривать интеллектуальный корм. Я не говорю, что нет альтернативы для такой смехотворной пассивности, но бывают времена и состояния, когда мы лежим пластом под тяжким грузом кумулятивного сознания и чувствуем на себе давление мира. Это совсем не смешно. Наш мир ужасен, конечно, а человечество в состоянии перманентных революций становится, как мы теперь говорим, модерновым, то есть психопатическим; то же, что прежде называлось царством природы, превращается в парк, в зоологический сад, во всемирную ярмарку, в индейскую резервацию. Кроме того, всегда есть люди, заявляющие свое право переставлять или переиначивать по-своему древнюю дикость, племенную вражду, первичную ярость наших предков, чтобы мы, не дай Бог, не забыли нашу предысторию, нашу дикость и наше животное происхождение. Некоторые даже говорят, что истинный смысл цивилизации состоит в том, чтобы мы могли жить как примитивные люди времен неолита, но в обществе, оснащенном автоматами. Это забавная точка зрения. Однако я не хочу читать вам лекцию. Если человек живет затворником в своей комнате, как я, — несмотря на трогательную заботу, которой окружают меня Шула и Марго, — то в своих фантазиях он иногда выступает перед потрясенной многолюдной аудиторией. Совсем недавно я попробовал прочесть лекцию в Колумбийском университете. Из этого не вышло ничего хорошего. Мне кажется, я поставил себя в глупое положение.

— О, пожалуйста, продолжайте, — сказал доктор Лал, — мы слушаем с большим вниманием.

— Взгляды любого человека или необходимы или никому не нужны, — сказал Сэмлер. — Меня крайне раздражает моя ненужность. Я — чрезвычайно нетерпеливый человек. Мое раздражение доходит порой до бешенства. Это уже клинический случай.

— Нет, нет, папа!

— Однако иногда необходимо повторять общеизвестные истины. Все составители карт должны помещать Миссисипи в определенном месте и избегать оригинальности в этом вопросе. Это может быть скучно, но человек должен знать, где он находится. Миссисипи не может для разнообразия течь в сторону Скалистых гор. Итак, как всем известно, не более, чем два столетия назад большинство жителей цивилизованных стран заявили о своем праве считаться индивидуальностями. Раньше они были рабами, крестьянами, даже ремесленниками, но никак не личностями. Совершенно очевидно, что эта революция во многих смыслах — триумф справедливости (полное освобождение рабов, уничтожение каторжного труда, свобода для души и для совести) — принесла с собой много бед и неприятностей, и потому в более широком понимании ее нельзя считать полным успехом. Я даже не говорю о коммунистических странах, в которых современная революция была всего более извращена. Но для нас результаты ее чудовищны. Давайте рассмотрим только нашу часть мира. Мы впали в крайнее безобразие. Когда видишь, как страдают эти новоиспеченные индивидуальности под гнетом вновь обретенной праздности и свободы, это сбивает с толку. Хотя я часто чувствую себя всего лишь сторонним наблюдателем, они скорее вызывают у меня сочувствие, чем враждебность. Иногда я чувствую побуждение сделать что-нибудь, но это опасная иллюзия — воображать, что можешь сделать что-то существенное для человечества.

— А что же должен делать человек? — сказал Лал.

— Может быть, самое лучшее — навести порядок в

себе самом. Лучший, чем то, что принято называть любовью. Возможно, это и есть любовь.

— Пожалуйста, скажите что-нибудь о любви, — сказала Марго.

— Но мне не хочется. Что я говорил? — видите, я действительно старею. Так я говорил, что превращение людей в индивидуальности оказалось не слишком удачным. Это интересно для историка, но для того, кто понимает, что такое страдание — это ужасно. Сердца, которые не получают воздаяния, души, которым нечем питаться. Подделки бесконечны. Желания бесконечны. Возможности бесконечны. Немыслимые домогательства в сложных вопросах — неограничены. Старые религиозные идеи и мифы возродились в самых детских и вульгарных формах. Орфизм, митраизм, манихейство, гностицизм. Когда мое зрение более или менее в порядке, я почитаю "Энциклопедию религии и этики" Гастингса. И вижу много удивительно схожих событий в прошлом. Но больше всего бросается в глаза исключительная склонность к театрализации, тщательно разработанные способы, подчас вполне художественные, показа себя как индивидуальности и непостижимая страсть к оригинальности, к выделению из толпы, к интересничанью — да, да, именно к интересничанью! И драматическое использование образцов рядом с отказом от образцов. Древний мир подражал образцам и средние века... — но я не хочу выглядеть в ваших глазах как учебник истории, — я хочу только сказать, что современный человек, вероятно, в результате возросшей коллективизации, лихорадочно ищет оригинальности. Идея уникальности души. Отличная идея. Благородная идея. Но в какой форме? В этой убогой форме? О, великий Боже! В этих одежках, с этими патлами, с этими наркотиками, при этой косметике, с гениталиями, с кругосветными путешествиями через моря зла, непотребства и разврата, когда даже путь к Богу идет через непристойность? Как должны ужасать душу эти взрывы ярости, какую малость истинно дорогого может она найти в этих садистских

упражнениях! Но маркиз де Сад по-своему, по-сумасшедшему, был философом эпохи Просвещения. Главной его целью было богохульство. Для тех же, кто (сами того не подозревая) пользуются разработанными им рецептами, цель — вовсе не богохульство; их цель — это гигиена, это удовольствие, которое тоже гигиена, а кроме того — это восхитительная и интересная жизнь. А интересная жизнь — основная забота тупиц.

Может быть, я рассуждаю не очень ясно. Ведь у меня сегодня такой грустный, такой мучительный день. Я понимаю всю чудовищность моего собственного жизненного опыта. Иногда я задаю себе вопрос, место ли мне здесь, среди других людей. Я думаю, что я — один из вас. Но все же совсем другой. Я сам не доверяю своим суждениям из-за необычности моей судьбы. Я был молодым человеком кабинетного склада, а не "деятелем". И вдруг вся жизнь стала сплошным действием — кровь, оружие, могилы, голод. Слишком резкая перемена. Из такой переделки нельзя выйти невредимым. Долго, долго после этого я видел все в самом резком свете. Почти как преступник, как человек, отбросивший прочь все хлипкие построения обыденной жизни, все оправдания, и грубо упростивший свое мировоззрение. Не совсем так, как выразил это мистер Брехт: "*Erst kommt das Fressen, und dann kommt die Moral*"*. Это — хвастовство. Аристотель тоже сказал что-то в этом духе, но без похвальбы и без заносчивости. Как бы то ни было, но под давлением обстоятельств я был вынужден задавать себе простейшие вопросы, типа: "Убью ли я его? Или он убьет меня? Если засну, проснусь ли я когда-нибудь? Я все еще жив или это только видимость жизни?" Теперь я знаю, что человечество предназначило некоторых людей для смерти. Перед ними просто закрывают дверь. Мы с Шулой попали в эту списанную категорию. Если, несмотря на это, вам удастся выжить, то все пережитое оставляет вам изрядную идиосинкразию. Немцы пытались убить

* Сперва — жратва, затем — мораль (нем.).

меня. Потом меня пытались убить поляки. Если бы не господин Чеслякевич, меня бы уже не было в живых. Он был единственным человеком, который не списал меня из жизни. Открыв мне дверь могильного склепа, он сохранил мне жизнь. Переживания такого рода деформируют душу. Я прошу прощения за эту деформацию.

— Но вы совсем не деформированы.

— Конечно, деформирован. Кроме того, у меня навязчивые идеи. Вы, наверно, заметили, что я постоянно говорю об актерстве и оригинальности, о драматизации личности, о театральности как о выражении духовных устремлений человека. Все это бесконечно прокручивается в моем мозгу. Вы даже представить себе не можете, как часто я думаю о Румковском, о сумасшедшем царе иудейском из Лодзи.

— Кто это? — сказал Лал.

— Это человек, волею судьбы ставший достопримечательностью Лодзи, столицы текстильной промышленности. Когда немцы вошли в Лодзь, они сделали Румковского представителем власти. О нем до сих пор спорят в эмигрантских кругах. Этот Румковский был неудачливый предприниматель, уже немолодой. Скандальный продажный тип, директор сиротского приюта, специалист по выманиванию денег, взяточник, — словом, в еврейской общине он был противной и смешной фигурой. С большими склонностями к театральности, что часто встречается в наши дни. Вы когда-нибудь слышали о нем?

Нет, Лал никогда о нем не слышал.

— Ну, значит сейчас услышите. Нацисты назначили его *Judenältester**. Город разгородили на части. Гетто превратили в рабочий лагерь. Детей отобрали и депортировали для уничтожения. Начался голод. Мертвецов выносили на улицу и оставляли прямо на тротуарах, где их подбирали труновозы. И среди всего этого кошмара Румковский был царем. У него был собственный

* Еврейский староста (нем.).

двор. Он печатал деньги и почтовые марки со своим собственным изображением. Он устраивал концерты и спектакли в свою честь. Были церемонии, когда он выходил облаченный в царские одежды. Ездил он в разбитой карете прошлого века, позолоченной и разукрашенной, которую тащила еле живая белая кляча. Однажды он проявил мужество: заявил протест против ареста и депортации своего советника, что в те времена было равносильно смерти. За это его вышвырнули на улицу и избили прилюдно. Он был грозой для евреев Лодзи. Он был царем иудейским. Он был диктатором. В этом была пародия — сумасшедший царь возглавляет гибель полумиллиона подданных. Может быть, он втайне надеялся спасти хоть ничтожную часть. Может быть, своим сумасшедшим паясничанием он хотел отвлечь и позабавить немцев. О, эти ужимки неосуществившейся личности, княжеский или диктаторский бред были очень кстати в момент, когда извечная тайная враждебность к развитию человеческого сознания вынесла из всех затхлых углов и нор гримасничающих клоунов, тщетно пытающихся отстоять свое Я. Немцам, конечно, это могло понравиться. Они всегда были не прочь дополнить юмористическим штрихом свои программы массовых убийств. Похохотать над неуклюжей претенциозностью, над дурными шутками, которые шутит над нами наше собственное Я. Над воображаемым величием насекомых. А кроме того, за этими евреями все равно уже захлопнулась дверь, они принадлежали к разряду списанных в расход. Царь Румковский, без сомнения, доставлял удовольствие немцам своей театральностью. Шутовской царь — ведь это еще больше унижало евреев. Это нравилось нацистам. У них была слабость к смертоубийственным фарсам типа короля Убу. Они забавлялись психологическими извращениями. Это приносило облегчение, смягчало ужасы. Вся эта история помогает понять, какие формы принимает освобожденная совесть и какую кровожадную ненависть, какой восторг испытывает убийца в момент ее, совести, унижения и провала.

— Прошу прощения, но я не могу уловить смысла ваших слов, — сказал Лал.

— Я постараюсь высказаться понятней. Вся беда в том, что я слишком часто разговариваю сам с собой. Но в Книге Иова есть жалоба на то, что Бог требует от нас слишком многого. Иов протестует против того, что он невыносимо возвеличен: "Что такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое? Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его? Доколе же Ты не оставишь, не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою?" И добавляет: "Ибо вот я лягу в прахе; завтра поищешь меня, а меня нет". Слишком большая требовательность к человеческой совести и к человеческим возможностям истощает меру человеческого терпения. Я говорю не только о требованиях морали, но и о способности воображения представить человеческую личность соответствующего масштаба. А что есть, собственно, масштаб человеческой личности? Вот этот вопрос я имел в виду, когда говорил о восторге убийцы при виде унижения посредством пародии — при виде Румковского, царствующего среди дерьма и помоев, правящего трупами. Именно это занимает меня, когда я думаю о театральности всей этой истории. Конечно, исполнитель главной роли был обречен. Многие актеры знают чувство обреченности, только агония не так мучительна. Что же касается подданных Румковского, — всей этой огромной массы приговоренных к смерти, то я полагаю, что, поскольку они голодали, то не чувствовали почти ничего. Даже мать не способна убиваться больше двух—трех дней по поводу отобранного младенца, если она при этом умирает от голода. Муки голода смягчают горе. *Erst kommt das Fressen*. Как видите.

Возможно, мое понимание логики событий ошибочно. Пожалуйста, скажите мне об этом, если вам так кажется. Мне хочется указать на... впрочем, этот человек мог быть безумцем с самого начала; возможно, даже, что шок до некоторой степени вернул ему разум; во всяком случае, в конце своей карьеры он добро-

вольно сел в поезд на Освенцим... Но я хотел бы указать на убожество внешних форм, которые сегодня доступны человечеству, на удручающее отсутствие убедительности в них. Это один из первых результатов современного увлечения индивидуализмом. Фигура типа Румковского — это, конечно, крайний случай. Превеличение в наиболее чудовищном виде. В ней виден распад худших эго-идей. Идеи, взятых из поэзии, истории, традиций, жизнеописаний, кинематографа, журналистики, рекламы. Как указывал Маркс... — Но он не сказал, на что именно указывал Маркс. Он задумался; остальные не нарушали молчания. Нетронутый ужин стыл на его тарелке.

— Я знаю, что старик Румковский был крайне похотлив, — сказал он. — Он щупал маленьких девочек, воспитанниц своего приюта, вероятно. Он ведь знал, что всем суждено умереть. Поэтому для него все, казалось, складывалось как история распада и заката его собственной личности. Возможно, что человек, когда становится безнадежным импотентом, выпячивает особенно грубо и назойливо этот инструмент — свою личность. Я нередко наблюдал это. Помнится, я прочел в какой-то книге, не помню названия, что когда люди придумали для себя это название — Человечность, — они потратили уйму времени, изображая Человечность: смеялись и плакали, пользуясь любой возможностью, даже изыскивая такую возможность; они наслаждались, заламывая руки, исторгая влагу из слезных желез, барахтаясь и плавая в туманной, запутанной, бесполой, бушующей стихии человеческих чувств, захлебываясь в волнах страстей, причитая над своей человеческой судьбой. Это времяпрепровождение было осуждено в книге — главным образом, за недостаток оригинальности. Автор книги предпочитал интеллектуальный аскетизм, ненавидел эмоции и признавал только возвышенные слезы, пролитые после долгой сдержанной борьбы с собой в результате осознанной и продуманной скорби.

Допустим, что не всем по душе театр. Мне, напри-

мер, тоже наскучило наблюдать его так часто и в столь знакомых формах. Я прочел немало сердитых его определений: пережитки прошлого, исторический хлам, мертвый груз, буржуазная собственность и наследственное уродство. Некто может воображать, что носит на шее новое нарядное украшение, восхитительно разрисованное, но мы-то видим со стороны, что это всего лишь мельничный жернов. Так же точно человек безумно гордится своей индивидуальностью, тогда как нам ясно, что это подделка, приобретенная на дешевой распродаже, штамповка из жести и пластика, цена которой копейка. Видя все это, человек может решить, что не стоит труда быть человеком. Где же оно, — это вожаемое Я, которым стоит быть? *Dov'è sia?* — как поется в опере. Это зависит от точки зрения. Это зависит от того, что он считает добродетелью. Это зависит от его талантов и бескорыстия. Конечно, нам справедливо не нравятся лжеиндивидуальность, подделка, банальность и тому подобное. Все это отвратительно. Но и индивидуализм не представляет никакого интереса, если он не выявляет истину. Оригинальность, величие, слава — все это мне не интересно. Индивидуализм дорог мне только как инструмент для добывания истины, — сказал Сэмплер. — Но отвлекаясь от этого на время, я хотел бы суммировать сказанное мною такими словами: история нового времени подняла на поверхность огромные множества, которые после долгой эпохи безымянности и горькой безвестности заявляют свои права на имя, на достоинство, на такую жизнь, которая в прошлом была доступна только дворянам, аристократам, монархам и мифологическим богам. И они хотят наслаждаться всем этим, как наслаждаются люди сегодня. Но это движение масс, как и все великие движения, принесло с собой невзгоды и отчаяние. Успехи не очевидны, страдания неисчислимы, формы частного бытия большей частью дискредитированы, и все это вызвало непреодолимую тоску по небытию. Придется с этим смириться, пока у человечества нет никакой этической жизни и все сводится, бездумно и по-варварски,

к личной воле каждого. И притом еще эта непреодолимая тоска по небытию. Может быть, точнее это следует выразить так: человек хочет посещать все другие состояния бытия, как бы просачиваясь в них; он не хочет проникать туда, как определенная данность, а просто желает охватить все, имея возможность входить и выходить из всех состояний по собственной воле. А если так, то зачем ему быть человеческим? Большинство известных форм существования дает человеку слишком маленькую надежду проявить могучие щедрые силы, заключенные в индивидууме. В бизнесе, в профессиональной деятельности эти силы как бы подавляются: как член общества, как житель большого города, этого гигантского муравейника, как объект принуждения и насилия, как игрушка чужой воли, как муж и отец, обязанный выполнить свой долг перед обществом, человек все меньше и меньше может проявить эти, живущие в нем силы. Поэтому, мне кажется, он и хочет покинуть все известные ему состояния.

Христиан обвиняют в том, что они стремятся избавиться от самих себя. Обвинители понуждают христиан перейти границы своей не удовлетворяющей их человечности. Но разве такой переход не приведет к хаосу? Не повлечет ли он за собой освобождение от самого себя? Что ж, может быть, человеку и пора отказаться от самого себя. Конечно, пора. Если только он может это сделать. Но есть в нас нечто, требующее продолжения. Нечто, заслуживающее быть продолженным, мы знаем это. Дух человечества обманут, опозорен, сбит с толку, развращен, изранен, раздроблен. И все же он знает то, что знает, и от этого знания нельзя избавиться. Дух знает, что его развитие — истинная цель всего сущего. Так мне это видится. Кроме того, человечество не может быть ничем иным. Оно может избавиться от себя только путем всеобщего самоуничтожения. Но нам не дано даже права голосовать "за" или "против". И ни к чему обосновывать доводы в споре, ибо нет никакого спора. Мы можем только уточнять наши мысли. Вот вы спросили меня, и мне захотелось

их высказать. Наилучший выход, который я вижу, — это беспристрастие. Не такое, как у мизантропов, которые отделяют себя от всего, ибо вершат суд над всем. Нет, беспристрастие, которое не судит. Просто желает того, чего желает Бог.

Во время войны во мне не было веры, и мне всегда были не по душе обычаи ортодоксов. Я увидел, что Бога не беспокоит смерть. Ад выражает его равнодушные. Но неспособность объяснить не может быть основанием для неверия. Во всяком случае, до тех пор, пока в нас живо ощущение Бога. Я бы предпочел, чтобы этого ощущения не было. Ведь противоречия так мучительны. Значит, он не думает о справедливости? Не знает жалости? Может быть, Бог — просто болтовня живых? А потом мы видим, как эти живые несутся, как птицы над водной поверхностью, и каждый может нырнуть и не вынырнуть, и уже никогда более не вернуться обратно. И мы, в свою очередь, нырнем однажды и не вынырнем, и никогда не вернемся. Но у нас нет доказательств, что под этой поверхностью нет глубины. Мы даже не можем сказать, что имеем хоть малейшее понятие о смерти. Мы не знаем о ней ничего. Есть тоска, страдание, траур. Их порождают привязанности, нежность и любовь — все, в чем состоит жизнь живых существ, потому что они живые. И есть непонятность, непостижимость. И есть некое смутное представление. Все другие состояния доступны человеческому восприятию. Ничто в мире не является плоско познаваемым. Без этого смутного представления невозможно никакое исследование, никакое познание. Я не исследователь жизни, не естествоиспытатель, я ни о чем не пытаюсь спорить. Конечно, человек рад был бы всех утешить, если бы мог. Я к этому не стремлюсь. Утешители не всегда могут говорить правду. Но очень часто, почти ежедневно, я остро ощущаю присутствие вечности. Может быть, это результат моего не вполне обычного жизненного опыта, а может быть, — результат старости. Должен признаться, что мне это ощущение не кажется старческим. И я готов к тому, что после смер-

ти нет ничего. Если это то самое, что было до рождения, то какое это может иметь значение? Ведь нет никакой нужды получать оттуда информацию. А значит, не о чем беспокоиться. Мне лично более всего будет недоставать моего ежедневного ощущения Бога во множестве его проявлений. Да, именно Его. Доктор Лал, если бы луна дала нам хоть малые метафизические преимущества, то я был бы целиком за переселение. Сама по себе инженерная задача колонизации пространства не представляет для меня особого интереса, если не считать ее необычности и затейливости. Хотя, конечно, это стремление, эта воля к организации научных экспедиций относится к разряду тех иррациональных необходимостей, которые и составляют суть жизни, — жизни, доступной нашему пониманию. И поэтому, я полагаю, мы должны вырваться отсюда, ибо это — наше человеческое предназначение. Если бы оно подлежало рациональному рассмотрению, то, несомненно, было бы рационально сначала навести порядок на собственной планете. И потом, когда наша земля станет землей святых, мы могли бы устремить свои сердца к луне, завести свои машины и взлететь...

— Посмотрите, что это на полу? — сказала Шула. Все четверо поднялись с мест, чтобы посмотреть. С черной лестницы на белый пластик помпейской мозаики стекали струи воды.

— Я вдруг почувствовала, что у меня промокли ноги.

— Где-то перетекла ванна? — сказал Лал.

— Шула, ты не закрутила кран?

— Я совершенно уверена, что закрутила.

— Мне кажется, это не ванна, — поток так и хлещет, — сказал Лал. — Скорей всего где-то прорвало трубу.

Они прислушались: где-то наверху била вода, которая уже торопливо катилась, змеилась, постукивала по ступенькам, свергаясь вниз по лестнице.

— Да, прорвало трубу. Звук такой, будто наводнение.

Лал сорвался со стула и побежал через обширную кухню, прижав к груди хрупкие волосатые кулаки, втянув голову в узкие плечи.

— О, дядя Сэмmlер, что случилось?

Женщины кинулись вслед за индусом. С вынужденной медлительностью Сэмmlер тоже выбрался из-за стола.

Значит, Уоллес все-таки решил проверить, правда ли на чердаке есть фальшивые трубы, наполненные не водой, а преступными деньгами. Но поскольку Уоллес питал слабость к математике, обожал уравнения и проводил бессонные ночи, составляя вероятностные таблицы для карточных игр, Сэмmlер очень надеялся, что прежде, чем взяться за гаечный ключ, он тщательно изучит водопроводную систему.

Сэмmlер старался ступать только на сухие места, но на втором этаже выяснилось, что все его старания тщетны. Ковровый пол коридора превратился в обильно политую лужайку и чавкал под его поношенными башмаками. Дверь чердака была закрыта, из-под нее текла вода.

— Марго, — сказал Сэмmlер. — Немедленно спускайся вниз и звони водопроводчику и в пожарную команду. Сначала позвони пожарникам и скажи им, что ты вызываешь водопроводчика. Не стой, беги скорей. — Он взял ее за руку и подтолкнул к лестнице.

Уоллес, по-видимому, пытался заткнуть дыру в трубе своей рубахой. Он всегда терял голову, когда расчеты оказывались неверными. Рубаха валялась на полу, сам же он пытался свести вместе разошедшиеся края трубы.

— Никак не соединяются, — сказал Уоллес. — Наверно, надо было лучше зачистить швы.

Он сидел верхом на трубе, из которой лилась вода. Борода и грудь доктора Лала были забрызганы. Шула стояла рядом с ними. Если б только большие глаза могли служить механическим орудием! Если бы упорный взгляд и робкие прикосновения могли помочь ей слиться с ним!

— Что, нет никакого крана, чтобы перекрыть воду? — сказал Сэмплер. — Шула, ты здесь промокнешь. Отойди, дорогая, не путайся под ногами.

— Я сомневаюсь, что мы чего-нибудь достигнем этим способом, — сказал Лал. Громко журчала вода.

— Вы правда так думаете? — сказал Уоллес.

Он говорил очень вежливо.

— Я уверен. Во-первых, напор воды очень велик. И вы видите, это соединительное кольцо невозможно сдвинуть, — сказал Лал. Он наклонил трубу и отступил в сторону. Его серые брюки потемнели от воды на бедрах. — Вы разбираетесь в здешней водопроводной схеме?

— В каком смысле — разбираюсь?

— Я хотел бы знать, вода подается централизованно, или у вас есть собственный источник? Если это централизованная подача, необходимо вызвать представителя местных властей. Впрочем, если здесь артезианский колодец, то надо посмотреть в погребе. Раз есть колодец, там должен быть насос...

— Признаться, я понятия не имею.

— А как насчет канализации, она муниципальная?

— И тут понятия не имею.

— Если есть колодец и насос, то должен быть и кран для перекрытия. Я спущусь вниз. У вас есть фонарь?

— Я знаю этот дом, — сказала Шула. — Я пойду с вами.

Она побежала вслед за ним по лестнице в своем небрежно закрученном сари, шлепая сандалиями, спадающими с ног при каждом поспешном шаге.

Сэмплер сказал Уоллесу:

— Тут есть какие-нибудь ведра? Потолок может обвалиться.

— Все застраховано. Не беспокойтесь об этом.

— Тем не менее...

Сэмплер спустился вниз.

Он отыскал два желтых пластиковых ведерка — одно на кухне, одно в кладовке, — и понес их наверх. Типичное поведение бедного родственника, говорил он

себе. Он всегда недолюбливал этот дом, нечего скрывать. Он не мог чувствовать себя здесь непринужденно, ибо ел здесь хлеб своих благодетелей. К тому же весь этот удушливый комфорт, эти комнаты, набитые вещами, все было построено на песке. На искусстве мистера Крозе, у которого рот цветочком, вздернутые ноздри, прическа Оскара Уайльда, округлое брюшко и надушенные пальцы. Элия как-то признался, что Крозе присылал неслыханные по рвачеству и цинизму деловые отчеты. Элия признавал, что получился приличный интерьер, он соглашался, чтобы дом был как у людей, но он не желал, чтобы его обводил вокруг пальца какой-то Крозе, из тех, кто только что вылез из грязи в князи, сколачивающий состояние на пригородных поместьях. А теперь, пожалуйста! — наводнение. Сэммлер просто не мог этого перенести. Типично Уоллесовские штучки! — как история с лимузином, который он утопил в Кротоновском водохранилище, как конное паломничество по Советской Армении, как организация адвокатской конторы для решения кроссвордов, — и все в знак протеста против "никому не нужных" успехов отца. В этом не было ничего нового. Регулярно, из поколения в поколение, преуспевающие семьи даруют миру сыночков анархистов — этих мальчиков-Бакуниных, гениев свободы, поджигателей, разрушителей тюрем, дворцов и всех видов собственности. Бакунин обожал огонь. Уоллес предпочитал воду, другую стихию. Чтобы подумать о любопытных совпадениях, у Сэммлера было достаточно времени, пока он карабкался вверх по залитой водой лестнице с двумя пластиковыми ведрами, легкими и желтыми, словно листья или перья. Любопытно, как сегодня после обеда Уоллес, говоря об отце, сравнил его с рыбой, попавшейся на крючок своей аневризмы, которую по ошибке бросили в неподходящую стихию и она тонет в воздухе.

— А, вы принесли ведра? Что ж, попробуем пристроить их к трубе. Не слишком они нам помогут.

— Все же хоть что-то. Можно открыть окно и вы-

плескивать воду в сточную канаву.

— Ага, по водосточной трубе. Хорошо. Сколько часов мы сможем вычерпывать воду?

— Пока не придет пожарная команда.

— Вы вызвали пожарную команду?

— Конечно. Я послал Марго звонить им.

— Но они же напишут отчет. А потом его затребует страховая компания. Так что лучше убрать отсюда инструменты. Вы понимаете, я хотел бы, чтобы это выглядело как несчастный случай.

— То есть эти трубы так вот взяли и разошлись? Открылись сами собой? Чушь, Уоллес, трубы лопаются только зимой!

— Да, боюсь, что вы правы!

— Ты что, действительно ожидал, что они набиты тысячедолларовыми бумажками? Ох, Уоллес!

— Не браните меня, дядя. Где-то тут точно припрятаны денежки. Уверяю вас, они где-то здесь. Я знаю своего отца. Он умеет прятать. А какая ему теперь польза от этих денег? Ведь он все равно не смог бы признаться, что они у него есть, даже если бы...

— Даже если бы остался жив?

— Вот именно. А то это выглядит так, словно он от нас отрекся. Или будто он собака на сене.

— Ты думаешь, это — выражение, подходящее к случаю?

— Если бы вы это сказали, — конечно, нет, но это же говорю я! Я ведь принадлежу к совершенно другому поколению. У меня никогда не было никакого чувства собственного достоинства. Совершенно другой набор изначальных данных. Никакого врожденного уважения ни к чему. Пожалуй, я действительно разговнял эти трубы.

Сэммлер подумал, как много есть общего в проказах Шулы и Уоллеса. Нужно только остановиться, обернуться и поглядеть, что они еще натворят. Они не обманут ожиданий. Сэммлер подставил второе ведро под трубу. Уоллес, ходивший к чердачному окну опорожнить свое ведро, вернулся, отряхивая грязные мок-

рые руки; черные волосы на его голой груди аккуратно расходились двумя симметричными полукружьями, напоминая нагрудник рясы. Руки у него были длинные, плечи белые, бесполезно широкие. Он улыбался себе самому слегка опущенными уголками рта. Как не раз уже бывало, он вдруг опять напомнил созданный его матерью образ прелестного мальчика — с крупным детским черепом на длинной шее, с четко вычерченной линией бровей, с пушистыми волосами и красивым прямым носом. Но, как на старинных картинах, где наверху изображен иной мир, над головой Уоллеса можно было изобразить символы вечного беспокойства: дым, пламя, блуждающие черные предметы. Внезапные решения, запечатанный разум.

— Если бы он сказал мне, где спрятаны бабки, то, по крайней мере, можно было бы оплатить ремонт после этого потопа. Но мне он не скажет, а вы его не спросите.

— Нет. Я в этом не участвую.

— Вы считаете, я должен сам зарабатывать свои бабки.

— Да. Вешай ярлыки на деревья и кусты. Зарабатывай.

— Я и заработаю. Ведь, по сути, я только и хотел от старика, чтоб он дал на обустройство. Это его последняя возможность показать, что он в меня верит. Желает мне добра. Дает мне как бы свое благословение. Вы думаете, он меня любил?

— Конечно, он тебя любил.

— Когда я был маленьким. А когда стал взрослым?

— Он бы любил.

— Если б только я был таким, каким он хотел. Это вы имеете в виду?

Прячась за своим незрячим взглядом, Сэммлер всегда мог выразить, что думает. Или если бы ты его любил, Уоллес. Ведь это дело взаимное. Приходится быть гибким.

— Это ужасно, что вам среди ночи приходится вычерпывать воду. Вы, наверно, устали.

— Пожалуй. Вообще-то сухопарые старики довольно выносливы. Но я начинаю чувствовать усталость.

— Я и сам начинаю сдавать. А что там внизу? Ужасно? Полю воды?

— Ответа не было.

— И всегда у меня так. Или это у меня такое предназначение, такой способ подсознательно выразить свое Я?

— Зачем позволять так много своему Я? Контролируй его. Посади свое подсознание на тюремный паек.

— Да нет, просто я так нелепо устроен. Это ведь никак нельзя скрыть. Все равно вылезет наружу. Я сам это в себе ненавижу.

Сухопарый мистер Сэмплер элегантно подставляет ведро под прорвавшуюся трубу, из которой яростно хлещет вода.

— Я точно знаю, что папаша приглашал рабочих на чердак, чтобы установить фальшивые трубы.

— Я бы предположил, что если денег действительно много, фальшивая труба должна быть толстой.

— Нет, он бы не стал так делать, это бросалось бы в глаза. У вас о нем совершенно неправильное представление. В нем уйма научного хладнокровия. Он вполне мог выбрать эту трубу. Знаете, как туго могут быть скатаны банкноты? Ведь он же хирург. Уменья и терпенья у него хватает.

И вдруг поток истощился.

— Смотрите, он-таки перекрыл воду. Уже только чуть-чуть каплет. Урра! — сказал Уоллес.

— Доктор Лал!!

— Наконец-то! Он нашел кран. Кто он такой?

— Профессор Говинда В. Лал.

— Профессор чего?

— Он биофизик, насколько я знаю.

— Во всяком случае у него есть голова на плечах. Мне бы никогда в голову не пришло выяснить, откуда в дом подается вода. Оказывается, для этого нужен колодец. Подумать только! А ведь мы тут живем давно, мне было десять лет, когда мы сюда переехали. Вось-

мого июня 1949 года. Я ведь родился под знаком близнецов. Мой цветок — полевая лилия. Вы знаете, что полевая лилия весьма ядовитый цветок? Мы переехали как раз в мой день рождения. Никакого праздника не устраивали; фургон с вещами в тот день застрял в воротах. Да, значит, это не муниципальный водопровод, никогда бы не подумал. — Он пустился в общие рассуждения со свойственным ему легкомыслием. — Говорят, для среднего человека характерно, что он не способен отличить явления природы от результатов человеческой деятельности. Он думает, что дешевые бытовые удобства — водопровод, электричество, метро и горячие сосиски того же происхождения, что чистый воздух, солнечный свет и листва на деревьях.

— Уж так он прост?

— Так утверждает Ортега и Гассет. Ладно, пойду посмотрю, что наделал потоп и вызову уборщицу.

— Ты сам можешь вытереть полы. Не стоит, чтобы лужи стояли до утра.

— Понятия не имею, как надо вытирать полы. Сомневаюсь, чтобы я хоть раз в жизни держал тряпку в руках. Но я, пожалуй, могу разостлать газеты. В подвале полно старых подшивок Таймс. Но, дядя, знаете что?

— Что?

— Не относитесь ко мне плохо из-за этой истории.

— Я и не собираюсь.

— Не смотрите на меня сверху вниз, не считайте меня негодяем...

— Слушай, Уоллес...

— Конечно, вы должны меня презирать. Что ж, я вас попросил. Мне бы очень хотелось, чтобы вы были обо мне хорошего мнения.

— Ты очень огорчаешься Уоллес, когда из твоих затей ничего не выходит?

— Все меньше и меньше.

— Ты хочешь сказать, ты исправляешься, — сказал Сэммлер.

— Вы понимаете, если дом достанется Анджеле, у

меня нет никаких шансов получить эти денежки. Поскольку она не замужем, она его просто продаст. У нее нет никаких сантиментов насчет семейного гнезда. Насчет корней. Да и у меня, впрочем, тоже, если подумать. Отец ведь тоже не так уж любит этот дом. Нет, я не чувствую никаких угрызений совести по поводу наводнения. Все можно восстановить. По безумным ценам. Но ведь счета будет оплачивать агентство, что, конечно, безумное жульничество. Но на то и страховка. Чтобы собственнические чувства постепенно угасали. И я думаю, они и впрямь угасают. — Уоллес умел неожиданно становиться серьезным, но его серьезность была какая-то легковесная. Серьезность, возможно, и была идеалом Уоллеса, его естественной потребностью, но он был неспособен понять, что ему нужно. — Я скажу вам, дядя, чего я боюсь. — сказал он. — Если мне придется жить на точно определенный процент с капитала, я человек конченный. В этом случае я никогда не найду себя. Вы что, хотите, чтобы я заживо сгнил? Я должен вырваться из будущего, которое мне уготовил отец. В противном случае со мной может случиться, что угодно, и все, что случится, для меня — гибель. Мне нужно иметь собственные стремления, а я пока не вижу ничего впереди. Все, что я вижу — это десять тысяч в год, как пожизненный приговор, произнесенный мне отцом. И я должен выскочить из этой клетки, пока он еще жив. Если он умрет, я впаду в такую меланхолию, что буду не в силах и пальцем шевельнуть.

— А не подтереть ли нам тут хоть немного? — сказал Сэмплер. — Или, может быть, принесем газеты и расстелим на полу?

— Это не к спеху. Пусть все горит синим огнем. Все равно ремонт влетит в копеечку. Знаете, дядя, мне кажется, у меня мозгов вдвое меньше, чем надо для осуществления моих затей, и поэтому я всегда останавливаюсь на полпути.

— Значит, ты не чувствуешь никакой связи с домом, тебя не интересуют корни, тебе они ни к чему?

— Ну конечно, нет. Корни? Корни — это так несо-

временно. Это крестьянская потребность в корнях и почве. Крестьянству суждено исчезнуть. В этом истинный смысл современной революции — подготовить мировое крестьянство к новым формам существования. Разумеется, у меня нет корней. Но даже и я недостаточно современен. Во мне полно старых проводов, а ведь и провода — это устаревшая технология. Сегодняшняя техника — это телеметрия, кибернетика. Я практически уже решил, дядя Сэмплер, что если это дельце с Фефером не выгорит, то я уезжаю на Кубу.

— Вот как — на Кубу? Но ведь ты же не коммунист, насколько я знаю?

— Конечно, нет. Но это не мешает мне восхищаться Кастро. Он — стильный парень, он — радикал из богемы, он сумел выстоять против нашей ядерной сверхдержавы. Он и его министры гоняют на джипах. Они устраивают заседания в тростниковых плантациях.

— И что ты хочешь им сказать?

— Нечего смеяться надо мной, это может быть весьма существенно. Дядя Сэмплер, у меня есть ряд идей насчет революции. Когда русские совершили свою революцию, все говорили: "Скачок вперед в новую историческую фазу". Ничего подобного. Русская революция была только отсрочка перед... господи, что за шум! Это пожарные машины. Я лучше спущусь вниз. Они того и гляди вышибут дверь. Они приходят в неистовство, эти ребята, когда у них в руках топоры. А мне нужно алиби для страховой компании.

И он исчез.

Вращающиеся снопы света хлынули во двор из-за деревьев, окрашивая в багрово-красный колер лужайку, стены, окна. Неумолчно звонил колокол, а где-то на дороге прерывисто и надрывно взывала, приближаясь, сирена. Машины подъезжали одна за другой. Сэмплер из чердачного окна увидел, как Уоллес выбежал из дверей, вздев руки кверху, и начал что-то объяснять ребятам в касках, которые выпрыгивали из машин, пружиня каблуками мягких резиновых сапог.

Вода! Вот что они привезли.

Ночью мистер Сэмплер пролежал несколько часов без сна. Этого следовало ожидать: он так переволновался из-за Элии. И из-за наводнения. А также из-за разговора с Лалом; ведь его вынудили высказать свои взгляды — исторические, планетарные, вселенские. Вернее, в обратном порядке: сначала были взгляды планетарные и вселенские, а потом уже спрятанные доллары, водопроводные трубы, пожарники. Сэмплер вышел из дому и начал прогуливаться по саду, туда-сюда по дорожке. Он был недоволен собой. Он что-то объяснял, он высказывался за и против, он наговорил вещей, которые не имел в виду, он имел в виду вещи, которые не высказал. Там, в доме, совершались поступки, там были обсуждения, объяснения, попытки что-то организовать и реорганизовать. И все это — в доме умирающего. Опять наступил черед мелочей, которые люди во что бы то ни стало желали возвеличить, возвысить, выдвинуть в центр внимания: взаимные отношения, убранство квартир, семейные неурядицы, моментальные снимки воров в автобусах, руки пурториканских женщин в бруклинском экспрессе, *odi et amo* притяжения и отталкивания, эмоциональные самоисследования, эротическая оргия в Акапулько, совокупление с приятными незнакомцами. Гражданские дела. Все это — гражданские дела! Люди возвышенного ума, вроде Платона (сейчас он не просто читал лекцию, он читал лекцию самому себе), стремились избавиться от всей этой ерунды — от неурядиц, исков, истерик, всех этих мелочных захудалых дрызг. Другие мощные умы отрицали возможность такого бегства от реальности. Они настаивали, как Фрейд, на том, что самые могучие инстинкты по рукам и ногам связаны этой ерундой, что всякая мелочь — симптом глубокой болезни у существа, вся жизнь которого — болезнь. Что с этим можно поделаться? Нелепо по форме, но, может быть, истинная правда? А может быть, вовсе и неправда? Насущной необходимостью стало избавление от всего этого. И вот почему мистер Сэмплер не мог не поехать на Ближний Восток во время Акабского кризиса.

И сейчас, шагая по саду Элии Гранера, по белому, залитому лунным светом гравию, испачканному черными следами пожарных машин, он опять вызывал в памяти и узнавал причины, побудившие его поехать. Он возвращался в 1939 год. Ему надо было вспомнить Заможский лес, вспомнить самое основное, что он тогда увидел в людях. Когда вещи казались ему истинными, реальными? В Польше, где ему выбили глаз; в Заможском лесу, где он замерзал; в склепе, где он умирал с голоду. И он убедил Элию, чтобы тот отпустил его, отправил туда, где ему удастся восстановить знакомство с некоторыми фактами бытия. С фактами, которые теперь, когда он стал старым и хрупким, заставляли его ноги дрожать сильнее, и чем больше он пытался унять эту дрожь, тем меньше ему это удавалось. Вообще-то таких внешних признаков было немного. Но не стал ли он слишком стар? Его ли дело было отправляться на войну?

Еще в Афинах в самолете он услышал сообщение, что их рейс будет отменен, так как в Израиле уже начались военные действия. Приземление! Нужно выходить из самолета. В аэропорту он чуть не потерял сознание от греческой жары. Ненужные всплески музыки проходили сквозь сознание, не задевая его. Сладкий кофе и липкие напитки тоже были изрядным испытанием. Эта задержка, это напряженное ожидание подавляли его невыносимо. Он отправился в город, зашел в агентства нескольких авиакомпаний, попросил помочь какого-то приятеля Элии, торгующего то ли нефтью, то ли бензином, и, наконец, добрался до израильского консульства, где ему удалось зарезервировать место в первом же самолете компании Эл-Ал. Он прождал в аэропорту до четырех утра в компании журналистов и хиппи. Эти молодые люди, — голландцы, немцы, скандинавы, канадцы и американцы, — разбили свои лагеря в Эйлате у Красного моря. Там бедуины, кочующие древними путями между Аравией и Египтом, продавали им гашиш. Это было веселое местечко. Сейчас они хотели опять туда вместе со своими гитарами. Так они

реагировали на события. Не признавая при этом никаких правительств.

Самолет был битком набит. Невозможно было шевельнуться. Усталому тощему старику трудно было дышать. Телекорреспондент, сидящий рядом с Сэммлером, предложил ему глоток из своей фляги с виски. "Спасибо", — сказал Сэммлер и приложился к фляге. Он жадно глотнул порцию скотча. В этот момент из моря выкатилось солнце, похожее на красную лису. Оно было не круглое, а продолговатое, и болталось где-то совсем рядом. Металлический корпус мотора, эта причудливая система баков, в которых визжал морозный воздух, — то свет, то тьма, то тьма, то свет, — под крылом, прямо перед глазами Сэммлера. Глоток виски из фляги — он внутренне усмехнулся, — окончательно превратился в военного корреспондента. Конечно, он выглядит странно среди людей, спешащих на войну, но не более странно, чем эти богемные типы из каменного века со своими ритуальными бородами. Да и от других тоже вряд ли будет много проку в критических обстоятельствах. Сэммлер хотел бы посылать свои несколько старомодные репортажи мистеру Ежи Шленскому в Лондон для разношерстного польского читателя.

Хорошенькое занятие для человека его лет: в белом картузе и куртке из полосатого индийского полотна трястись в пресс-автобусе прямо вслед за танками в Газу, в Эль-Ариш и дальше. Но кого за это винить? Ведь он сам в это дело влез, никто его не заставлял. В этих американских одежках он, вероятно, казался моложе. Американцы и англичане довольно часто выглядят моложе своих лет. Во всяком случае, он там был. Он был одним из журналистов. Он ходил по завоеванной Газе. На каждой улице подметали осколки выбитых стекол. На площади — груда оружия. Сразу за площадью — кладбищенские стены, купола белых склепов. В пыли — прокисшие объедки, хлебные корки; и над всем этим — запах нагретого солнцем мусора и мочи. Обрывки восточной музыки вырывались из приемников, как дизентерия из кишечника. До смерти комичная

музыка. Женщины, как на подбор пожилые, покупали и продавали что-то на рынке; хотя вообще-то купить было почти нечего. Их черные чадры были прозрачны. Сквозь них можно было разглядеть крупно-костные мужеподобные лица — тяжелые носы, суровые губы над выступающими каменными зубами. Не было в Газе ничего, что могло бы задержать здесь надолго. Автобус остановился, чтобы подхватить Сэммлера, и молодой Отец Невилль в своей болотной вьетнамской униформе встал ему навстречу.

Отец Невилль, который уже повидал современную войну, указывал Сэммлери на то, чего он сам мог бы и не заметить. Когда они миновали последние искусственно орошаемые поля и въехали в Синайскую пустыню, начали попадаться непогребенные трупы арабов. Отец Невилль показал ему первый труп. Сам Сэммлер, скорей всего, ничего бы не заметил, он принял бы его за туго набитый зеленый солдатский рюкзак, упавший с грузовика на белый песок.

Съехавшие с дороги, засыпанные песком, завязшие в дюнах, обгоревшие — всюду были машины: танки, грузовики, транспортеры, расплющенные легковые автомобили с отлетевшими колесами; а вокруг них густо-густо — трупы. В песках были окопы, укрепленные позиции, траншеи, и в них тоже — сотни трупов. Запах напоминал запах мокрого картона. Одежда мертвецов, их зеленовато-коричневые свитера, мундиры и гимнастерки вздулись от набухших тел, от газов и жидкостей. Взбухшие огромные руки и ноги поджаривались на солнце. Собаки пожирали жаркое из человечины. В траншеях трупы стояли, прислонившись к бортикам. Собаки подбирались к ним раболепно, на брюхе. Попадались брошенные своими обитателями низкие палатки, похожие на шатры бедуинов, из белого упаковочного пластика, из пенопласта, из грязных листов целлюлоида, похожих на панцири тараканов или насекомых, на чешую, сброшенную при линьке. Ах, бедняги! Бедные несчастные создания.

— Да, ничего не скажешь, неплохо они тут порабо-

тали, — сказал Отец Невилль. — Как вы оцениваете потери?

— Понятия не имею.

— Я думаю, русские провели небольшой эксперимент, — сказал Отец Невилль. — Теперь они будут знать.

На солнце лица обмякают, чернеют, плавятся, словно вытекают. Мясо прикипает к черепу, носовой хрящ деформируется, губы съеживаются, глаза усыхают, влага заполняет все впадины и сверкает на коже. И надо всем — непривычный запах человеческого сала. Запах сырой бумажной массы. Мистер Сэмплер с трудом подавлял тошноту. Когда они с Отцом Невиллем отправились пешком, их предупредили — ни на шаг не следует отклоняться от дороги, чтобы не напороться на мину. Сэмплер читал священнику белые надписи, сделанные русскими буквами на зеленых боках танков и грузовиков; чаще всего попадалась надпись "ГОРЬКОВСКИЙ АВТОЗАВОД". Оказалось, что Отец Невилль — большой специалист по орудийным калибрам, толщине брони и дальности. Он указывал на следы напалма, понижая при этом голос из уважения к израильтянам, отрицавшим факт его применения. Видите все эти красноватые и фиолетовые пятна? И вот тут на кирпичках — этот розовый цвет с зеленоватым оттенком по краям. Да, безусловно, напалм! Эти евреи — молодцы! Он обсуждал это с Сэмплером как со своим братом-американцем. Причиной тому была все та же длинная полосатая куртка из индийского полотна, грязный белый картуз от Кресга и маленькая записная книжка со страничками, скрепленными спиралькой, — тоже от Кресга, в которой Сэмплер делал заметки для польских газет. Настоящая война. Все уважали убийство. Почему же священник должен был отличаться от других? Он шагал рядом в тяжелых солдатских сапогах, словно был не совсем священником. Он был капелланом. Он был журналистом. Он был не тем, за кого его принимали. Так же, как и Сэмплер. Сэмплер сам бы не мог точно сформулировать, кем он был. Человеком, — в каком-то искаженном смысле слова.

Человеческим существом в момент, когда оно пытается избавиться от пут, привязывающих его к человечеству. Не об этом ли Сэммлер только что толковал на кухне, объясняя доктору Лалу и дамам идею расставания со всяким человеческим состоянием? Когда просил Бога избавить его от своей заботы? Моя жизнь — суета. Я не буду жить вечно. Оставьте меня в покое, чтобы я мог каждое утро ощущать присутствие вечности, слышать ее зов, подняться над мелочами. Оставьте меня в покое.

Он шагал по узкой дороге в обществе Отца Невилля, подбирая разные любопытные вещицы, — раковины, ремни, арабские книжки с картинками, письма, — отступая в сторону, чтобы пропустить грузовики, высоко нагруженные хлебом, покачивающиеся на рессорах. Одно только, самое главное, уже никогда не могло измениться — мертвецы! Мертвецы, разбухающие в своих зеленовато-коричневых и горчичных гимнастерках. Удушливый запах мокрого картона исходил от них. В спящем, обжигающем, разрушительном свете пустыни были видны разбухшие очертания. Их и только их душа принимает всерьез. И, возможно, именно потому инстинкт Сэммлера привел его сюда. Для этого он отправился в аэропорт Кеннеди, сел в реактивный самолет, приземлился в Тель-Авиве, сфотографировался, получил журналистский пропуск, отыскал автобус на Газу, помчался под грандиозное солнечное колесо в белую пустыню, где валяются все эти египетские мертвецы и мертвые машины, — чтобы осуществить свое первое соприкосновение. Исполнились вдруг его желания, в которых он и сам не отдавал себе отчета. А эта война была мелким делом среди других человеческих дел. Даже совсем мелким делом по современным понятиям. Почти ничего. И парнишки, принимавшие в ней участие, после боя играли в футбол в Эль-Арише. Они расчистили для этого место, они пинали и пассовали мяч, они прыгали вверх, они топали по песку. Или вытаскивали книги по философии, химии и биологии и читали их в тени ангаров, готовясь к предстоящим эк-

заменам. А потом его и Отца Невилля позвали, чтобы показать им пленных снайперов, лежащих в грузовике со связанными за спиной руками и завязанными глазами. Лица под этими глазными повязками были полны отчаяния, словно эта война не была столь мелким делом. Видишь сначала все это, потом еще что-то, а потом уже все остальное. И, очевидно, у мистера Сэмплера была насущная потребность увидеть все это, и ради нее он преодолевал дрожь в ногах и желание заплакать при виде снайперов с завязанными глазами. Какие-то люди повезли его к морю. Они вошли в воду, чтобы освежиться. Он тоже вошел в воду и остановился. Вдоль широкой ленты пляжей, на много миль вдаль пена смешивалась с пульсирующим от жара воздухом, образуя причудливые зигзаги вскипающей белизны между песком и бесконечной синевой моря. На мгновение ему показалось, что в воде его не преследует запах разлагающейся плоти, но вскоре он был вынужден повязать носовой платок вокруг лица. Но и носовой платок быстро впитывал запах. Этот запах пропитал его одежду. Он чувствовал его во рту, его слюна была полна этим запахом.

Через десять дней он полетел домой через Лондон. Словно он выполнил какую-то миссию, выяснил какие-то факты по собственному заданию. Он нашел, что современный Лондон изрядно расширился. Он посетил свою старую квартиру на Вобурн Сквер. Он отметил, что уличное движение стало очень оживленным. Он увидел, что на улицах стало больше пьяных, что лондонская реклама открыла для себя обнаженное женское тело, и что на плакатах, развешанных вдоль эскалаторов в лондонском метро, изображены женщины в нижнем белье. Он обнаружил, что его бывшие друзья постарели не меньше, чем он сам. А потом реактивный самолет доставил его опять в аэропорт Кеннеди и вскоре после этого он уже, как обычно, сидел в читальном зале библиотеки на Сорок второй улице над томом Мейстера Эркхардта.

Блаженны нищие духом. Нищ же тот, кто ничего не

имеет. Нищий духом восприимчив ко всему духовному. Только Бог — это дух Духа. Плоды Духа — любовь, радость, покой. Позаботься о том, чтобы ты был свободен от всех живущих и от утешения, которое они способны дать. Ибо пока живущий утешает тебя и может утешить тебя, воистину нет тебе утешения. И только когда ничто, слава Богу, не сможет тебя утешить, Бог сумеет утешить тебя.

Мистер Сэмплер не мог бы сказать, что он полностью разделял мнение автора книги. Но он мог сказать, однако, что никакое другое чтение не приносило ему радости.

Лужайка перед домом, до половины облицованным деревянными панелями, была влажной, пахло травой. Или это сама земля под ногами благоухала свежестью? Он увидел Шулу, она шла навстречу ему сквозь чисто промытый лунным светом воздух.

— Почему ты не спишь?

— Я иду спать.

Он лег в постель, и она укрыла его афганским пледом Элии. Он лежал и удивлялся тому, что принадлежит к этой поразительной породе, сумевшей организовать собственную планету до такой степени. Он думал о несметном множестве изобретательных существ, половина которых сейчас погрузилась в сон, — головы на подушках, тела укрыты простынями, пледами, одеялами. Бодрствующие, словно команда воздушного лайнера, следят за работой мирового мотора, и все идет вверх, вниз и по спирали с точностью до миллиардной доли градуса; кожухи моторов снимают и заменяют новыми, в пространстве прочерчиваются миллионно-мильные траектории. И все это делают бодрствующие гении. А спящие спят — скоты, мечтатели, фантазеры. А потом они проснутся и сменят тех, других, которые отправятся спать.

Вот таким образом блистательный род человеческий управляется со своим вращающимся шариком.

И он на время присоединился к спящим.

Умывальник в маленькой уборной позади кабинета был из темного оникса, с золоченой арматурой, с кранами в виде дельфинов, с фарфоровой мыльницей в виде раковины, с полотенцами, пушистыми и мягкими, как мех норки. Зеркала украшали все четыре стены; мистер Сэмплер увидел себя в новых аспектах, и ему это не доставило удовольствия. Пенистое мыло пахло сандаловым деревом. Бритвенное лезвие затупилось, пришлось его наточить о фарфор. Весьма возможно, этим лезвием пользовались дамы, чтобы брить волосы на ногах. Сэмплеру не хотелось подниматься вверх в поисках другой бритвы. Хозяйская спальня сильно пострадала от наводнения. Дамам пришлось оттащить матрасы с кроватей в сухой угол. Доктор Лал спал в комнате для гостей. Уоллес? Весьма возможно, он провел ночь, стоя на голове, как йог.

Сэмплер вдруг прервал бритье и замер, уставясь на собственное отраженное в зеркале маленькое, сухое, "ухоженное" лицо, вспыхнувшее неожиданно ярким румянцем. Даже набухший и мутный невидящий левый глаз слегка заблестел в зареве этого румянца. Где они все? Приоткрыв дверь, он слегка прислушался. Ни звука. Он вышел в сад. Машина доктора Лала исчезла. Он заглянул в гараж, там тоже было пусто. Исчезли, убежали, смылись!

На кухне он обнаружил Шулу.

— Что, все уехали? — сказал он. — Интересно, как я доберусь до Нью-Йорка?

Она процеживала сквозь конический фильтр кофе, который варила по французскому рецепту.

— Все уехали, — сказала она. — Доктор Лал не мог ждать. Для меня не нашлось места в машине. Ведь машина, которую он арендовал — двухместная. Роскошный "остин-хейли", ты заметил?

— А где Эмиль?

— Ему нужно было отвезти Уоллеса в аэропорт. У него сегодня пробный полет. Ты знаешь, для этой его затеи. Ну, эти фотографии с самолета и все такое.

— А я застрял здесь. Где расписание? Мне срочно надо в Нью-Йорк.

— Сейчас уже больше десяти, поезда идут довольно редко. Я позвоню, спрошу. Скоро приедет Эмиль и отвезет тебя на станцию. Ты спал, и доктор Лал не хотел тебя беспокоить.

— Какое невнимание! И ты, и Марго знали, что я спешу в город.

— Машина у него просто прелестная. Марго выглядела в ней довольно нелепо.

— Не раздражай меня.

— Папа, ты заметил, что у Марго ужасно толстые ноги? Ты, наверно, никогда не замечаешь таких вещей. Впрочем, когда она сидит в машине, их не видно. Доктор Лал позвонит тебе попозже. Так что ты еще увидишься с ним.

— С кем, с Лалом? А зачем? Я надеюсь, его рукопись там?

— Там?

— Не сердись меня, не повторяй мои вопросы! Я и так сержусь. Почему ты не разбудила меня? Я спрашиваю, его рукопись действительно в камере хранения?

— Я положила ее туда собственными руками и заплатила за это двадцать пять центов. И взяла ключи с собой. Нет, ты увидишь его не из-за рукописи, а из-за Марго. Она за ним охотится. Впрочем, ты и этого не заметил. А я бы действительно хотела поговорить с тобой об этом, папа.

— Не сомневаюсь, что ты хотела бы. Честно говоря, я заметил тоже. Что ж, она вдова, она уже достаточно походила в трауре, и ей нужен кто-нибудь. Вряд ли мы служим ей особым утешением. Я, правда, не могу понять, что она нашла в этом волосатом маленьком человечке. Я полагаю, это просто от одиночества.

— Я как раз могу ее понять. Доктор Лал — особенный человек. И ты это знаешь. Не притворяйся, я виде-

ла, как ты разговаривал с ним на кухне. Это было замечательно!

— Ладно, ладно. Что мне делать сейчас? Ты знаешь, дела Элии очень плохи.

— Правда?

— Хуже быть не может. И вот теперь я не знаю, как отсюда выбраться!

— Папа, я все устрою. И ты не добрился. Иди, брейся, а я принесу тебе чашку кофе.

Он отправился в ванную, думая о том, как они ловко избавились от него. Отстранили. Как Цезарь Помпея или Лабiena. Ему не следовало уезжать из города. Теперь он отрезан от своей базы. Как же все-таки добраться до Элии, который так нуждается в нем сегодня? Взявши трубку в кабинете, чтобы позвонить в госпиталь, он услышал сигнал "занято" — это Шула пыталась дозвониться на Пенсильванский вокзал. Сейчас нужны были качества, которых у Сэмлера не было никогда: терпение, способность ждать. Однако он старался развить их в себе путем тренировки. Нужно начинать с внешнего самообладания. Он уселся на маленький пуф напротив дивана, уставясь на роскошный шелковистый зеленый ворс афганского пледа, которым он укрывался прошедшей ночью. Утро было воистину прелестное. Пока он прихлебывал принесенный Шулой кофе, в комнату заглянуло солнце. Стеклянные столики на ножках и на полукруглых бронзовых подставках отбрасывали причудливые радужные блики на восточный ковер на полу.

— Все время занято, — сказала Шула.

— Я знаю.

— Сейчас во всем Нью-Йорке телефонный кризис. Специалисты ломают голову над этим.

Она вышла в сад, а Сэмлер снова попытался связаться с больницей. Но все номера были заняты, и он, отчаявшись, положил на место бесконечно попискивающую трубку. Представить себе невозможно это космическое количество разговоров, связей, коммуникаций. Использование невидимых сил вселенной. Вни-

зу, в саду, Шула тоже вела разговор. В саду было тепло. Там росли тюльпаны, нарциссы, жонкилии с тонким нежным запахом. Похоже, она выясняла у цветов, как они поживают сегодня. Ответа ей не требовалось. Достаточно было их прекрасного вида. Сама Шула была тоже прекрасным видом чего-то, органически странного. Оттого, что вчера он увидел ее всю, сегодня, наблюдая, как она ходит по траве, он ощущал даже ее физический вес. Все ее женское тело вспоминалось при этом, ровная белая кожа, торс, ступни, живот с треугольником внизу и курчавые волосы, — как те, что выбиваются из-под косынки. Все доступно взгляду и прикосновению. А кто знает всю правду даже о растениях? Как-то они с Марго видели по телевизору передачу о ботанике, который умудрился подсоединить самозаписывающий прибор — детектор лжи — к цветам и записать различные реакции роз на нежные и грубые возбудители. Он утверждал, что грубость заставляла их съеживаться. Когда на землю перед ними бросили мертвую собаку, они отшатнулись. Сопрано, поющее колыбельную, вызвало противоположный эффект. Сэммлер предположил, что сам исследователь, с его бледностью, косящим взглядом и острым носом всезнайки, вызывал отвращение у роз и африканских фиалок. Даже при отсутствии нервов эти организмы умели отличать хорошее от плохого. Мы же с нашим избытком воспринимающих устройств находимся в состоянии нервного хаоса. Тени деревьев трепетали на ковре, тени оконных рам лежали неподвижно; блики от стекла и бронзы переливались, играли; среди всего этого мистер Сэммлер протирал ботинки бумажным полотенцем, которое Шула постелила на поднос под кофейной чашкой. Ботинки все еще не высохли. Они были влажные, противные. У Марго тоже были подопечные растения, и Уоллес готовился открыть бизнес, связанный с растениями. Очень жаль, если первые контакты с миром растений окажутся полностью в руках сумасшедших. Может быть, имеет смысл самому поговорить с ними? На сердце у мистера Сэммлера было тяжело, и он старался

отвлечься. Однако тяжесть на сердце не отступала.

Он опять вернулся к болевой точке. Какой странный знак, — этот потоп, что Уоллес устроил на чердаке. Ведь это же метафорически представленное состояние Элии. В связи с этим состоянием возникали другие образы: вздувающийся нарываами мозг, накупь ржавой кровянистой пены на этом особом растении, которое растет у нас в голове. Нечто вроде вьюнка. Или, скорей, вроде толстой цветной капусты. Этот кран, набинченный на артерию, не может понизить давление, а значит, сосуд должен лопнуть там, где он тоньше паутины. И тогда — наводнение, потоп! Надо стараться думать о чем-то утешительном... О чем бы? Ну да, о жизни! Каждый, кому она дана, обречен ее потерять. Или можно считать, что сейчас наступил звездный час Элии, когда он сможет проявить свои лучшие стороны. Да, но все это хорошо до поры, пока смерть не посмотрела тебе прямо в глаза. Тогда всем этим мыслям грош цена. Все дело в том, что он, Сэмплер, именно сейчас должен был быть в больнице, — чтобы сделать то, что должно быть сделано; сказать то, что должно быть сказано и что может быть сказано. Собственно, он сам не знал точно, что могло и должно было быть сказано. Он бы не мог определить это. Когда человек, как он, живет только внутренней жизнью, вырабатывая только свои собственные предельно сжатые заключения, он становится некоммуникабельным. Всякая попытка объяснить и выразить свои взгляды становится утомительной и раздражающей, он хорошо понял это вчера вечером. Но он не чувствовал себя некоммуникабельным с Элией. Напротив, он бы хотел высказать все, что возможно. Он хотел немедленно оказаться в больнице, чтобы сказать хоть что-нибудь. Он любил своего племянника, в нем было нечто, в чем Элия нуждался. Как, впрочем, в каждом, кто любит. Конечно, первое место у смертного одра Элии принадлежало Анджеке и Уоллесу, но что-то было непохоже, чтобы они собирались его занять.

Элия был врач и бизнесмен. Но надо отдать ему

должное, он не был бизнесменом со своей родней. Тем не менее, у него был кругозор бизнесмена. А бизнес в Америке, стране бизнеса, тренировал души определенным образом. Люди ужасно боялись прослыть непрактичными, неделовыми. Умиравший Элия, вполне возможно, поддерживал себя тем, что продолжал заниматься своим бизнесом. Да, именно это он и делал. Он продолжал совещаться с Видиком. А у Сэмплера не было никаких деловых соображений, которыми он мог бы поделиться с Элией. Но ведь в последний момент бизнес вряд ли мог послужить Элии утешением. Некоторые люди, несомненно, продолжали бы обсуждать свои дела до последнего вздоха, но Элия был не из таких, он не был настолько ограничен. Элия не все подчинял деловым соображениям. Он еще не дошел до этого чудовищного состояния механического насекомого — до этого полного поражения, до этой победы насекомых над человеком. Даже теперь (теперь, возможно, более, чем обычно) Элия был способен на человеческие проявления. А ведь он, Сэмплер, не разглядел этого вовремя. Вчера, когда Элия начал говорить об Уоллесе, когда он обличал Анджелу, ему, Сэмплеру, не следовало уходить. Ведь тут могла возникнуть предельная откровенность. Любая фраза могла стать минутой истины. Конечно, смысл всех обычных разговоров сводился к систематической лжи. Но Элия вовсе не герметически завершенная непроницаемая система. Он не кристалл, не сосулька. Поглаживая пальцами длинный шелковистый ворс афганского пледа, Сэмплер думал о том, что они с Антониной были словно предназначены продемонстрировать всю тщету отчаянных взлетов на качелях высшей интуиции над вечным, смрадным, жадно разверстым зевом могилы. Он, Артур Сэмплер, не согласился с этим, он сопротивлялся до конца. И Элия тоже был сторонником такого, казавшегося дискредитированным, жизненного поведения, которое защищали в наши дни только немногие. Не само поведение ушло из жизни — ушли старые слова. Исчезли привычные формы и знаки. Не сама честь, но

слово "честь". Не добродетельные порывы, а их определения, низведенные до плоской бессмыслицы. Не сочувствие; кстати, что же такое выражение сочувствия? Ведь выражения сочувствия были до смерти необходимы. Выражения, звуки, слова надежды и страсти, восклицания боли и горя. Все они были подавлены, объявлены вне закона. Иногда эти знаки появлялись в зашифрованном виде, в непонятных иероглифах, начертанных на окнах обреченных зданий (например, на окнах закрытой портняжьей мастерской в доме напротив больницы). На этой стадии жизнь приобрела чудовищную немоту. Ни о чем существенном нельзя было говорить вслух. И все же можно было подавать знаки, их следовало подавать, это было просто необходимо. Следовало бы объявить нечто вроде: "Неважно, насколько реальным я кажусь тебе, а ты кажешься мне, — мы гораздо менее реальны, чем нам это кажется. Мы все умрем. И что бы то ни было, это наш предел. Это наш предел". Мистер Сэммлер полагал, что вовсе не обязательно говорить столь многословно, можно сказать это молча. В сущности, это повторяли все и всегда, под видом других утверждений. И во всяком случае, всем было известно, что есть что. Но в настоящий момент Элия особенно нуждался в таком знаке, и он, Сэммлер, должен был быть с ним, чтобы этот знак подать.

Он снова позвонил в больницу и попросил соединить его с дежурной сестрой. К его удивлению, телефон ответил ему голосом Гранера. Значит, можно было звонить прямо Элии? Но ведь звонки должны его беспокоить. Нет, даже со смертоносной опухолью в голове он все еще не хочет выходить из игры, все еще делает свой бизнес.

— Как ты себя чувствуешь?

— А вы как, дядя?

Реально вопрос мог означать: "Где же вы?"

— Все же, как ты себя чувствуешь?

— Никаких перемен. Я думал, вы приедете меня проведать.

— Я буду у тебя очень скоро. Мне ужасно жаль, но ведь всегда так: когда особенно спешить, что-нибудь как на зло задерживает. Это уж обязательно.

— Вы вчера уехали, а мы не все еще обсудили. Нас отвлекла Анджела и другие неразрешимые проблемы. А ведь я хотел кое о чем расспросить вас. Про Краков. Про старое время. И между прочим, я рассказал о вас тут одному врачу из Польши. Я похвастался, что вы мой дядя. Он очень хотел бы почитать ваши статьи для польских газет о Шестидневной войне. У вас есть копии?

— Конечно, сколько угодно. Только дома.

— А вы не дома сейчас?

— Нет, не дома.

— Может, вы захватите с собой вырезки из газет? Заглянете по дороге домой и привезете?

— Конечно, конечно, но я бы не хотел терять время.

— Мне, возможно, придется спуститься вниз для анализов.

Нельзя было понять, какие обертоны звучали в голосе Элии. Способность Сэммлера к толкованию что-то не помогала. Ему стало не по себе.

— А времени у нас достаточно, — сказал Элия. — Времени хватит на все.

Это прозвучало странно, и тон был непривычный.

— Правда?

— Конечно, правда. Хорошо, что вы позвонили. Со всем недавно я пытался позвонить вам. Но никто не отвечал. Вы ушли из дома рано.

Сэммлеру было до того не по себе, что это как-то повлияло на его дыхание. Длинный и тощий, он сжимал телефонную трубку, сознавая, что лицо его выражает тревогу и страх. Он молчал. Элия сказал:

— Анджела тоже едет сюда.

— Я скоро буду у вас.

— Да, да. — Элия как-то странно растягивал даже односложные слова. — Так что же, дядя?

— Значит, до свиданья?

— До свиданья, дядя Сэммлер.

Сэмплер стал стучать в стекло в надежде привлечь внимание Шулы. Она казалась особенно белолицей среди переливчатой пестроты цветов. Его примavera. Вокруг головы ее была повязана темно-красная косынка. Она всегда покрывала голову, вероятно, страдая от мысли, что волосы ее недостаточно густые. Похоже, что в цветах ее восхищала именно пышность, щедрая мощь, многоцветность. Видя, как дочь бродит среди качающихся на ветру белокурых нарциссов с приоткрытыми желтыми зевами, отец поверил, что она и впрямь влюблена. По наклону ее плеч, по изгибу подкрашенных оранжевым губ, он увидел, что она приготовилась к тоске неразделенной любви. Доктор Лал был не для нее: ей никогда не прижать к своей груди его голову, его мохнатую густую бороду. Люди очень редко тоскуют по тому, что доступно, — вот в чем истинная жестокость. Он распахнул французское окно.

— Где же расписание? — сказал он.

— Я не могу его найти. Гранеры ведь не ездят поездом. Да и ты, в любом случае, быстрее доберешься до Нью-Йорка с Эмилем. Он тоже собирается в больницу.

— Надеюсь, он не будет ждать Уоллеса в аэропорту. Сегодня это было бы некстати.

— Почему ты сказал про доктора Лала, что он всего лишь маленький волосатый человечек?

— Надеюсь, у тебя нет в нем личной заинтересованности?

— А почему бы нет?

— Он тебе совершенно не подходит, я ни за что не дам согласия.

— Почему не дашь?

— Ни за что. Какой из него может получиться муж для тебя?

— Потому что он азиат? Не может быть, чтобы у тебя были такие предрассудки. У кого угодно, только не у тебя.

— Дело не в том, что он азиат. В экзотических браках есть много преимуществ. Предположим, что твой муж скучный человек — потребуется гораздо больше

времени, чтобы это обнаружить, если он говорит по-французски. Нет, просто из ученого не может выйти хороший муж. Шестнадцать часов в лаборатории, все мысли в науке. О тебе он будет забывать постоянно. Тебе это будет обидно. Я не могу этого допустить.

— Даже если бы я его любила?

— Ты ведь воображала, что любишь Эйзена.

— Он меня не любил. Во всяком случае, недостаточно, чтобы простить мне мое католическое воспитание. И я ни о чем не могла с ним разговаривать. Кроме того, он ужасно груб в сексуальном смысле. Есть вещи, которые я не хотела бы тебе рассказывать. Но поверь, он человек отвратный и вульгарный. Сейчас он в Нью-Йорке. Если он только приблизится ко мне, я его убью.

— Ты поражаешь меня, Шула. Ты что, и вправду могла бы убить Эйзена? Как — ножом?

— Или вилкой. Я часто жалею, что позволяла ему бить меня в Хайфе и никогда не давала ему сдачи. Он иногда бил меня очень больно, и мне бы следовало защищаться.

— Главное, ты должна в будущем не повторять прошлых ошибок. А я обязан ограждать тебя от бед, которые способен предвидеть. Это мой отцовский долг.

— А что если я и вправду полюбила доктора Лала? Это я первая его нашла.

— Соперничество — неуважительная причина. Шула, мы с тобой должны заботиться друг о друге. Как ты принимаешь близко к сердцу мой труд о Герберте Уэллсе, так я принимаю к сердцу твое счастье. Марго — существо гораздо менее уязвимое, чем ты. Если человек типа доктора Лала даже не будет замечать ее в течение недель, погруженный в свои мысли, ее это не заденет. Разве ты не помнишь, как Ашер иногда разговаривал с ней?

— Он кричал, чтобы она заткнулась.

— Верно.

— Если бы мой муж так обращался со мной, я бы не

смогла этого вынести.

— Вот видишь. Уэллс тоже считал, что люди науки не могут быть хорошими мужьями.

— Не может быть!

— Мне помнится, я где-то читал подобное высказывание. Слушай, а Уоллес хоть что-нибудь понимает в фотографировании с воздуха?

— Он знает уйму разных вещей. А что ты думаешь об этих его идеях?

— Нет у него никаких идей — просто всплески фантазии без всяких реальных оснований. Впрочем, уже бывало, что маньяки умудрялись делать деньги. Эта его затея вернуть имена растениям не лишена блеска... Некоторые растения действительно называются красиво. Например — газания пеония.

— Газания пеония — как красиво! Ладно, ты бы вышел в сад — тут так прекрасно. Я чувствую себя гораздо лучше, когда ты мной интересуешься. Я рада, что ты понял насчет этой книги про луну, — что я взяла ее ради тебя. Ведь ты не собираешься отказываться от своего труда? Это был бы просто грех. Ты рожден, чтобы написать книгу об Уэллсе, это должен быть шедевр. Это будет просто ужасно, если ты ее не напишешь. Просто несчастье. Я чувствую это.

— Я снова попробую.

— Ты обязан.

— Мне надо выбрать для этого время среди своих дел.

— У тебя не должно быть никаких других дел, кроме творчества.

Мистер Сэмплер решил выйти в сад и ждать там Эмиля. Запах сандалового мыла реял над ним. Возможно, на солнце этот запах выветрится. Не возвращаться же опять в ониксовую ванную ради того, чтобы смыть запах мыла. Там слишком душно.

— Возьми с собой кофе.

— С удовольствием, Шула. — Он отдал ей чашку и ступил на лужайку перед домом. — Мои ботинки совсем промокли вчера вечером.

Черная жидкость в чашке, белый солнечный свет, земля под ногами, зеленая, мягкая, разомлевшая, пронизанная расцветающей жизнью. В траве тысячекратный отсвет множества капель, их глубинная белизна, вспыхивающая всеми цветами радуги всюду, где луч касался росы: нечто вроде огней большого города с борта реактивного самолета или россыпи галактик в пространстве.

— Садись сюда. Сними ботинки, а то простудишься. Я подсушу их в духовке. — Опустившись на колени, она сняла с него мокрые ботинки. — Господи, как ты в них ходишь? Ты что, хочешь подхватить воспаление легких?

— Эмиль должен вернуться сразу или он будет ждать этого ненормального?

— Я не знаю. Почему ты всегда называешь его ненормальным?

Как ты опишешь одного ненормального другому? А сам он — разве у него совершенно здоровая психика? Конечно, нет. Они его родня, а он — их. У них общая основа.

— Потому что он затопил дом? — сказала Шула.

— И поэтому тоже. Потому что он летает по небу со своими фотоаппаратами.

— Он старается найти деньги. Что в этом ненормального?

— Откуда ты знаешь про эти деньги?

— Он сам мне рассказал. Он думает, тут целое состояние. А ты что думаешь?

— Понятия не имею. Но в этом весь Уоллес — сокровища Али Бабы, капитана Кидда или Тома Сойера.

— Но, кроме шуток... он говорит, что в доме спрятано сокровище... куча денег. Он не успокоится, пока не найдет их. Все-таки это не совсем порядочно со стороны кузена Элии...

— Умереть и не сказать, куда он их спрятал?

— Ага. — Похоже было, что столь четкое выражение ее мыслей слегка пристыдило Шулу.

— Это его дело. Элия сделает так, как он считает

нужным. Я полагаю, Уоллес просил тебя помочь ему найти тайник.

— Да.

— И что, он обещал тебе вознаграждение?

— Обещал.

— Я не хочу, чтобы ты впутывалась в это дело. Держись от него подальше.

— Принести тебе тост с маслом, папа?

Он не ответил. Она удалилась, унося с собой его мокрые ботинки.

Несколько маленьких самолетиков с урчанием и фырканьем кружили в небе над Нью-Рошелью. Возможно, Уоллес пилотировал один из них. Для себя самого — рычащий центр. Для нас — жужжащий шмель, жук, мошка, пробирающаяся на крылышках сквозь голубые километры. Сэмплер отодвинул свой стул в тень. То, что на солнце казалось массой сосновой хвои, в тени расщепилось на отдельные деревья и иглы. И тут из-за высокого забора вынырнул серебристо-серый роллс-ройс. Засверкали геометрическими монограммами великолепные пластины радиатора. Эмиль вышел из машины и посмотрел вверх. Над домом кружил маленький желтый самолет.

— Это Уоллес, точно. Он говорил, что собирается лететь на Чессне.

— Я тоже полагаю, что это Уоллес.

— Хотел попробовать свой аппарат над знакомыми местами.

— Эмиль, я ждал вас, чтобы поехать на станцию.

— Конечно, мистер Сэмплер. Только поезда сейчас ходят редко. А как мистер Гранер? Вы что-нибудь знаете?

— Я звонил ему, — сказал Сэмплер. — Никаких перемен.

— Я с удовольствием отвезу вас в город.

— Когда?

— Очень скоро.

— Это помогло бы сэкономить время. Мне надо захватить домой. Вы не собираетесь на аэродром за Уоллесом?

— Он хочет приземлиться в Ньюарке и доехать автобусом.

— Вы думаете, он знает, что делает, Эмиль?

— Если б у него не было прав летчика, ему бы не позволили летать.

— Я имею в виду не это.

— Он из тех ребят, которые хотят идти по жизни своей дорогой.

— Я не вполне уверен, что он всегда знает, куда идти...

— Он выясняет это по дороге. Он говорит, что так делают "художники действия"*.

— Хотелось бы верить, что все сойдет хорошо. Ему бы не следовало летать сегодня. Его чувства, каковы бы они ни были, — соперничество с отцом, горе, или что другое, — могут сослужить ему плохую службу.

— Будь это мой отец, я бы сейчас был в больнице. Но теперь все не так. Нам, старикам, приходится с этим мириться.

Приподняв кепку так, чтобы тень от козырька падала на глаза, Эмиль следил глазами за жужжащим самолетом. Он открывал взгляду весь свой длинный, широкий у основания ломбардский нос. Хищное лицо, типичное лицо жителя северной Италии. Кожа туго облегалась кости. Может быть, и в самом деле, как утверждал Уоллес, когда-то он был Эмилио, лихой шофер знаменитых мафиозо. Но сейчас он достиг возраста, когда у крепко сколоченных людей появляются первые признаки старческой хрупкости. И осанка не та, и плечи поникли, на затылке залегли грубые складки. Он прочно связан с замечательным, почти совершенным средством передвижения по земле. Ему не до соперничества с воздушным флотом. Он прислонился к капо-

* "Action painters" — направление, возникшее среди американских художников в середине XX века; культивировало стихийную энергию цветовых пятен и стремилось свести живопись к регистрации подсознательных импульсов или системе знаков.

ту, скрестив руки, предварительно убедившись, что никакая пуговица не царапает блестящее покрытие. Похлопывает козырьком пахнувшей волосами кепки по крупным морщинам, которые террасами спускаются от волос вниз.

— Видно, он хочет сделать снимки с разной высоты. Вон как низко летает.

— Хорошо, если он не ударится о дом.

— Он мог бы сравнять счет после того потопа, что он тут устроил. Может, он хотел бы переплюнуть себя самого?

Мистер Сэмплер вытащил из кармана сложенный носовой платок и сунул его под очки прежде, чем снять их, чтобы скрыть от Эмиля изуродованный глаз. У него больше не было сил вглядываться, глаз начал слезиться.

— Как знать, — сказал Сэмплер. — Вчера он заявил, что это его подсознательное "Я" открыло не ту трубу.

— Да, он и со мной тоже так разговаривает. Но я служу в этой семье уже восемнадцать лет, и я-то уж понимаю, что к чему. Он очень беспокоится за доктора.

— Я тоже так думаю. Вы правы. Но этот самолет... Похож на гладильную доску со взбивалкой для яиц. Эмиль, у вас есть семья, дети?

— Двое. Уже взрослые, закончили школу.

— Они вас любят?

— Делают вид, что да.

— Это уже кое-что.

Пожалуй, он не попадет в Нью-Йорк вовремя. Да еще Элия просил привезти вырезки из газет — это тоже задержка. Но об этом он будет думать потом. Самолет Уоллеса загудел громче. Рев прямо-таки раскалывал череп. У Сэмплера от грохота заболела голова. Искалеченный глаз ощутил напор кровяного давления. Воздух раскололся надвое. С одной стороны — эта ревящая гадость, с другой — свежий ветер и обманчивая ясность весеннего дня.

Грохочущий, сверкающий, яркий, как яичный желток, маленький самолет, вспарывая воздух, сделал еще

один, совсем низкий, круг над домом. Деревья закачались и закрипели.

— Он сейчас разобьется. Следующий раз он ударится о крышу.

— По-моему, ниже уже нельзя, если при этом еще и фотографировать, — сказал Эмиль.

— Он наверняка спускался ниже дозволенной высоты.

Самолетик спирально взмывал вверх, становясь все меньше и меньше; он был уже едва слышен.

— Он чуть не сбил трубу.

— Похоже было, но только снизу, — сказал Эмиль.

— Не следовало разрешать ему летать.

— Ну вот, улетел. Может, дальше все будет нормально.

— Мы уже можем ехать? — спросил Сэмплер.

— Я должен в одиннадцать часов привезти уборщицу. По-моему, звонит телефон.

— Уборщицу? Шула дома, она ответит, если это телефон.

— Шулы нет, — сказал Эмиль. — Я встретил ее, когда подъезжал к дому. Она шла по дороге с сумочкой.

— Куда шла?

— Не знаю. Может быть, в магазин. Пойду сниму трубку.

Звонили Сэмплеру. Это была Марго.

— Марго? Алло?..

— Мы открыли эти ящики в камере хранения.

— Ну, и что там оказалось? Все, как она сказала?

— Не совсем, дядя. В первом ящике была Шулина хозяйственная сумка, а в ней всякий обычный хлам. "Крисчиан Сайенс Монитор" недельной давности, какие-то газетные вырезки и несколько старых номеров "Лайф". Кроме того, большая пачка листовок студенческих революционных групп. Какое-то "студенческое демократическое сопротивление". Доктор Лал был шокирован. Он очень расстроился.

— А во втором ящике?

— Слава Богу, там была рукопись!

— В сохранности?

— Я думаю, да. Он сейчас ее просматривает. — Она сказала не в трубку, а кому-то там, рядом с ней. — Все страницы на месте? Да, дядя, он думает, что все страницы в сохранности.

— Что ж, я очень рад. И за него, и за себя. И даже за Шулу. Но где же копия, которую она сняла в конторе Видика? Наверное, она ее потеряла или засунула куда-нибудь и забыла. Доктор Лал, наверно, счастлив.

— О, да! Он ждет меня возле киоска с газированной водой. Тут, на Центральном вокзале, такая толкучка!

— Ты все же должна была постучать ко мне утром. Ты же знаешь, что мне необходимо быть в городе.

— Дорогой дядя Сэмmlер, мы подумали об этом, но ведь в машине все равно не было больше места. Вы очень сердитесь, или мне показалось? Да, мы могли бы подвезти вас до станции. — Сэмmlер сдержался с трудом, чтобы не сказать, что они могли бы подвезти до станции ее, Марго, а не его. До чего же он раздосадован! Но даже сейчас, несмотря на высокое давление и на острую боль в глазу, он старался быть с ней снисходительным. Что ж, у нее свои жизненно важные женские цели. Которые мешают понять жизненно важные цели других людей. Понять его сегодняшнюю тревогу. — Говинда так спешил уехать поскорей. Он настаивал. Тем более, что поездом гораздо быстрее. Кроме того, я звонила в больницу и говорила с Анджелой. В состоянии Элии никаких перемен.

— Я знаю, я звонил ему.

— Вот видите! И сейчас ему будут делать какие-то анализы, так что вам все равно пришлось бы ждать, даже если б вы уже были там. Сейчас я везу доктора Лала к себе домой обедать. Ведь он почти ничего не ест, а тут на Центральном вокзале какой-то жуткий бедлам. И всюду пахнет жареными сосисками. Я впервые заметила это благодаря ему.

— Конечно, дома лучше. Безусловно.

— Анджела разговаривала со мной очень разумно. Голос у нее был печальный, но говорила она рассуди-

тельно, с полным пониманием. — Доброта и снисходительность Марго к окружающим порой были просто невыносимы. — Она сказала, что Элия все время спрашивает о вас. Он очень хочет вас видеть.

— Мне давно уже следовало быть там...

— Его все равно увезли куда-то вниз, — сказала она. — Так что у вас есть время. Может, пообедаете с нами?

— Мне придется заехать домой, но обедать я не смогу.

— Вы несколько не помешаете. Говинда просто в восторге от вас. Он говорит о вас с большим уважением. В любом случае, вы — член семьи. Мы любим вас как отца. Мы все, без исключения. Я знаю, что я иногда несносна. Даже Ашер иногда уставал от меня. И все же мы с ним любили друг друга.

— Ладно, ладно, Марго, все в порядке. Но теперь давай кончать...

— Я знаю, вы хотите сбежать. И вы терпеть не можете долгих телефонных разговоров. Но, дядя, дорогой, я не уверена, что в состоянии заинтересовать своей беседой такого челсвека, как доктор Лал. На нужном интеллектуальном уровне.

— Чушь! Марго, не будь душой! Не старайся держаться на интеллектуальном уровне. Ты его очаровала. Он считает тебя необыкновенной женщиной. Не затевай долгих дискуссий. Дай ему поговорить.

Но Марго не могла остановиться. Она бросала в автомат монету за монетой. В трубке щелкало и звенело. Он не решался повесить трубку. Но не слушал.

Он предполагал, что новые анализы Элии были не более, чем тактикой врачей. Они защищали свою репутацию, притворяясь, что что-то предпринимают. Но Элия сам был врачом. Он сам притворялся точно так же, и теперь ему придется принять их притворство как должное и покориться без жалоб. Наверняка он так и сделает. А как с его незавершенными делами? Хотел ли он действительно поговорить о Кракове, пока не лопнула стенка сосуда? Поговорить о дяде Хессиде, у

которого была молотилка для кукурузы и который носил котелок и модную жилетку? Сэммлер никак не мог вспомнить, кого Элия имел в виду. Никак. А Элия с его неудовлетворенными чувствами хотел бы, чтобы Сэммлер представлял у его одра семью. Сухощавый, хрупкий, длинный дядя Сэммлер, с маленьким румяным лицом, на котором морщины располагались только с одной стороны. Было нечто большее, чем благоговение перед семейными узами; время, при посредстве детей (кретин с высоким I.Q., "глаза проститутки"), осмеяло и растоптало это чувство. Гранер призывал Сэммлера не как старого дядю, одноглазого ворчуна с польско-оксфордскими манерами. Он, кажется, верил, что Сэммлер наделен какой-то особой, почти магической силой, которая помогает ему укреплять человеческие связи. Что он сделал, чтобы внушить эту веру? Чем ее вызвал? Вероятней всего, тем, что вернулся с того света.

У Марго было о чем поговорить. Она даже не заметила его молчания.

...Тем, что вернулся с того света, и тем, что всегда думал обо всем этом, — о смерти, о тайне умирания, о состоянии смерти. А также тем, что он уже побывал там, в царстве смерти. Ему дали лопату и велели копать. Он копал рядом с женой, она тоже копала. Когда она уставала, он старался помочь ей. Так, просто копая рядом, он думал, что разговаривает с ней без слов, что поддерживает ее. Но оказалось, что он подготовил ее к смерти, а сам не умер. Ее убили, а его нет. Она прошла свой путь, а он нет. Яма становилась все глубже, обнажая песок, глину и камни Польши, их родины. Его тогда только что ослепили, лицо его застыло и онемело, и он не знал, что истекает кровью, пока им не велели раздеться и он увидел пятна крови на своей одежде. Потом, когда они, голые, как новорожденные, стояли над ямой, которая была уже достаточно глубока, застрочили пулеметы, а затем он услышал другой звук — звук падающей земли. Массы падающей земли. Тонны земли, которую сбрасывали вниз. И скрежет металли-

ческих лопат, сбрасывающих землю. Благодаря удивительной случайности, мистер Сэмmlер выкарабкался наверх. Ему не приходило в голову считать эту случайность подвигом. В чем, собственно, был подвиг? Он просто выполз наверх. Если бы он оказался на дне, он попросту бы задохнулся. И если бы пришлось пробираться через еще один фут грязи. Возможно, другие были заживо погребены в этой яме. Никакой тут нет его заслуги, никакого волшебства. Просто он спасался от удушья. И если бы война продлилась еще несколько месяцев, он бы умер, как все другие. Ни один еврей не избежал бы смерти. И вот он жив, он сохранил рассудок, земные привычки, чувство реальности — он ходит, вдыхает и выдыхает воздух, пьет свой кофе, потребляет свою долю товаров, ест свою булочку от Забара, что-то там о себе воображает — все люди что-то о себе воображают, — ездит на автобусе до Сорок второй улицы, будто у него еще есть дела, и даже наткнулся на черного карманника. Короче говоря, он живой человек, которого отправили обратно в конец очереди. Там он должен чего-то ждать. Он был предназначен для того, чтобы продумать определенные вещи, сформулировать в кратких тезисах сущность своего опыта, и теперь благодаря этому его считают чуть ли не героем. Дело это, честно говоря, бесконечное. Но какое дело можно считать конечным? Мы беремся за дело, давно уже начатое, и почему-то считаем, что нам суждено его завершить. Но как? И поскольку дни его продлились... и он выжил... пусть даже с головной болью... ему было не до выбора слов... было ли это в самом деле предназначением? Был ли какой-то высший смысл в этом событии?

— Я только не хочу надоедать Лалу, — сказала Марго. — Он такой милый и хрупкий. Кстати, дядя, уборщица пришла?

— Какая уборщица?

— Вы говорите — прислуга. Она уже убирает, да? Я слышу пылесос.

— Нет, дорогая, то, что ты слышишь — это наш род-

ственник Уоллес в самолете. Не спрашивай меня ни о чем. Мы скоро увидимся.

Свои промокшие ботинки он обнаружил на кухне. Шула поставила их на открытую дверцу электрической духовки, носки уже дымилась. Этого еще не хватало! После того, как ботинки остыли, он еле-еле натянул их на ноги, помогая себе столовой ложкой. Теперь, когда рукопись нашлась, он мог позволить себе быть снисходительным к Шуле. Ведь, в сущности, она не переступила черту. Однако, следовало признать, что ботинкам пришел конец. Им было самое место на помойке. И даже Шула, пожалуй, не стала бы выуживать их оттуда. Но дело сейчас не в ботинках: до Нью-Йорка он мог добраться и без ботинок. Эмиль уехал за уборщицей. В телефонной книге можно было найти номера таксопарков, но Сэмплер не представлял себе, какой парк обслуживал Нью-Рошель и сколько это будет стоить. У него было всего четыре доллара. Чтобы не конфузить семью Гранеров, следовало дать на чай не меньше, чем пятьдесят центов. А сколько стоит билет до города? Он стал подсчитывать возможные расходы, — поджав узкие губы, пылая лихорадочным румянцем. Он уже видел, как у него не хватило восьми центов и он стоит перед полицейским, убеждая его, что он, Сэмплер, не нищий. Нет, лучше уж дожидаться Эмиля. Возможно, что Эмиль догонит Шулу и привезет ее обратно вместе с уборщицей. У Шулы всегда были при себе деньги.

Но Эмиль привез только пожилую хорватку. Продемонстрировав ей результаты потопа, он опять надел свою кепку и распахнул перед Сэмплером серебристую дверцу автомобиля, словно Сэмплер был хозяином машины, а не бедным родственником.

- Может, включить кондиционер, мистер Сэмплер?
- Спасибо, Эмиль.

Внимательно взглядываясь в небо, Эмиль сказал:

— Похоже, Уоллес уже управился со своими фотографиями. Наверно, он уже летит в Ньюарк.

— Да, слава Богу, он улетел.

— Я знаю, что доктор очень хотел вас видеть. — Сэм-

млер, наконец, уселся. — А что с вашими ботинками?

— Я их с трудом натянул, а теперь не могу зашнуровать. У меня есть еще одни, может быть, заедем ко мне на минутку?

— Доктор все время о вас спрашивает.

— В самом деле?

— Душевный человек. Я не хочу обсуждать покойную миссис Гранер, но вы-то знаете, какая она была.

— Не слишком экспансивная, конечно.

Эмиль закрыл дверцу и, строго соблюдая правила, обошел машину сзади, чтобы сесть на свое место за рулем.

— Конечно, она была организованная женщина, — сказал он. — Первоклассная хозяйка, ничего не скажешь. Все как по линейке. Сдержанная, справедливая, о-кей. Управлялась, как ЭВМ, а тут ведь нас сколько было — садовник, прачка, кухарка, я. А доктор, он ведь вырос в нищем районе, он был ей очень благодарен. Она сделала из него интеллигента. Джентльмена.

Задним ходом Эмиль осторожно вывел на шоссе серебристый ракетоподобный автомобиль бедного Элии. Он вежливо предоставил Сэммлеру выбор: разговор или уединение. Сэммлер предпочел уединение и опустил разделительное стекло.

У мистера Сэммлера было глубокое убеждение (предрассудок, если угодно), что женщина с очень тощими ногами не может быть ни любящей женой, ни страстной любовницей. Особенно, если тощие ноги сочетались со склонностью к пышной прическе. Хильда была женщина вполне приемлемая — милая, доброжелательная, возвышенная, временами даже веселая. Но уж очень правильная. Бывало, доктор обнимал ее на глазах у всех и объявлял: "Вот лучшая в мире жена. Я люблю тебя, Хил!" Он прижимал ее к плечу и целовал в щеку. Это было дозволено. Это разрешалось согласно новой шкале, по которой высоко ценились теплота и непосредственность. Несомненно, сам Элия, не в пример Хильде, умел чувствовать. Но непосредственность? В его поведении явно ощущалась пропаганда. Вероят-

но, тут сказалося влияние американской системы в целом, которой он безропотно покорился. Каждый пропагандировал добро по-своему. Пропаганда — это стиль демократии. Разговоры зачастую сводились к повторению на разные лады либеральных принципов. Но нет сомнения, что Элия разочаровался в своей жене. Сэмлер надеялся, что у него были любовные связи. Может быть, с какой-нибудь медсестрой? А может быть, пациентки иногда становились его любовницами? Сэмлер не каждому порекомендовал бы такое решение вопроса, но для Элии это было бы благом. Да нет, скорей всего доктор не нарушал правил приличия. А человек, который так настойчиво добивается любви, обречен.

Скоро наступит настоящая весна. По всей округе вдоль рек, впадающих в Гудзон, земля набухла оживающей травой и одуванчиками, солнечная духовка вновь выпекала зеленеющую жизнь. Бурление, хлокотание, ароматы — все это вызвало тошноту и прилив новых сил одновременно. А тут еще, — мистер Сэмлер откинулся на серую подушку и сцепил руки, — тут еще эти серо-желтые монотонно летящие вперед шоссе, столь впечатляющие с инженерной точки зрения, столь сомнительные с моральной, эстетической и политической. Государство вложило в них миллиардные ассигнования. Но, как сказал кто-то: что такое государственные деятели? Передовой отряд гадаренских свиней! Кто это сказал? Он никак не мог вспомнить. Сам он был не слишком циничен в подобных вопросах. Он не был противником цивилизации, государственных институтов, политики и порядка. Когда могила была вырыта, государственные институты не вступились за него. Ни политика, ни порядок не вмешались в дело спасения Антонины. Но какой смысл связывать общие вопросы с личными невзгодами — обвинять, например, Черчилля или Рузвельта в том, что они все знали (а они без сомнения знали) и все же не решались разбомбить Освенцим. Действительно, почему было не разбомбить Освенцим? А они этого не сде-

лали. Ну, так не сделали. И ни за что бы не сделали. Праведный гнев, справедливые упреки — это не для Сэмлера. Индивидуум не может быть верховным судьей. Каждый должен находить критерии для себя самого, и потому индивидуальное суждение может быть только частичным. Но никак не окончательным. Ни в коем случае. Никто не способен собрать воедино во взаимодовлетворительном сочетании органическое и неорганическое, естественное и искусственное, человеческое и сверхчеловеческое, как бы изощрен и увлекателен ни был его разум, — все, придуманное человеком, будет антропоморфной и зыбкой, изобретательной или декоративной схемой. Несомненно, к моменту отбытия с этой планеты на другую должен быть подведен какой-то итог, завершен какой-то период. Похоже, что все чувствуют сейчас эту необходимость. Все как бы одновременно ощутили, каждый по своему, этот привкус конца общеизвестного. И в процессе подведения итогов каждый, по всей вероятности, каждый невольно выпячивает свой собственный стиль, обращаясь к своему личному опыту, к тому, что его отличало от прочих. Уоллес в день, когда решается судьба его отца, с ревом и грохотом кружит над домом, делая фотографии. Шула, прячась от Сэмлера, наверняка уже рыщет по дому в поисках этого сокровища, этих незаконных абортных долларов. Анджела, пачкая все вокруг своими избыточными женскими флюидами, рыщет по миру в поисках новых эротических впечатлений. То же самое и Эйзен со своим искусством, и негр со своим членом. И временами, хоть и не всегда, то же самое — он, Сэмлер, со своими краткими тезисами, в которых элиминируется ненужное и выявляется необходимое.

Глядя в окно роскошного автомобиля, стоившего больше двадцати тысяч долларов, мистер Сэмлер отмечал, что, наряду с ощущением конца известного, у него, несмотря ни на что, усиливается предчувствие новых поворотов, новых начал. Замужество для Марго, Америка для Эйзена, деловой успех для Уоллеса,

любовь для Говинды. Все рвутся прочь с этой дышащей смертью, прогнившей, порочной, раздражающе грязной, грешной Земли. Но уже смотрят на Луну, на Марс и планируют там города. На что-то надеются.

Он постучал монетой в стеклянную перегородку. Они подъезжали к будке для сбора пошлины.

— Не беспокойтесь, мистер Сэммлер. Я сам.

Но Сэммлер настаивал.

— Вот деньги, Эмиль, возьмите.

Судя по стрелкам циферблата, их путешествие было стремительным. В промежутке между часами пик машины мчались без задержки по безупречным серовато-желтым шоссе. Эмиль точно знал, как надо ехать. Он был образцовым водителем образцовой машины. Он въехал в город по Сто двадцать пятой улице под высоким железнодорожным мостом, пересекающим район боен. Сэммлер даже любил этот замысловатый мост и причудливые тени, которые он отбрасывал. Тени, отражавшиеся в блестящих боках мясных фургонов. В говяжьих и свиных тушах, завернутых в целлофан, забрызганных кровью. Обилие съедобных вещей всегда радует сердце человека, чуть не умершего с голода. И вид рабочих с боен — таких коренастых и широкоплечих мясников в белых халатах, — тоже радует глаз. Над рекой стоял какой-то двусмысленный запах. Нельзя было с уверенностью сказать, чем это пахнет — речной сыростью или кровью. Однажды Сэммлер видел там крысу, которую принял за таксу. Ветер, дующий из этого освещенного электрическим светом пространства, был насыщен ароматом мясной пыли. Эта пыль летела из-под полотен ленточных пил, вгрызающихся в замороженный жир, кромсающих мраморно-алое порфиново-заледенелое мясо и с визгом рассекающих кости. Тут не погуляешь. Все тротуары были скользкими от жира.

Потом поворот и — вниз по Бродвею. Улица ползла вверх, а метро уходило все ниже. Наверху — дома из коричневого камня, внизу — черные тени над стальными путями. Потом — многоквартирные дома, пуэрто-

риканская нищета. Потом — Университет, тоже нищета, но в другом роде. В городе уже было слишком жарко. Весна уже потеряла привкус зимы и входила в ранг лета. Сквозь колоннаду Сто шестнадцатой улицы Сэмmlер вглядывался в кирпичные кубы зданий. Он почти ожидал, что увидит здесь Фефера или того бородатого парня в джинсах, который кричал в университете, что у Сэмmlера "не стоит". Он видел зеленеющие деревья. Но зелень в городе давно уже не вызывала никаких ассоциаций с мирным святилищем. Старинная парковая поэзия была предана анафеме. Не в моде сейчас густая тень, зовущая к размышлениям. Правда нынче пахнет трущобами. Ей требуется мусор в качестве декорации. Мечты под листвой? Это все в прошлом. Только в особых случаях (ради лекции у Фефера, например, — когда это было, двадцать четыре, сорок восемь часов назад?) Сэмmlер позволял себе появляться здесь. Отправляясь на прогулки, он не решался забираться в такую даль. И вот теперь из окна гранеровского роллс-ройса он пытался разглядеть эту подкультуру недопривилегированных (недавнее терминологическое достижение "Нью-Йорк Таймс") — вот ее карибские фрукты, ее наголо оципаные цыплята с вялыми шеями и голубоватыми веками, ее волнообразно набегающие запахи бензина и растопленного сала. Вот и Девяносто шестая улица, запрокинутая вверх ко всем четырем углам, — киоски и кинотеатры, крепостные стены стянутых проволокой газетных пачек. И разноцветные сигналы тревоги полощутся на ветру. Бродвей всегда был вызовом, и Сэмmlер принимал этот вызов даже тогда, когда, как сегодня, он мчался, чтобы повидать Элию, возможно, в последний раз. Он никогда не соглашался с Бродвеем. Он всякий раз словно вступал с ним в спор — а почему, собственно? И все-таки каждый раз спор возобновлялся. Ибо Бродвей всегда что-то утверждал. Через конвергенцию бесчисленных движений и воля эта толпа сигнализировала, передавала утверждение о том, что действительность ужасна и что окончательная правда о человечестве губительна и не-

выносима. Сэмплер отвергал всем сердцем этот вульгарный, трусливый вывод; он был неопровержимой догмой для местной черни, которая сама была метафизичной и из собственной жизни вынесла эту интерпретацию действительности, этот взгляд на истину. Сэмплер не мог бы поклясться, что угадал все точно, но именно такое представление о мире создавал у него Бродвей в окрестности Девяносто шестой улицы. Жизнь, такая, как здесь, вся насквозь из вопросов и ответов, от своих интеллектуальных вершин до самого дна, действительно представала в странном, жалком и грязном виде. Когда все состоит из вопросов и ответов, то исчезает очарование. Если в жизни нет очарования, то она — всего лишь список вопросов и ответов. Это — палка о двух концах. Тем более, что вопросы никуда не годились. И ответы были под стать вопросам. Печать нищеты духа лежала на лицах прохожих. И его самого тоже не миновала эта болезнь — болезнь одиночки, объясняющего самому себе что есть что и кто есть кто. Результат можно было предвидеть и предсказать. Так, проезжая по Бродвею в роскошном лимузине, мистер Сэмплер бежал по собственной (как Уоллес назвал ее?) — по собственной беговой дорожке. Как турист. А потом Эмиль, развернувшись на Риверсайд Драйв, лихо подкатил к замызганному, огромному, старому массиву жизненных удобств, где обитали они с Марго. Часы показывали половину первого.

— Я не задержусь надолго. Элия просил привезти кое-какие бумаги.

Сердце сжимало, как тисками. Тут помогло бы глубокое дыхание, но он не мог заставить грудь вздыматься и опадать. В горле стоял комок. Марго и Говинда еще не вернулись. В холле бесполезно горела лампа-прищепка, прикрепленная к спинке дивана над кленовыми подлокотниками и покрывалом из домотканых платков. Казалось, что дом дышал покоем. Или ему только так показалось, потому что у него не было времени присесть. Он надел другие ботинки, вытряхнул несколько долларов из копилки и сунул в карман

газетные вырезки. На столе стояла бутылка водки. Водку приносила Шула, она покупала ее на зарплату, которую платил ей Элия. Это была великолепная водка, "Столичная", импортируемая из Советского Союза. Сэмплер открывал бутылку примерно раз в месяц. Сейчас он открутил пробку и выпил рюмку. Водка потекла по пищеводу обжигающим потоком, и он поморщился. Первая помощь для стариков. Затем он открыл дверь, ведущую на черный ход, повернув замок так, чтобы дверь не захлопнулась от внезапного сквозняка и не оставила его на площадке. Он сунул старые ботинки в воронку мусоросжигалки. Теперь ему не придется слушать запальчивые утверждения Шулы, что она вовсе не испортила их в электрической духовке. Хватит. Они свое отслужили.

На этот раз телевизор в парадном работал. Там качались и расплывались беловато-серые фигуры, нестабильные по вертикальной оси. Сэмплер увидел на экране свое смертельно-бледное лицо. Мерцающий образ старика. Вестибюль вызывал в памяти крытые коврами подвалы в заброшенных театрах — места, которых следовало избегать. Менее чем два дня назад карманник загнал его, — животом в спину — по этому самому прикрепленному бронзовыми кнопками ковру в угол за флорентийским столом. Чтобы с безмолвием пумы расстегнуть пальто цвета пумы и обнажиться. Был ли он одним из тех, кого Гете называл *eine Natur*? — первобытной силой?

Он остановил Эмилия, который собирался выйти из машины, чтобы открыть перед ним дверцу.

— Я сам справлюсь с этой дверцей.

— Тогда поехали. Откройте бар и выпейте чего-нибудь.

— Надеюсь, сейчас еще нет большого движения?

— Мы поедем прямо по Бродвею.

— Хотите включить телевизор?

— Спасибо, не надо.

И снова Сэмплер вдохнул спертый, пахнущий кожей воздух. Он не стал усаживаться поудобней. Тиски

сдавливали сердце все сильнее. Уже так стиснуло, что хуже быть не может, — сказал он сам себе, но стало еще хуже. Поток машин на улице был огромный, приходилось бесконечно долго ждать у светофоров. Фургоны развозчиков товаров тащили двойные и тройные прицепы. Никогда еще езда по Махэттену в легковой машине не казалась ему столь бессмысленной и мучительной. Его вдруг охватила острая неприязнь к водителям этих огромных бесполезных машин, а затем и этот поток чувств иссяк, опустошив его по пути. Уносимый вперед бесшумным мощным мотором, он сидел в охлажденном кондиционером полумраке, подложив под себя сухие ладони. Несомненно, Элия считал для себя необходимым содержать этот роллс-ройс. В сущности, такая роскошная машина была ему вовсе ни к чему. Ведь он — не бродвейский продюсер, не международный банкир, не табачный миллионер. Куда он ездил в этом автомобиле? В контору адвоката Видика? В банк Хейдона и Стоуна, где у него счет? По праздникам в синагогу на Пятой Авеню? К портным, Фелшеру и Китто на Пятьдесят седьмую улицу? И синагогу и портных выбрала для него Хильда. Сэммлер отправил бы его к другому портному. Элия был высокий мужчина с широкими прямыми плечами, пожалуй, даже слишком широкими, учитывая его худобу. Его зад был посажен слишком высоко. Точно как у меня, если вдуматься. Запертый в молчаливой прохладе роллс-ройса, Сэммлер ясно видел это сходство. Фелшер и Китто делали Элию чересчур щеголеватым. Шили ему чересчур узкие брюки. Мужественная шишка, которая вздувалась, когда он садился, не соответствовала его облику. Он носил галстуки и носовые платки в тон от Каунтесс Мара; и остроносые щегольские башмаки, которые вызывали представление не о медицине, а о Лас Вегасе с его скаковыми лошадьми, шляхами и певицами сомнительной репутации. Детали его жизни, как-то странно сочетающиеся с его добротой.

Походка гангстера — плечи враскачку. Двубортные

пиджаки. Привычка играть в джин и канасту на большие деньги, манера цедить слова уголком рта. Отвращение к "культурным" врачам, любящим потолковать о Хайдеггере и Витгенштейне. Он считал, что у настоящих врачей нет времени на эту липу. Он был великий ненавистник всякой липы. Он с легкостью мог позволить себе этот автомобиль, но не желал вести образ жизни, ему соответствующий. Никаких бродвейских мюзик-холлов или личных самолетов. Его единственной эксцентричной выходкой была внезапная поездка в Израиль, когда он вошел в отель "Кинг Дэвид" без всякого багажа, руки в карманах. Это, по его мнению, было "спортивно". Конечно, у Элии были свои странности, — думал Сэмплер. — Ведь сама по себе профессия хирурга — странная вещь. Вскрывать ножом бесчувственное человеческое тело. Вытаскивать оттуда органы, зашивать живую плоть, проливать кровь. Не всякий на такое способен. И возможно, этот автомобиль он содержит ради Эмиля. Ну, что бы делал Эмиль, не будь этого роллс-ройса? Кажется, это было самое правдоподобное решение. У Элии был исключительно сильный инстинкт покровительства. Его особым удовольствием была тайная благотворительность. Он благодетельствовал, применяя всевозможные уловки. Уж кто-кто, а я это знаю. Как странно, как поразительно это его вечное стремление покровительствовать нам, облегчить нашу участь. Поразительно, потому что Элия — хирург, он всегда презирал слабость и некомпетентность. Только великие и могучие инстинкты, их глубинная хитрая работа заставляли его принимать сторону презренной слабости. Но не понятно, почему собственно Элия позволял себе эту роскошь — уважать только силу? Сам-то он всегда был на крючке. Ведь Хильда была намного сильнее его. В его повадках старого мафиозо была претензия на безудержную свободу. Нет, настоящей преступницей была малютка Хильда с ее ногами-жердочками, с ее взбитой прической, с ее безупречно отутюженными юбками и сладкой благопристойностью. Она подцепила Элию на крючок. И ему

было неоткуда ждать помощи. Да и кто бы сумел ему помочь? Он был из тех, кто сами помогают другим. Без всяких встречных обязательств. Как бы то ни было, скоро все кончится. Кончится и быльем порастет.

А наш мир, верно ли, что он вот-вот переменится? Зачем? Как? Просто двинется в космос, прочь от земли? А переменятся ли человеческие души? Ожидаются ли новости в поведении? Почему? Попросту потому, что мы устали от старого поведения? Этого явно недостаточно для перемен. Так почему же? Потому, что мир уже рассыпается? По крайней мере, Америка, если не весь мир. Ну, если еще не рассыпается, то, во всяком случае, сотрясается.

Эмиль опять вел машину равномерно, вниз от Семьдесят второй улицы. Поток автомобилей слегка поредел. Тут уже не было товарных фургонов, создающих пробки. Приближался Линкольн Центр, а за ним на кольце Колумбус вздымалось здание Хантингтон Харфорда, которое Брук называл Тадж Махал. Ну разве это не смешно? — восклицал Брук. Он обычно хохотал до слез от собственных шуток. Похожий на обезьяну, он складывал руки на животе, зажмуривался и высывал язык. Ну и домик! Весь из дыр. Но зато там можно получить обед всего за три доллара. Он просто бредил этим: за такую цену — гавайские цыплята и шафранный рис. В конце концов он повел туда старика. Обед был действительно великолепный. А вот Линкольн Центр мистер Сэмплер видел только снаружи. Он был равнодушен к исполнительскому искусству и избегал больших скоплений народа. Выставки, — электрическую живопись и обнаженные модели, — он посещал только потому, что Анджеला желала держать его в курсе современного искусства. Но он пропускал в "Таймс" страницы, посвященные художникам, певцам и актерам. Он берег свой единственный читающий глаз для более интересных вещей. С недоброжелательным интересом он отметил, что сносятся милые старые дома и развалюхи и возводятся новые здания.

Вдруг, почти у самого въезда в Линкольн Центр,

Эмиль резко затормозил машину и отодвинул стеклянную перегородку.

— Почему вы остановились?

— Что-то происходит на той стороне улицы, — сказал Эмиль. Собрав гармошкой все складки лица, он всматривался в происходящее, словно оно требовало его особого внимания. Ради чего, собственно, стоило останавливать машину в такую минуту? — Вы не узнаете этих людей, мистер Сэмплер?

— Каких людей? Что там, машины столкнулись? Задержка движения? — Конечно, он не смел приказывать Эмилю ехать дальше, но он все же сделал неопределенный жест, нечто вроде взмаха руки. Он как бы указывал направление — вперед.

— Нет, я думаю, вы захотите задержаться, мистер Сэмплер. Я вижу, там ваш зять. Разве это не он там, с зеленой сумкой? А тот, другой — ведь это партнер Уоллеса!

— Фефер?

— Да, тот толстый парень. Розовощекий с бородой. Он с кем-то дерется. Вы видите?

— Где это? Там, на улице? Это Эйзен?

— Нет, дерется другой парень. Тот, с бородой. Помоему, ему здорово достается.

На противоположной стороне сбегающей под уклон улицы автобус притормозил у тротуара под тупым углом, почти полностью преградив дорогу машинам. Теперь Сэмплер разглядел, что там в кольце толпы зевак идет драка.

— Так один из них — Фефер?

— Да, мистер Сэмплер.

— С кем это он сцепился? С шофером автобуса?

— Нет, это не шофер. Это кто-то другой.

— Придется пойти и посмотреть, что там.

Эти задержки — просто безумие! Словно намеренно, словно нарочно они стремились испытать предел его терпения. И в конце концов достигли цели. Почему именно здесь, именно Фефер? Но сейчас он уже видел ясно то, о чем говорил Эмиль. Фефер стоял, притисну-

тый к передней стенке автобуса. Это был именно Фефер, распластанный на широком бампере. Сэммлер начал лихорадочно дергать дверную ручку.

— Не с этой стороны, мистер Сэммлер. Вас тут собьют.

Но Сэммлер, окончательно потерявший терпение, уже спешил через улицу, запруженную машинами.

Фефер, окруженный плотным кольцом зевак, дрался с чернокожим карманником. Человек двадцать, не меньше, глазели на драку, к ним присоединялись все новые и новые, но, похоже, никто не собирался вмешиваться. Фефер, притиснутый к громоздкому автобусу, пытался вырваться из цепкой хватки карманника. Его голова билась о ветровое стекло перед пустым сиденьем шофера. Негр стискивал его все сильнее, и Фефер был испуган. Он еще сопротивлялся, еще защищался, но был уже бессилен. Противник был сильнее. Еще бы! Как могло быть иначе? Бородатое лицо Фефера искажилось от страха. Круглые щеки пылали, широко расставленные карие глаза зывали о помощи. Он не знал, что делать. А что он мог сделать? Он был похож на человека, который пытается вытащить из потока упавший на дно предмет: глаза выпучены, рот в зарослях бороды широко разинут. Но фотоаппарата он не отдавал. Он держал его в высоко поднятой руке, вне пределов досягаемости. Огромное тело в светло-коричневом костюме давило его своим весом. Не повезло Феферу, не удалось ему сделать снимок исподтишка. Черный вор пытался выхватить аппарат. Да больше ему ничего и не нужно было — только забрать фотоаппарат, дать Феферу пару раз под ребра и разок-другой в живот и исчезнуть по-возможности неторопливо до прихода полиции. Но Фефер, несмотря на свой страх, все еще не сдавался. Изменив хватку, негр взял Фефера за воротник и начал закручивать его, прижимая при этом свою жертву к стенке, как он делал это с Сэммлером. Он душил Фефера воротом его собственной рубашки. Темные очки от Диора, идеально круглые и голубоватые, не шелохнулись на плоском носу негра. Фефер вцепил-

ся в его развевающийся малиновый галстук, но ничего не мог с ним сделать.

Как спасти этого безмозглого, лезущего не в свое дело идиота? Негр может его изувечить. А мне надо спешить. У меня совсем нет времени.

— Эй, кто-нибудь! — приказал Сэмmlер. — Помогите! Разнимите их, помогите ему!

Но, конечно, "кто-нибудь" не откликнулся. Никто не подумал вмешаться, и внезапно Сэмmlер остро почувствовал себя иностранцем: голос, акцент, манеры, синтаксис, лицо, психология, — все в нем было иностранным.

Но Эмиль видел тут Эйзена. Сэмmlер огляделся вокруг. Да, вот он — бледный, с дурацкой улыбкой. Видно, давно ждет, что Сэмmlер заметит его. Теперь он был счастлив, что на него обратили внимание.

— Что ты здесь делаешь? — сказал Сэмmlер по-русски.

— А вы, дорогой тесть, что вы здесь делаете?

— Я? Я спешу в больницу к Элии.

— А я был со своим юным другом в автобусе, когда он делал этот снимок. Снимок открытой сумочки. Я сам все это видел.

— Какая глупость!

Эйзен держал свою зеленую брезентовую сумку. Там были его скульптуры или медальоны. Куски со дна Мертвого моря, — железопириты, или как их там.

— Пусть он отдаст фотоаппарат. Почему он не отдает фотоаппарат? — сказал Сэмmlер.

— А как нам с этим-то справиться? — сказал Эйзен, явно не соглашаясь.

— Нужно позвать полицию, — сказал Сэмmlер. Он бы с удовольствием добавил — и перестань улыбаться.

— Но я не говорю по-английски.

— Тогда помоги ему.

— Лучше вы помогите ему, тесть. Я — иностранец и калека. Конечно, вы старше. Но я ведь только приехал в эту страну.

Сэмmlер сказал карманнику:

— Отпусти. Сейчас же отпусти его.

Большое черное лицо повернулось к нему. Нью-Йорк отразился в темных линзах под жесткими полями шляпы. Возможно, негр узнал Сэмлера. Но никак этого не выразил.

— Отдайте ему фотоаппарат, Фефер. Выпустите его из рук, — сказал Сэмлер.

Фефер уставился на него с выражением мольбы и отчаяния, похоже было, что он вот-вот потеряет сознание. Но руку с аппаратом он не опускал.

— Вы слышите, отдайте ему эту дурацкую штуку. Он хочет забрать пленку. Не будьте идиотом.

Вероятно, Фефер надеялся, что вот-вот из-за угла выскочит машина, полная полицейских. Ничем иным нельзя было объяснить его бессмысленное упорство. Особенно, если принять во внимание силу негра — ползучую, верткую, цепкую, звериную мощь его хватки, чудовищные бугры шейных мышц, жесткую напряженность ягодиц, когда он поднимался на цыпочки. Ноги в блестящей крокодиловой коже! В светло-коричневых брюках, стянутых поясом под цвет галстука — поясом с малиновым отливом! До чего же все это подстегивало воображение.

— Эйзен! — скомандовал Сэммер в ярости.

— Да?

— Я прошу тебя сделать что-нибудь!

— Пусть они сделают что-нибудь. — Он взмахнул зеленой брезентовой сумкой в направлении зевак. — Я ведь всего сорок восемь часов, как приехал!

Мистер Сэмлер снова повернулся к толпе, всматриваясь в лица. Неужели никто не поможет? Выходит, он до сих пор — до сих пор! — еще верит, что кто-то придет на помощь со стороны? Всюду, где люди, есть надежда на помощь. Это одновременно инстинкт и рефлекс. (Негаснущая надежда?) Он скользил взглядом по лицам людей, столпившихся вокруг тротуара, — лицо, лицо, лицо, румяное, бледное, смуглое, худое, полное, угрюмое, сонное, глаза — голубые, карие, черные, — удивляясь странной общности в их бездействии. Все

они ожидали — о! наконец-то! — удовлетворения каких-то своих раздраженных, возбужденных, неутоленных, обманутых надежд, утешения для изголодавшихся душ. Вот сейчас ему ка-ак влепят! А черные лица? То же самое желание. По другую сторону черты. Но то же самое. У Сэмлера было ощущение, что воздух вокруг наполнен лаем, хоть не слышно было ни звука. И вдруг его поразила мысль, что всех их объединяет блаженство присутствия. Как будто было сказано — да, именно так! — блаженны присутствующие. Они и здесь, и в то же время не здесь. Они как бы присутствуют и отсутствуют. Вот они — стоят в экстазе и ждут. Вот их высшая привилегия! И никто не может прекратить драку, — только Эйзен. Странная это драка все-таки... Сэмлеру не верилось, что чернокожий вор будет душить Фефера до потери сознания; нет, он просто будет закручивать ворот на его шее до тех пор, пока Фефер не отдаст фотоаппарат. Конечно, всегда оставалась вероятность, что он стукнет его или всадит нож. Но хуже всего, страшней, чем само это происшествие, было то чувство, которое все настойчивей охватывало Сэмлера.

Это было чувство ужаса, и оно росло, росло и росло. Что за ужас? Как его описать? Он — человек, вернувшийся из мертвых. Он возвратился к жизни. Он опять рядом с другими. Но в чем-то главном он совершенно одинок. Он стар. Ему недостает простой физической силы. Он знает, что нужно сделать, но у него нет сил сделать это. Ему приходится обращаться к другому — к Эйзену! К человеку, который и сам вне всего этого, на другом пути, на другой орбите, с совсем другим, иноземным центром. Сэмлер был бессилен. А бессилие равнозначно смерти. И вдруг он увидел себя самого: фигура, не стоящая на ногах, а как-то странно наклоненная, словно откинутая назад, в прошлое — и почему-то в профиль, — себя как человека в прошедшем времени. Это был вовсе не он. Это был некто — и это особенно потрясло его — нищий духом. Некто между состояниями: между человеческим и нечелове-

ческим, между содержательностью и пустотой, наполненностью и вакуумом, значимостью и незначимостью, этим светом — и никаким. Некто, — летучий, неподвластный силам притяжения, свободный, слегка испуганный, неуверенный в цели своего полета, опасющийся, что ничто не ждет его в конце пути.

— Эйзен, разними их, — сказал он. — Он вот-вот задохнется. Сейчас явится полиция и начнет заталкивать всех в машину. А мне надо идти. Стоять здесь — просто безумие. Пожалуйста. Я прошу, просто отними у него аппарат. Отними, и все будет в порядке.

И тут красавчик Эйзен, ухмыляясь, пожимая и поводя плечами, чтобы ослабить тугую джинсовую ткань пиджака, отодвинулся от Сэмлера с таким видом, словно собирался сделать что-то забавное по его личной просьбе. Он закатал правый рукав, обнажив руку, поросшую густыми черными волосами. Затем, подтянув ремни брезентового рюкзака, он широко размахнулся и изо всех сил ударил карманника рюкзаком сбоку по лицу. Это был страшный удар. С вора слетели очки, шляпа. Фефер высвободился не сразу. Казалось, негр прилег на него отдохнуть, оглушенный. Эйзен был рабочий, литейщик. Но тут была не только профессиональная сила, тут была и сила сумасшедшего. Что-то безмерное, не знающее удержу, прорвалось в том, как он прицелился, как примерился к росту негра, — какая-то стойкая дефективность. В этот удар он вложил все свои свойства: все — и самодисциплину и способность к убийству. Господи, что я натворил! Ведь это хуже всего, это самое худшее. Сэмлер был уверен, что Эйзен раздробил лицо негра. А теперь он опять собирался ударить его своими медальонами. Негр отпустил Фефера и начал медленно поворачиваться. Губы его раздвинулись, обнажив зубы. У него была глубоко рассечена кожа, из распухшей щеки текла кровь. Эйзен брякнул своими железками и расставил ноги пошире. "Он убьет эту падлу!" — сказал кто-то в толпе.

— Не бей его, Эйзен. Я не просил об этом. Слышишь, что я сказал? — сказал Сэмлер.

Но брезентовый рюкзак с грузом уже обрушился на негра с другой стороны. Замах был широкий и прицельно-точный. Удар был сильнее первого, он сбил негра с ног. Тот не рухнул на асфальт. Он просто медленно опустился, будто решил полежать на улице. Кровь текла из рваных ран на его щеках. Тяжелый металл изрезал лицо даже сквозь брезент.

Эйзен уже снова вскидывал свое оружие, чтобы опустить его прямо на череп негра. Сэммлер схватил его за руку и оттащил в сторону.

— Ты убьешь его. Ты хочешь выбить из него мозги?

— Так вы же сами сказали, тесть!

Они препирались по-русски на глазах толпы.

— Вы же сказали, чтобы я что-нибудь сделал! Вы сказали, что вам надо идти. И что я должен что-то сделать. Вот я и сделал...

— Но я не говорил, чтобы ты добивал его этими проклятыми железками. Я вообще не просил тебя, чтобы ты его бил. Ты сумасшедший, Эйзен, — совсем сумасшедший. С тебя станется убить его на месте.

Карманник сделал попытку приподняться на локтях. Сейчас его тело опиралось на полусогнутые руки. Кровь густым потоком стекала на асфальт.

— Я просто в ужасе! — сказал Сэммлер.

Эйзен, красивый, кудрявый, хотя и взмокший от пота, с той же улыбкой стоял, странно расставив свои беспальные ноги, и, казалось, забавлялся нелепой непоследовательностью Сэммлера. Он сказал:

— Такого человека нельзя ударить один раз. Уж если бить, так бить как следует. Иначе он убьет вас. Вы же знаете. Вы же воевали, как и я. Вы были в партизанском отряде. У вас был автомат. Что ж, вы не знаете, что ли? — Этот смех, эта логика! Он смеялся, рассуждая о сэммлеровской нелепости, и все повторял, уже заикаясь: Если вы за — так за. Если вы против — так против. Да или нет? Отвечайте.

От этого рассуждения Сэммлер совсем упал духом.

— Где Фефер? — сказал он и оглянулся.

Фефер стоял, прижавшись лбом к обшивке автобу-

са, и постепенно приходил в себя. И, без сомнения, играл на публику. Это представление было отвратительно Сэмmlеру.

Будь они прокляты, все эти совпадения! — думал он. Будь они все прокляты, ведь Элия ждет его. И только Элию хотел он видеть. Только для Элии были у него слова. Для них для всех у него слов не было.

Потом он услышал, как кто-то спросил:

— А где же полиция?

— Заняты. Как всегда. На задании, выписывают где-нибудь квитанции. Эти говнюки. Всегда, когда надо, их нет.

— Ого, сколько крови! Надо вызвать скорую помощь.

Тускло отсвечивали завитки волос на угольно-пористой голове негра, из которой все еще сочилась кровь, глаза его были закрыты. Но он явно хотел подняться на ноги. Все делал попытки встать.

Эйзен сказал Сэмmlеру:

— Это тот самый, правда? Тот самый, о котором вы рассказывали, который преследовал вас? Который показал вам свою шишку?

— Уйди от меня, Эйзен!

— А что мне было делать?

— Уходи поскорей. Убирайся прочь отсюда. А то влипнешь в историю, — сказал Сэмmlер. Он обратился к Феферу:

— Что вы скажете теперь?

— Я поймал его на месте преступления. Пожалуйста, подождите минутку, он повредил мне горло.

— Ерунда, не разыгрывай передо мной умирающего. Вот этому человеку действительно плохо.

— Я клянусь, он пытался открыть сумочку, у меня есть два снимка.

— Два снимка, подумать только!

— Вы, кажется, сердитесь, сэр? Почему, собственно, вы на меня сердитесь?

И тут Сэмmlер увидел полицейскую машину с вращающимся прожектором на крыше, оттуда лениво вы-

шел полицейский и начал расталкивать толпу. Эмиль оттащил Сэммлера куда-то за автобус и сказал:

— Вам все это ни к чему. Нам надо спешить.

— Ну, конечно.

Они перешли через улицу. Нельзя впутываться в эти дела с полицией. Его могут задержать на несколько часов. Ему вовсе не следовало заезжать домой. Надо было ехать прямо в больницу.

— Я бы хотел сесть впереди, рядом с вами, Эмиль.

— Конечно, пожалуйста, как вам угодно! Ого, как вас трясет! — он помог Сэммлери сесть в машину. У Эмиля у самого дрожали руки, а Сэммлера просто бил лихорадка. Откуда-то снизу по ногам поднималась отвратительная слабость.

Могучий мотор заработал. Из кондиционера хлынула струя прохлады. И роллс-ройс влился в поток машин.

— В чем же там было дело?

— Хотел бы я знать, — сказал Сэммлер.

— А кто этот черный тип?

— Бедняга, понятия не имею, кто он такой.

— Да, ему пару раз здорово приложили!

— Эйзен жестокий человек.

— Что у него там, в этой сумке?

— Куски металла. Я чувствую себя ответственным, Эмиль: ведь это я обратился к Эйзену за помощью, потому что мне так хотелось поскорей попасть к доктору Гранеру.

— Может, у этого парня крепкий череп. Наверно, вам не приходилось видеть, как бьет человек, который хочет убить. Хотите прилечь на заднем сиденьи на десять минут? Я могу остановиться.

— Что, я очень плохо выгляжу? Нет, нет, Эмиль, не нужно. Я только закрою глаза.

Сэммлера душил гнев. Он просто ненавидел Эйзена из-за этого негра. Конечно, у негра мания величия. Но надо признать, есть в нем что-то царственное. Эта его одежда, эти темные очки, эти яркие цвета, эта варварски величественная манера. Вероятней всего, он сума-

шедший. Но сумасшедший, одержимый идеей аристократизма. И как Сэмплер сочувствовал ему, чего бы он не дал, чтобы предотвратить эти жестокие удары. Как красна, как густа была его кровь, — и как ужасны эти древние, колющие металлические чурки! А Эйзен? Он, конечно, жертва войны, и не надо было забывать, что он тоже сумасшедший. И место ему в сумасшедшем доме. У него мания убийства. Если бы только, думал Сэмплер, Шула и Эйзен были чуточку менее сумасшедшими. Хоть чуточку. Жили бы они и дальше в Хайфе, эти двое чокнутых, в своей выбеленной известковой клетке, и играли бы в казино. Потому что в перерывах между грандиозными спектаклями с воплями и мордобоем, приводившими в ужас соседей, они сразу же садились за карты. Так нет же! Эти люди имеют право считаться нормальными. Более того, они имеют право передвигаться в пространстве. У них есть паспорта, билеты. И вот пожалуйста, — бедняга Эйзен прибывает в Америку со своими медальонами. Бедная, заблудшая душа, бедняга Эйзен с его собачьей улыбкой!

Сколько удовольствия от жизни они получают! Уоллес, Фефер, Эйзен, Анджела и даже Брук. Они так весело смеются! Дорогие братья, давайте все вместе будем людьми. Давайте погуляем на этой веселой ярмарке и все вместе пробежимся по забавной дорожке! Будем развлекать своих родных и близких. Охота за сокровищами, цирковые полеты, космические кражи, медальоны, парики, сари и бороды! Да это же все благотворительность, чистая благотворительность, учитывающая нынешнее положение вещей и бессмысленную слепоту жизни. Страшно! Лучше бы не родиться! Невыносимо! Давайте же развлекать друг друга, пока мы живы!

— Я поставлю машину здесь и поднимусь вместе с вами, — сказал Эмиль. — Пусть меня штрафуют, если им охота.

— Доктор еще не вернулся? — сказал Эмиль.
— Видимо, нет. Анджела сидит в палате одна.
— Ну ладно. Если я вам буду нужен — я тут, у входа.

— Я уже выкуриваю по три пачки в день. Опять у меня кончились сигареты, Эмиль. Даже газету прочесть не могу — никак не сосредоточиться.

— Бенсон и Хеджес, да?

Когда он ушел, она сказала:

— Не люблю посылать пожилого человека с поручениями.

Сэмплер не ответил. Он держал свою шляпу в руках, не хотел класть ее на свежезастланную постель.

— Эмиль был в папиной шайке. Они очень привязаны друг к другу.

— Как дела?

— Если бы знать! Его увезли вниз делать анализы, но два часа — это так долго. Надеюсь, доктор Косби знает свое дело. Мне он не слишком нравится. На меня такие типы не действуют. Ведет себя так, как будто командует военной школой на Юге. Но я же не его кадет! Меня он муштровать не может. Грубый, холодный, отвратительный. Из тех красавчиков, которым невдомек, что женщинам они не нравятся. Садитесь на этот стул с прямой спинкой, дядя. Вам будет удобней. Я хочу с вами поговорить.

Сэмплер уселся поудобнее и подальше от света, он не в силах был видеть окно, за которым не было ничего, кроме синего неба. Предстоял неприятный разговор. Он был так взбудоражен, что улавливал малейшие сигналы. Другая женщина горела бы, как в лихорадке, Анджела же была бледна, как воск. Ее забавный хриплый голос, — вероятно, она подражала Талуле Бэнкхэд, — потерял всю свою забавность. Горло вздувалось, набухало, светло-коричневые брови, подрисованные вразлет, как крылья, все время поднимались. Время от времени она бросала на него молящий взгляд. При этом она явно была рассержена. Все давалось ей с трудом. Даже морщить лоб ей было трудно. Что-то в ней

было нарушено. К атласной блузке с большим декольте она надела мини-юбку. Нет, Сэмплер ошибся, это была микро-юбка, просто зеленая полоска ткани, опоясывающая бедра. Крашенные под седину волосы туго стянуты назад, кожа великолепная (гормоны). На щеках поблескивают большие золотые серьги. Крупная полная женщина, одетая как девочка, зазывно играющая в ребенка, — а ее-то уж никак не примешь за мальчика! Сидя рядом с нею, Сэмплер отметил, что она не благоухает, как обычно, арабским мускусом. Сегодня от нее исходил ее собственный запах, очень сильный, солоноватый, напоминающий запах слез и морского прилива, запах ее женских соков. Слова Элии точно передавали производимое ею впечатление, он сказал — ”слишком много секса”. Даже белая губная помада намекала на извращенность. Любопытно, это не отвращало Сэмплера. Он не чувствовал предубеждения против извращений, против избытка секса. Ничего он не чувствовал. Слишком позднее время дня. И слишком жарко. Другие, куда более искажающие жизнь силы поработали сегодня. Удар эйзеновских медальонов по черному лицу карманника еще жил в нем. Его собственные нервы просто и элементарно связали этот удар с тем ударом приклада, который тридцать лет назад выбил ему глаз. Это ощущение удара, падения — можно, оказывается, пережить все это вновь. Стоило ли переживать все это вновь? Он сидел и ждал, когда же, наконец, каталка Элии упруго толкнется в дверь палаты.

— Уоллес не появлялся? Он должен был приземлиться в Ньюарке.

— Не появлялся. Да, я должна ведь еще рассказать вам о моем братце. Когда вы его видели? Марго уже рассказала мне про трубы.

— Во плоти? Я видел его прошлой ночью. А сегодня утром я видел его в небе.

— А, так вы видели, как этот идиот барахтается в воздухе?

— А что, с ним что-нибудь случилось?

— Не беспокойтесь, он не ранен. Хотела бы, чтобы он хоть разок хорошенько трахнулся, но он прямо какой-то голливудский трюкач.

— Он что, попал в катастрофу?

— А что вы думали? Об этом уже передавали по радио. Он зацепился колесом за дом.

— О господи! Ему пришлось прыгать с парашютом? Это был ваш дом?

— Он попал в катастрофу, когда приземлялся. Над каким-то городом в Вестчестере. Одному только Богу известно, почему этот урод должен болтаться где-то в небе, снося крыши с домов, когда у нас такие неприятности! Меня это просто сводит с ума!

— Неужели Элия слышал об этом по радио?

— Нет, он не слышал. Он уже был в лифте.

— Значит, Уоллес не ранен?

— Уоллес на седьмом небе от восторга. Ему должны наложить швы на щеке.

— Понятно. У него будет шрам. Все это ужасно.

— Вы слишком уж ему сочувствуете.

— Допускаю, что всякое сострадание — утомительно. Но он всегда вызывает у меня это чувство.

— Да, да, это вполне в вашем духе. А по сути, моего маленького братца давно уже нужно куда-то упрятать. Запереть в психушку. Вы бы только послушали, что он лопотал в телефон!

— А, так ты с ним говорила?

— Сперва он попросил какого-то типа описать его великолепную посадку. А потом уже взял трубку сам. Это было восхитительно! Можно было подумать, что он добрался до Северного полюса на велосипеде! Вы знаете, на нас подадут в суд за поврежденный дом. Кроме того, он разбил самолет. Гражданская авиация забирает его летные права. Надо бы, чтобы они забрали и его самого. Но он был вне себя от восторга. Он спросил: "Не рассказать ли папе?"

— Не может быть!

— Представьте себе, — сказала Анджела. Она была в ярости. Она гневалась на всех — на доктора Косби, на

Уоллеса, на Видика, на Хоррикера. С Сэммлером она была сегодня резка. Да и сам он был вне себя. Что за день! Этот изуродованный негр! Лужа крови. Но сейчас, от столкновения с ее сверхженственностью, он опять увидел все особенно ясно. Так, как увидел вдруг свирепо освещенную Риверсайд Драйв, когда разглядел в автобусе действия карманника. Вот так же точно он видел и сейчас. Видеть — какое это наслаждение. Ну, еще бы! Высшее наслаждение. Солнце может сиять и давать счастье, но иногда оно освещает взбесившийся мир. Его даже пугала необычная живость и четкость всего, что он видел. Мягкий цвет лица Анджелы, ее хмуро сдвинутые брови — ах, какая это смесь изящества и вульгарности. А солнце в полную силу било в окно. Исполосованное стекло истекало светом, как медом. Это было похоже на огневой заслон нестерпимой яркости и сладости. Сэммлеру не нужна была эта яркость. Она обращалась против него, она слишком кружила голову, слишком волновала.

— Как я понимаю, вы с Элией все продолжаете обсуждать этот злополучный инцидент?

— Он ни за что не хочет забыть о нем. Это жестоко. Для нас обоих — для него и для меня. Но я не могу остановить его.

— А что тебе остается, кроме покорности? Сейчас важнее всего его спокойствие. И никаких препирательств быть не должно. Возможно, было бы правильно, если бы здесь появился юный мистер Хоррикер. Чтобы показать, что он не воспринимает все серьезно. А как он воспринимает это на самом деле?

— Говорит, что всерьез.

— Может быть, он тебя любит?

— Он? Бог его знает. Но я ни за что не стану просить его прийти. Это означает воспользоваться папиной болезнью.

— Но ты хочешь вернуть его?

— Хочу ли? Возможно. Я не уверена.

Был ли у нее кто-то новый на примете? Человеческие привязанности стали так легковесны; возможно,

у нее наготове есть длинный список претендентов, которых она имеет в виду: одного она встретила в парке, когда прогуливала собаку, с другим поболтала в Музее современного искусства; один с пейсами, другой с большими чувственными глазами, третий с больным ребенком, четвертый с женой, страдающей рассеянным склерозом. На свете вполне достаточно людей, чтобы осуществить немислимое множество вожделений и капризов. Все они всплывали из обрывков прошлых рассказов Анджелы. Он слушал и запоминал все: и тусклые факты, и художественные штрихи. Он не хотел слушать, но она желала рассказывать. Он не хотел ничего помнить, но не в состоянии был забыть. Анджела действительно красавица. Пожалуй, крупновата, но все же красавица, здоровая, молодая. У здоровых молодых женщин есть свои потребности. Эти ее ноги — ее ляжки, открытые взгляду почти доверху, до края зеленой набедренной повязки, — о да, она красавица! Хоррикер должен был страдать от сознания, что потерял ее. Сэммлер все еще думал об этом. Усталый, ошеломленный, отчаявшийся, он все еще думал. Не терял связи. Связи с реальной жизнью.

— Ведь Уортон не младенец. Он знал, на что шел, там, в Мексике, — сказала Анджела.

— Господи, я ничего не понимаю в этом. Вероятно, он читал эти книжки, которые ты давала мне — Баттлея и других теоретиков: грех, боль и секс; похоть, преступление и желание; убийство и чувственное наслаждение. Меня это не слишком заинтересовало.

— Я знаю, эти вещи не в вашем вкусе. Но Уортон получил свое удовольствие с этой шлюшкой. Она ему понравилась. Больше, чем мне понравился тот мужик. Я бы никогда не стала с ним встречаться. А потом в самолете на Уортона ни с того ни с сего нашла ревность. И никак не может успокоиться.

— Я только думаю, что для спокойствия Элии было бы хорошо, если бы Хоррикер пришел сюда.

— Меня бесит, что Уортон разболтал все Видику, а Видик — папе.

— Мне трудно поверить, что мистер Видик обсуждает с Элией подобные вещи. Он — во многих отношениях вполне приличный человек. Конечно, я не очень хорошо его знаю. Но он производит впечатление солидного адвоката. Никакой он не разбойник. У него такое большое мягкое лицо.

— Этот жирный сукин сын? Пусть он только мне попадется! Я все волосы ему выдеру!

— Не внушай себе, что против тебя кто-то строит козни. Ты можешь ошибаться. Элия — человек очень умный и понимает намеки с полуслова.

— А если не Видик — то кто же? Уоллес? Эмиль? Да все равно, кто бы ни намекнул, началось-то все с Уортона. Что он, не мог держать язык за зубами? Конечно, если он захочет навестить папу, я возражать не буду. Просто меня все это бесит и оскорбляет.

— У тебя и впрямь такой вид, будто тебя лихорадит. И я не хочу волновать тебя еще больше. Но уж раз твой отец так огорчен мексиканской историей, следовало ли тебе являться сюда в таком наряде?

— Вы имеете в виду мою юбку?

— Она слишком короткая. Может быть, я ничего не понимаю, но мне кажется, что неразумно приходить сюда в таком игривом наряде.

— Ну вот, теперь им не нравятся мои наряды! Вы говорите от его имени или от своего?

Сквозь стекло сочилось солнце — желтое, липкое. Это было невыносимо.

— Конечно, я знаю, что мои взгляды устарели, — они принадлежат к больной эпохе, которая принесла такой вред нашей цивилизации. — Ведь я прочел все твои книги. Мы с тобой уже обсуждали это. Но неужели ты не понимаешь, что твой отец расстроится и огорчится при виде этой соблазнительной кукольной юбочки?

— Это вы всерьез? О моей юбке? Я о ней и не думала! Я накинула, что попало, и выбежала из дому. Как странно, что вы обратили на это внимание! Сейчас все носят такие юбки. Но мне не слишком нравится фор-

ма, в которой вы высказываете свое отношение.

— Без сомнения, мне следовало выразиться иначе. Я вовсе не хочу раздражать тебя. Но нам обоим есть о чем подумать.

— Вы правы. Мне и без этого тяжело. Я просто в отчаянии.

— Я не сомневаюсь в этом.

— Дядя, я просто не нахожу себе места.

— Так и должно быть. А как же иначе?

— О чем вы? Вы говорите так, будто что-то еще имеете в виду?

— Ты права. Я тоже не могу найти себе места из-за твоего отца. Он всегда был моим другом. У меня тоже болит за него сердце.

— Не стоит нам говорить обиняками, дядя.

— Не стоит. Он умирает.

— Вот это называется — высказаться! — Она всегда любила разговор без обиняков, может быть, это было чересчур прямолинейно?

— Это так же страшно сказать, как и услышать.

— Я уверена, — вы любите папу, — сказала она.

— Люблю.

— Не только из практических соображений, ведь правда?

— Конечно, он помогает нам с Шулой. Я никогда не пытался скрывать свою благодарность. Я думаю, это ни для кого не секрет, — сказал Сэмплер. Он так иссох и состарился, что никто не смог бы заметить, когда у него начинается сердцебиение. Даже очень сильное. — Если б я был практичен, если б я был только практичен, я бы старался не спорить с тобой. Но я думаю, что на свете существуют не одни только практические соображения.

— Ладно, я надеюсь, мы не станем ссориться.

— Ну, разумеется, — сказал Сэмплер.

Она была сердита на Уоллеса, на Косби, на Хоррикера. Ему не стоило увеличивать этот список. Он не стремился к победе над Анджелой. Он только хотел убедить ее кое в чем, да и то не был уверен, что это вы-

полнимо. Не воевать же со страдающими женщинами. Он начал:

— Анджела, я сегодня очень расстроен. Поврежденные нервы, которых не замечаешь годами, вдруг напоминают о себе взрывом. Сейчас они меня жгут очень больно. Сейчас я бы хотел сказать тебе кое-что о твоём отце, пока мы его ждем. Внешне может показаться, что у нас с Элией было немного общего. Он очень сентиментален. Он настаивал, даже слишком настаивал, на бережном отношении к некоторым старомодным чувствам. Он — представитель старой системы. Я сам всегда относился к этому скептически. Можно задать вопрос: а что собой представляет современная система? Но мы не будем в это вдаваться. Мне всегда не слишком нравились люди, которые открыто проявляли свои чувства. Английская манера всегда была моей слабостью. Холодность? Я и по сей день ценю определенную сдержанность. Мне не нравится манера Элии обхаживать людей, его стремление завоевать сердца, покорять души, привлекать внимание, вступать в личные отношения со всеми, даже с официантками, лаборантками и маникюршами. Ему всегда было слишком легко сказать: "Я вас люблю!" Он обычно говорил это твоей матери при посторонних, вгоняя ее в краску. Я не намерен обсуждать ее с тобой. У нее были свои достоинства. Но если я был английским снобом, то она была немецкой еврейкой, культивировавшей стиль "белых англо-саксонских протестантов". Теперь уже, кстати, вышедший из моды. Я понял это сразу. Она поставила перед собой задачу рафинировать твоего отца, восточноевропейского еврея. Предполагалось, что он человек экспансивный и сердечный. Ведь так оно и было? Ему было предписано быть экспансивным. Да, нелегко ему пришлось с твоей матерью. Мне кажется, легче было бы любить геометрическую теорему, чем твою бедную мать. Прости, ради Бога, что выражаюсь так резко.

— В любом случае, сидеть здесь и ждать — все равно, что висеть на канате над пропастью, — сказала она.

— Это верно. Значит, можно продолжать наш разговор. Мне бы не хотелось добавлять к твоим переживаниям... но по дороге сюда я стал свидетелем ужасной сцены... В которой была доля моей вины. Я очень расстроен сейчас. Но я хотел сказать, что у твоего отца было много ролей. Практикующий врач — а он был хороший врач, муж, отец, семьянин, американец, богатый человек в отставке, владелец роллс-ройса. У каждого из нас свое предназначение. Чуткость, щедрость, экспансивность, доброта, сердечность, — все эти прекрасные человеческие качества по какой-то странной прихоти современных представителей вдруг оказались качествами постыдными, которые надо скрывать. Стало гораздо легче откровенно бахвалиться пороками. Но предназначение твоего отца — быть носителем этих истинных человеческих качеств. Они написаны на его лице. Вот почему он выглядит таким человеческим. Да, он многого добился. Даже преуспел. Он ведь не любил хирургию. Ты знаешь это. Его приводили в ужас эти трех-четырёхчасовые операции. Но он их производил. Он делал то, что ему не нравилось. В нем была преданность некоторым возвышенным понятиям. Он знал, что хорошие люди существовали до него и будут существовать после, и он хотел быть одним из них. Я думаю, он и в этом преуспел. Я к этому даже не приблизился. До сорока лет я был всего лишь англизированным польским евреем-интеллектуалом — существом относительно бесполезным. А вот Элия, повторявший благородные формулы, их, можно сказать, пропагандировавший, сумел осуществить принципы добра. И сохранить при этом себя. Он любит тебя. Я уверен, что он любит и Уоллеса. Мне кажется, и меня он тоже любит. Я многому у него научился. Ты пойми, у меня нет иллюзий насчет твоего отца. Он раздражителен, хвастлив, часто повторяется. Он тщеславен, брюзглив, заносчив. Но он делал добро, и я восхищаюсь им.

— Словом, он человек. Верно, он человек.

Она наверняка слушала его вполуха, хоть все время смотрела ему прямо в глаза, повернувшись к нему

всем телом, широко раздвинув колени, так что он видел ее розовые трусики. Заметив эту розовую полоску, он подумал: "О чем спорить? Какой в этом смысл?" Но он повторил:

— Как правило, люди человечны до некоторой степени. Одни больше, другие меньше.

— А некоторые совсем чуть-чуть?

— Похоже на то. Некоторые — чуть-чуть. Испорченные. Оскудевшие духом, опасные.

— Я думаю, все рождаются человечными.

— Нет, это не врожденное свойство. Это — способность, которую надо развивать.

— Ладно, дядя, к чему вы заставляете меня все это слушать? Что у вас на уме? Ведь вы что-то имеете в виду?

— Да, кое-что имею.

— Вы меня осуждаете?

— Нет, я славлю твоего отца.

Широко раскрытые блестящие глаза Анджелы смотрели на него сердито и похабно. Никаких стычек, Боже упаси, с отчаявшимися женщинами. И все же было нечто, чего он хотел от нее. Он выпрямился, расправил свое высохшее тело, рыжеватые седые брови мохнато нависали над затемненными стеклами очков.

— Мне не очень по душе ваше представление обо мне, — сказала она.

— Какое это может иметь значение в такой день? А может быть, мне только кажется, что сегодня все должно быть иначе? Возможно, будь мы в Индии или Финляндии, все выглядело бы для нас по-другому. Нью-Йорк вызывает мысли о гибели цивилизации, о Содоме и Гоморре, о конце света. Конец света здесь никого не удивит. Многие люди давно уже поставили на это событие. Не знаю, верно ли, что в наши дни люди стали намного хуже. Цезарь в один день вырезал тенцеров, всего четыреста тридцать душ. Весь Рим был в ужасе. Я не уверен, что наше время — самое страшное. Но сейчас в воздухе носится ощущение, что мир рушится, и я тоже это чувствую. Раньше я ненавидел лю-

дей, заявляющих, что конец близок. Что они могли знать о конце? А я кое-что знал из собственного, так сказать, замогильного опыта. И оказывается, я был неправ, совершенно, абсолютно неправ. Кто угодно может почувствовать истину. Но попробуй представить себе, что это ощущение верно, что это не просто дурное настроение, не просто невежество или разрушительное развлечение, или то, чего желают люди, неспособные хоть что-нибудь сделать как следует. Представь себе, что так оно и будет. Ведь все же есть такое понятие — человек. По крайней мере, было. И понятие — человеческие качества. Слабые люди побеждали собственный страх, безумцы побеждали собственные преступные склонности. Мы — гениальные животные.

Так он часто думал. В данный момент это была пустая формула. Он сам не чувствовал того, что говорил.

— Ну, дядя?

— Но не нам дано решать, наступает ли конец мира или нет. Дело в том, что наступил конец мира для твоего отца.

— Почему вы все время подчеркиваете это, будто я сама не понимаю? Чего вы хотите?

Действительно, чего? От нее, сидящей перед ним с полуобнаженной грудью, испускающей женские запахи, от этой встревоженной женщины с затуманенными большими глазами; а он вдруг, непонятно зачем, пристаёт к ней с Цезарем и тенцерами, со своими идеями. Да отвяжись ты от этого несчастного создания. Ибо сейчас она желала считаться несчастным созданием. И была им. Но он не мог от нее отвязаться — пока еще не мог.

— Как правило, при аневризме смерть наступает внезапно, — сказал он. — Но Элия получил небольшую отсрочку, и это дает нам некоторые возможности.

— Какие возможности? О чем вы?

— О том, что сейчас может разрешиться многое. Эта отсрочка сделала твоего отца реалистом — заставила посмотреть в глаза фактам, о которых он до сих пор имел смутное представление.

- Например, фактам обо мне? Ведь он на самом деле не хотел ничего знать обо мне.
- Да.
- Чего вы добиваетесь?
- Ты обязана кое-что сделать для него. Он в этом нуждается.
- Что же это такое, что я обязана сделать?
- Это тебе решать. Если ты его любишь, ты должна подать ему знак. Он в горе. Он в ярости. Он во всем разочарован. И я не думаю, что дело в твоей постельной жизни. Дело в том, что он нуждается в обыкновенном участии. Разве ты не видишь, Анджела? От тебя не потребуется больших усилий. Но ты должна дать ему последнюю возможность быть самим собой.
- Насколько я понимаю, если в том, что вы говорите, есть хоть какой-то смысл, то вы имеете в виду старомодную сцену у смертного одра.
- Какая разница, как это называть?
- То есть, я должна просить его простить меня? Вы это серьезно?
- Крайне серьезно.
- Но как я могу? Я... да нет. Это ни в какие ворота не лезет... Даже для папы это бы выглядело кривлянием. Вы обратились не по адресу. Это не для меня.
- Он был хороший человек. И сейчас пробил его последний час. Неужели ты не можешь придумать для него какие-нибудь слова?
- Какие слова, о чем тут говорить? Вы что, не можете думать ни о чем, кроме смерти?
- Но ведь перед нами именно смерть.
- Я вижу, вас не остановить. Вы ведь собираетесь сказать что-то еще. Что ж, валайте!
- Так прямо и говорить?
- Так прямо и говорите. И чем короче, тем лучше.
- Я не знаю, что случилось в Мексике. Детали тут несущественны. Мне только кажется странным, что это может быть весело — любовь и интимность со случайным встречным. Развлечения, групповые совокупления, оральный секс с незнакомцами — все это можно,

ну, а примириться с собственным отцом в его последний час — нельзя? Он посвятил тебе чувство большой силы, Анджела. Я думаю, главная часть его любви досталась тебе. И ты хоть немного должна понять и вознаградить его.

— Дядя Сэмmlер! — она была в ярости.

— Ага. Ты сердисься. Это естественно.

— Вы оскорбляете меня. Вы все время очень хотели меня оскорбить. Что ж, наконец-то вы добились своего, дорогой дядя!

— Я не ставил себе такой цели. Я только думаю, есть вещи, которые всем известны или должны быть известны.

— Ради Бога, прекратите, наконец!

— Хорошо, я больше не буду вмешиваться не в свое дело.

— Вы ведете свою особую жизнь в своей унылой комнате. Может, это и очаровательно, но какое это имеет отношение к чему бы то ни было? Не думаю, что вы способны понять, как живут другие люди. Что вы имели в виду, когда говорили про оральный секс? Что вы знаете об этом?

Что ж, значит, у него не вышло. Она бросала ему в лицо то самое, что кричал тот юнец в Колумбийском университете. Он вне игры. Высокий, высохший, не очень приятный старик, осуждает всех, воображает себя Бог вест кем. Черт побери, такой *Hors d'usage**. На фонарь его! Что ж, это действительно не бог вест что. Пожалуй, ему не следовало раздражать Анджелу до такой степени. Но сейчас он и сам дрожал с головы до ног.

В этот момент появилась серая медсестра и позвала Сэмmlера к телефону.

— Ведь вы мистер Сэмmlер, не правда ли?

Он вздрогнул. Вскочил на ноги.

— Кто зовет меня? Что там? — Он не знал, чего ожидать.

* Вышедший из употребления (франц.).

- Вас зовут к телефону. Ваша дочь. Вы можете говорить в коридоре возле дежурной сестры.
- Да, Шула? — сказал он дочери. — Говори же. В чем дело? Где ты?
- Я в Нью-Рошели, а где Элия?
- Мы ждем его. Что тебе сейчас надо, Шула?
- Ты слышал насчет Уоллеса?
- Да, слышал.
- Он и впрямь молодец, что сумел посадить этот самолет без шасси.
- Да, замечательно. Конечно, он чудо природы! А теперь, Шула, я хотел бы, чтобы ты уехала оттуда. Тебе ни к чему рыться в чужом доме, тебе нечего там делать. Я хотел, чтобы ты уехала вместе со мной. Ты обязана меня слушаться.
- Я и не думала поступать иначе.
- Но ты поступила.
- Ничего подобного. Если мы разминулись, то это было в твоих интересах.
- Шула, не пытайся меня одурачить. И хватит о моих интересах. Оставь их в покое. Но ты позвонила, чтобы что-то сказать. Кажется, я понимаю, что.
- Да, папа.
- Тебе удалось!
- Да, папа. Разве ты не доволен? И где — угадай, где? В кабинете, где ты спал. В подушке кресла, на котором ты сидел сегодня утром! Когда я принесла тебе кофе, я увидела тебя там. И я сказала себе: "Вот где они, денежки!" Я была почти уверена. И тогда, как только ты уехал, я вернулась и вскрыла его; там было полно денег. Ты бы мог подумать такое о кузене Элии? Я просто поражена. Я не хотела в это верить. Эта подушка была просто набита пачками из сто долларовых бумажек. Прямо набита деньгами под обивкой.
- Господи Боже!
- Я их еще не считала, — сказала она.
- Я бы не хотел, чтобы ты мне лгала.
- Ну хорошо, я сосчитала. Но я не очень-то понимаю в деньгах. Я не слишком деловая.

— Ты говорила с Уоллесом по телефону?

— Да.

— Ты ему рассказала о деньгах?

— Я не сказала ни слова.

— Хорошо, очень хорошо, Шула. Я надеюсь, ты вернешь эти деньги мистеру Видику. Позвони ему, попроси его приехать и забрать их, и потребуй у него расписку на всю сумму.

— Папа!

— Да, Шула, именно так!

Он ждал. Он знал, что сейчас она, стиснув трубку одного из этих белых нью-рошельских телефонов, ищет, что бы такое ему сказать, пытаясь подавить свое негодование по поводу его стариковского упрямства и дурацкого чистоплюйства. За ее счет. Он очень хорошо понимал, что она чувствовала.

— А на что ты будешь жить, папа, когда Элии не будет? — сказала она.

Отличный вопрос, очень умный, очень уместный вопрос. Он сейчас потерял Анджелу, он вызвал ее гнев. Он знал, что она может сказать: "Я никогда не прошу вас, дядя". Более того, она действительно не простит.

— Мы будем жить на то, что у нас есть.

— Но представь, — он ничего нам не завещает?

— Это его воля. Полностью его воля.

— Но мы — часть семьи. Мы ему самые близкие.

— Ты сделаешь так, как я велел.

— Послушай меня, папа. Я должна заботиться о тебе. Ведь ты мне ни слова не сказал о том, как здорово я нашла их.

— Это было чертовски умно с твоей стороны, Шула. Да, да. Поздравляю. Ты просто умница.

— Я заметила, что подушка под тобой вздулась как-то необычно, а когда я стала ее щупать, я услышала, как шуршат деньги. По шороху я догадалась, что это. Конечно, я ничего не сказала Уоллесу. Он спустит эти денежки за неделю. Я думала, может, я куплю себе несколько платьев. Если бы я одевалась у Лорда и Тейлора, я бы, может, не выглядела так эксцентрично, и у

меня появился бы шанс устроить свою жизнь.

— С кем-нибудь вроде Говинды Лала.

— А почему бы нет? Я стараюсь быть интересной, насколько могу при моих средствах.

Эти слова потрясли отца. Не так эксцентрично? Выходит, она понимала, как она выглядит. Значит в ее поведении присутствовал известный выбор. Парики, хозяйственные сумки, походы на свалки, — все это до известной степени было нарочитым. Это она хотела сказать, не так ли? Умопомрачительно!

— И я думаю, — продолжала она, — что мы должны взять их себе. Я думаю, Элия был бы с этим согласен. У меня нет мужа, у меня никогда не было детей, а эти деньги он получил за то, что предотвращал рождение детей, и поэтому, я думаю, будет справедливо, если они достанутся мне. И тебе они пригодятся, папа.

— Боюсь, это не так, Шула. Вполне возможно, что Элия уже сказал мистеру Видику об этом тайнике. Мне очень жаль, но мы не воры. Это не наши деньги. Скажи мне, сколько там денег?

— Каждый раз, когда я считаю, получается разный ответ.

— Сколько было в последний раз?

— То ли шесть, то ли восемь тысяч. Я разложила все на полу. Но я очень разволновалась и никак не могу сосчитать как следует.

— Я полагаю, там гораздо, гораздо больше, и я не позволю тебе утаивать что-либо.

— Я и не собираюсь.

Несомненно, что-то она стащит, тут и вопроса быть не может. Как собирательница хлама, как искательница кладов, она не сможет устоять против искушения.

— Ты должна отдать Видику каждый цент.

— Хорошо, папа. Это очень обидно, но я так сделаю. Я все отдам Видику. Но я думаю, ты совершаешь ошибку.

— Это не ошибка. И не вздумай сбежать с деньгами, как ты сделала с рукописью доктора Лала.

Слишком поздно для искушений. Одним желанием

меньше. Он слегка усмехнулся.

— Всего хорошего, Шула. Ты — хорошая дочь. Лучшая из дочерей. Лучше не бывает.

Выходит, Уоллес был прав насчет своего отца. Он оказывал услуги мафии. Производил кое-какие операции. И деньги действительно существуют. Однако сейчас не время думать об этом. Он положил телефонную трубку и обнаружил, что доктор Косби дожидается его. Бывший футболист стоял в белом жилете, крепко закусив верхнюю губу нижними зубами. Бескровное лицо и прозрачные голубые глаза были хорошо натренированы — хирург сообщал последнюю вест, простую вест: все было кончено.

— Когда он умер? — сказал Сэмплер. — Только что? Пока я, как дурак, пререкался с Анджелой!

— Несколько минут назад. Мы перевезли его в специальную палату, мы старались сделать все возможное.

— Я понимаю, не в ваших силах было остановить кровоизлияние.

— Вы — его дядя. Он попросил меня попрощаться с вами.

— Я и сам бы хотел попрощаться с ним. Значит это не случилось мгновенно?

— Он знал, что наступает конец. Он ведь был врач. Он все знал. Он просил меня увезти его из комнаты.

— Он попросил об этом?

— По-видимому, он щадил свою дочь. Поэтому я сказал ей про анализы. Ее зовут мисс Анджела?

— Да, Анджела.

— Он сказал, что хочет остаться внизу. Впрочем, он знал, что я и так его переведу.

— Да, да. Как хирург Элия все знал. Он, без сомнения, знал, что операция бесполезна, как и эта попытка с вкручиванием винта в горло. — Сэмплер снял очки. Его глаза, — один просто незрячая шишка, — под мохнатыми зарослями бровей были на уровне глаз доктора Косби. — Конечно, все было бесполезно.

— Мы делали все, как положено. Он знал это.

— Мой племянник всегда любил со всем соглашаться.

ся. Конечно, он знал. И все же, возможно, было бы милосердней не заставлять его проходить через все это...

— Не хотите ли вы сообщить печальную весть мисс Анджеле?

— Прошу вас, скажите ей сами. А я бы хотел посмотреть на моего племянника. Как мне туда попасть? Укажите дорогу.

— Это запрещено. Вам придется подождать здесь. Вы увидите его в комнате для погребальных церемоний, сэр.

— Это очень важно, молодой человек, и лучше будет для вас, если вы мне это позволите. Поверьте моему слову. Не стоит нам устраивать скандал здесь, в коридоре. Ведь вы этого не хотите, не так ли?

— А вы бы устроили?

— Несомненно.

— Я пришлю за вами сестру, которая была при нем, — сказал врач.

Они спустились в лифте — мистер Сэмmlер и серая женщина, прошли подземным переходом, устанным пестрым линолеумом, потом по темным туннелям, потом вверх и вниз по галереям, мимо лабораторий и складов. Итак, вот она, эта знаменитая истина, за которой он охотился неустанно, — он поймал ее, наконец, или она поймала его. Теперь эта истина его разрушала — разрушала то, что от него осталось. Он рыдал про себя. Он шел привычным широким шагом, поджидая на поворотах сопровождавшую его сестру. В застоявшемся воздухе, напоенном запахами нательного белья, болезни и лекарств. Он чувствовал, что рассыпается на части: какие-то разнородные куски в его организме плавают, растекаются, вспыхивая болью. Элии не стало — у него опять отняли, отобрали еще одно существо. Порвалась еще одна нить, связывавшая его с жизнью. Он начал задыхаться. Серая медсестра догнала его. Еще несколько сотен шагов подземными лабиринтами, пахнущим серой, первичным бульоном, плесенью и брожением клеток. Сестра взяла шляпу из рук Сэмmlера и сказала: "Это здесь". Над дверью была табличка "P.M."

Post-mortem. Прозекторская. Они готовы произвести вскрытие, как только Андже́ла подпишет нужные бумаги. А она без сомнения подпишет. Пусть они выяснят, что же было не в порядке. А потом кремация.

— Я ишу доктора Гранера. Где он? — сказал Сэмлер.

Санитар указал на каталку, на которой лежал Элия. Сэмлер отбросил простыню, прикрывавшую темное лицо. Ноздри, темные складки возле рта, набухшие бледные веки закрытых глаз, лысая голова с покатым лбом, испещренным размеренной вязью морщин. На губах застыло смешанное выражение покорности и горькой обиды.

Мысленно Сэмлер прошептал: "Вот и все, Элия. Вот и все. Вот и все". А затем он добавил так же про себя: "Не забудь, о Господи, душу Элии Гранера, который от всего сердца и со всем усердием, ему данным, и даже в самых невыносимых ситуациях, и даже когда задыхался, и даже, когда смерть явилась за ним, и даже чересчур услужливо (да простится мне это), готов был делать то, что от него требовалось. Этот человек в лучших своих проявлениях был гораздо добрее, чем я мог бы когда-нибудь быть. Он сознавал свой долг и выполнил его, выполнил, — несмотря на всю неразбериху и унижительное шутовство этой жизни, через которую каждому приходится пройти — действительно выполнил условия своего контракта. Условия, которые каждый человек знает в глубине души. Как я знаю свои. Как знают все. Потому что это и есть истина, о Господи, — что мы знаем, знаем, знаем".

РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ КНИГИ:

- 1–2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А.И.Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У.Черчиль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917–1967)
25. Ш.Й.Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов
26. Элизер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
35. Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Башевис-Зингер. РАБ
37. Р.Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ

40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ
ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
58. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ
ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс. И. Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ

לכבוד
הנהלת "ספריית-עליה"
ת.ד. 21650
תל-אביב

טל. 256182

1. Стоимость одной книги серии "Библиотека Алия" – 25 изр. лир.
2. Стоимость 12 книг – 216 изр. лир (скидка около 30%).

Прошу выслать мне 12 из опубликованных книг

(указать номера книг)

Прилагаю чек на сумму 216 изр. лир.

Прошу выслать мне 6 из опубликованных книг

(указать номера книг)

Прилагаю чек на сумму в 108 изр. лир.

Мой адрес:

Имя и фамилия

Подпись:

ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ:

Моше Гесс. **ИЗБРАННОЕ.** Пер. с немецкого.

В связи с исполнившейся в 1975 г. столетней годовщиной со дня смерти М.Гесса (1812–1875) издается сборник избранных произведений и писем этого немецко-еврейского мыслителя, одного из предвестников идеологии современного сионизма. Это издание призвано дать общее представление о духовном наследии М.Гесса.

СТАТЬИ ОБ ИУДАИЗМЕ. Сборник. Пер. с немецкого и английского.

Содержание: Введение; И.Кауфман. Великие эпохи и великие идеи еврейского народа; Л.Финкельштейн. Еврейская вера и претворение ее в жизнь; Ш.Эттингер. Корни современного антисемитизма.

Аврахам Суцкевер. **ЗЕЛЕНый АКВАРИУМ.** Пер. с идиш.

Собранные в книге прозаические произведения известного поэта, пишущего на идиш, А.Суцкевера (р. 1913) – пятнадцать стихотворений в прозе ("Зеленый аквариум", 1953–1954) и восемь сказаний цикла "Мешиахс тогбух" ("Дневник Мессии", 1970–1975) – во многом автобиографичны. Катастрофа еврейского народа легла пропастью между прошлым и настоящим в жизни поэта. Мостом через эту пропасть становится память о погибших.

Я ВСЮ СЕБЯ РАССКАЗАЛА. Избранные стихотворения. Пер. с иврита.

Читатель найдет в этом сборнике стихотворения виднейших поэтесс в литературе на иврите. Он познакомится с поэзией Рахель, Л.Гольдберг, Э.Раб и И.Бат-Мирьям, М.Ялан-Штекелис, А.Амир, Зелды, Д.Равикович, Р.Мириам, Х.Гаркави.